

САША ЧЕРНЫЙ

*Избранная
проза*



Annotation

Саша Черный (1880–1932) хорошо знаком читателю прежде всего как поэт – блестящий сатирик и тонкий, ироничный лирик. В настоящей книге собраны лучшие прозаические произведения писателя. Светлые «Библейские сказки», лукавые «Солдатские сказки», озорной «Дневник фокса Микки» понятны и детям, и взрослым. Свет подлинного гуманизма и незатейливость рассказа о простых вещах – загадка обаяния прозы Саши Черного.

- [Саша Чёрный](#)
 - [Первое знакомство](#)
 - [Первое знакомство](#)
 - [Друг](#)
 - [Иероглифы](#)
 - [Библейские сказки](#)
 - [Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький](#)
 - [Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях](#)
 - [Первый грех](#)
 - [Праведник Иона](#)
 - [Голубиные башмаки](#)
 - [Невероятная история](#)
 - [Самое страшное](#)
 - [Голубиные башмаки](#)
 - [Пасхальный визит](#)
 - [В лунную ночь](#)
 - [Счастливый карп](#)
 - [Купальщики](#)
 - [Тихая девочка](#)
 - [Патентованная краска](#)
 - [Дневник Фокса Микки](#)
 - [О зине, о еде, о корове И Т. П.](#)
 - [Стихи, котята и блохи](#)
 - [Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли](#)

- [Осенний кавардак](#)
- [Я один](#)
- [Переезд в Париж](#)
- [На пляже](#)
- [В зоологическом саду](#)
- [Как я заблудился](#)
- [В цирке](#)
- [Проклятый пароход](#)
- [Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку](#)
- [Солдатские сказки](#)
 - [Королева – золотые пятки](#)
 - [Антигной](#)
 - [Ослиный тормоз](#)
 - [Кавказский черт](#)
 - [С колокольчиком](#)
 - [Кабы я был царем...](#)
 - [Корнет-лунатик](#)
 - [Бестелесная команда](#)
 - [Солдат и русалка](#)
 - [Армейский спотыкач](#)
 - [Муравьиная куча](#)
 - [Мирная война](#)
 - [Скоропостижный помещик](#)
 - [Сумбур-трава](#)
 - [Антошина беда](#)
 - [«Лебединая прохлада»](#)
 - [Безгласное королевство](#)
 - [Штабс-капитанская сласть](#)
 - [Кому за махоркой идти](#)
 - [Правдивая колбаса](#)
 - [Катись горошком...](#)
- [Черт на свободе](#)
 - [I. Бретонский курорт](#)
 - [II. Бухгалтер, который брился](#)
 - [III. Девочка и неизвестно кто](#)
 - [IV. Скандал в столовой](#)
 - [V. Разговор в «Медном якор»](#)

- [VI. Черная лапа](#)
 - [VII. Черт в чепчике](#)
 - [VIII. Представление на сосне](#)
 - [IX. Черт возвращается в цирк](#)
 - [Буйабес](#)
 - [Физика Краевича](#)
 - [Свадьба под каланчой](#)
 - [Московский случай](#)
 - [Диспут](#)
 - [Экономка](#)
 - [Провансальские страницы](#)
 - [Морская подушка](#)
 - [Козья ферма](#)
 - [Отборные дыни](#)
 - [Комариные мощи](#)
 - [Буйабес](#)
 - [Уютное семейство](#)
 - [Буба](#)
 - [У моря](#)
 - [«Илья Муромец»](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Саша Чёрный
Избранная проза

Первое знакомство

Первое знакомство

Станция Мценск. Чемодан в одну руку, портплед в другую и на платформу. Поезд взвизгнул и укатил, а я остался. Скамейка с веселым соседом-скорняком, свечи на столике, недопитый чай, скептический разговор с наборщиком в коридоре и уютная ночная печаль за окном – где все это?

Холодный ветер, мечущиеся фонари у дверей первого класса и ящик для писем – все такое обычное и чужое. Особенно чужие черные буквы на стене: «Мценск». Сейчас открою дверь, глаза увидят новых людей, и всякий будет нужен, как утопающему – круг.

Носильщик берет мои вещи и, пробуя на руке новый чемодан, с любопытством, но почтительно заглядывает в глаза:

– В номера изволите?

– Нет. Лошадей надо. В Торчино.

– Лошадей, ваша милость, не достать, поздно.

Поздно? Как же быть?

– А вы в номера, с дороги отдохнете, а утречком...

– Далеко?

– Два квартала-с. Номера Бочагова, Еремей довезет.

– Какой Еремей?

– Извозчик то есть, у подъезда. Прикажете нести?

– Несите. Клопов много?

Носильщик улыбается, словно я ему рубль подарил:

– Маленечко есть, господа не обижаются, ничего-с.

– Ну, ладно.

Прохладная пыльная тьма, собачий лай. Влезаю на темные дрожки, прижимаю к груди чемодан и доверчиво всматриваюсь в тьму. Через 10 минут жестокой тряски приехали. Еще новый человек вынырнул из тьмы, потащил вещи и привел наверх. Оказался блондином; конечно, заспанным, конечно, грязным и, конечно, первые слова: «Пожалуйста паспорт».

Вхожу в номер, закрываю за собой дверь и оглядываюсь. Чужое... чужое, – там, за ставнями, сотни верст тьмы, незнакомой земли, лесов и пещерных жилищ, – здесь квадрат, оклеенный малиновой с золотом

бумагой, запах грязного белья и обезьяньей клетки. А в центре я. Кто я? Зачем здесь? Спать.

Старые темные волны подступили, остановили расшатавшиеся ноги, опустили голову... Но ерунда, к черту – спать все-таки надо, а утром будет солнце и все будет иначе. С гадливостью сбросил на пол сальное ватное одеяло и жеваное белье, разостлал на матрац портплед, сверху свою простыню, укрылся пальто и, стараясь не касаться ни одной точкой тела заплеванной стены и железа кровати, укрылся с головой, притаился, согрелся кое-как и через пять минут умер легко и кротко.

.....

Воскрес и ничего не понимаю. Где? Во всех четырех окнах, как в рамах, пестрый нищенский жанр: мелкая речка, водовоз на бочке, заплатанный свайный мост, обшарпанные дома, осевшие и кривые, точно их кто распер изнутри, наличники, окрашенные синькой и охрой, и церкви... одна, две, четыре, шесть, семь, – все разные, игрушечных стилей, яркие, – словно декорация из национального балета. Все такое знакомое по книжкам, выставкам, но почему-то никогда не приходило в голову, что оно существует, где-то живет, кем-то заведено и до сих пор, как было в «Мертвых душах», так и сохранилось. Уездная Помпея, так сказать. Разве только вокзал железной дороги пристроился на окраине.

Звоню:

– Самовар, и как насчет лошадей?

– Сейчас.

Услужаящий засален, заспан, угрюм и пахнет чем-то очень сложным и тяжелым – словом, традиция соблюдена до мелочей. Даже трогательно. Самовар оказался такого цвета, точно его только что выкопали из кургана, чай отдавал мокрой шерстью, а баранки ломались с сухим треском и рассыпались в пальцах. Мне стало смешно.

Солнце залило комнату, и вся эта рвань за окном как-то особенно приветливо и простенько запестрела. Когда там, за окном вагона, после бесконечных квадратов черной и бурой земли, оврагов, перелесков и лужков, вырастали груды крыш, а станция бросала в глаза имя своего городка, чтобы через минуту скрыть его навсегда – крыши эти были, как встречи во сне, слиты и призрачны. А тут, вот сейчас,

выйду, увижу, проеду из конца в конец, и каждый нелепый домик с замшившимся тесом на крыше будет как свой и войдет в глаза на утреннем холодке, как новая жизнь и какая-то своя правда.

Черт знает что, – разбежался и вспыхнул, иду навстречу и знаю сам, что не к чему. Чужое и вымороченное. Солнце и из навоза стихотворение в прозе сделает...

Вот и вечер. Мужик с бляхой на затылке, в картузе, в нагольном тулупе. Борода до бровей, глаза как у Шелли, но десять рублей вместо шести, как надо бы взять, все-таки спросил и не уступил. Случай редкий – как не содрать, – поневоле в славянской душе проснулись итальянские инстинкты.

– Как вас зовут?

– Трифон.

– С колокольчиком поедем?

– Уж как полагается; погоди, за город выедем, отвяжу балабон-то.

В городе исправник не позволяет.

– А сам небось всегда с колокольчиком?

– Да ему кто ж запретит?

О, какие лошади! И не только у моего извозчика, вон и рядом, и еще вдоль забора, у всех извозчиков такие. Опилками они их кормят или хворостом? Или ничем? Усаживаюсь на ржавые, оборванные дрожки, смотрю и жду. Если бы нищий мог держать свой выезд, у него должен был бы быть точно такой экипаж и лошади. Спины так остры, что глазам больно – их бы куда-нибудь в лошадиную санаторию, что ли, а не гнать за тридцать верст. Овсом кормит, оказывается. Полную торбу под себя подложил.

– Но, эй!

Поехали, я думал – не повезут. Качаюсь вправо, качаюсь влево, голова болтается, камни на мостовой как черные клавиши, протарахтел мост, улица полезла в гору, тащимся, и с каждым шагом из-за крутого взгорья с желтой церковью все шире и шире развертывается лиловая световая даль... Но глаза еще отворачиваются, ждут полного простора там, за городом, чтоб нанирваниться допьяна, без помехи. Опять повернули. Серые от дождей матовые заборы отливают тусклым блеском на сучках, над заборами – яблони. Кое-где среди ржавых лепестков белеет еще последний цвет, – так давно, так давно не видел... Там, за заборами, скамейки под густыми кустами,

беседки, закрытые хмелем, тишина и сырость... Мимо, ни к чему! «Продажа муки и прочего зерна». Еще одна церковь. К чему им столько? Домики все реже, еще один, другой. У последнего старик в пиджаке и нижнем белье отворяет ставни. Конец.

– Что это за дом на горе?

– Чего?

– Дом, спрашиваю, чей на горе?

– Не дом, это – тюрьма.

Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Два этажа, беленькая. Во всем городе такого большого, красивого дома нет. Спасибо хоть за то, что горизонт украшает...

Все дальше, дальше... Поля подошли к колесам, грачи поднимают головы от земли, смотрят и равнодушно поворачиваются боком; железнодорожный мост спрятал последнюю арку, навстречу зашумела у перекрестка искалеченная ракита, и, как ровный колыбельный напев, закачался у дуги тонкий, чуть надтреснутый томный плеск. Небо стало другим. Громадное, глазом не охватишь, здесь синее, там голубое, облака развернулись и стали, – края как золотые стружки. Воздух – как полная радость, дышишь, словно здоровье пьешь-пьешь, и жажде конца нет. Землей пахнет, травами пахнет, тишина до края земли, и колокольчик словно не к дуге привешен, а к самому сердцу.

Дорога колеи в восемь – земли не жалко – взобралась на пригорок, и вдруг поля исчезли. Въехали в деревню. Прямая длинная улица, только одна, по бокам низкие кубы, одни из бревен, другие кирпичные. Дырки побольше – двери, дырки поменьше – окна. Там и сям перед избами тощие ракирки. Навстречу с криком бегут оборванные дети. Мужик подымается с земли и снимает на всякий случай шапку... Проехали...

Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире... Или в другом таком месте, где еще можно видеть последние клочки чудес на земном шаре. Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир, – очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд...

Какое оно, это село? Есть там леса и глубокие складки земли, заросшие прохладными кустами, какие люди, у кого буду жить, что будет перед окном?.. Все это уже есть и иным, чем оно есть, быть не

может, но я не знаю, я еще не видел, и для меня это новое так многогранно и таинственно... Качаюсь вправо, качаюсь влево, глаза уходят за сизую полоску горизонта, все обычное отошло, душа словно пустая квартира – все выбросила и ждет новых жильцов...

* * *

С северной стороны администрация и культура: волостное, чайная (там же и водка), больница с темно-зеленой каймой шиповника вдоль ограды и двухэтажная веселая школа. Перед школой уютные лохматые липы.

С востока, запада и юга попроще: деревянные и кирпичные избы под огромными нестриженными соломенными крышами (у лавочника железная), по кирпичу белые разводы зигзагами вверх и вниз.

В юго-западном углу крытый колодец с колесом, перед колодцем кирпичный домик с косой трещиной через всю стенку и – слава богу! – две ракиты. У домика крытое крыльцо со скамейкой. На скамейке я. Вот вся топография.

Остальное меняется: облака в небе то стоят над колодцем, то уходят в конец дальней улочки, маленькие дети то рассматривают меня в упор, усевшись перед крыльцом на траве, то садятся сбоку и рассматривают мой профиль. В домике я один. Хозяину его оторвало на шахтах ногу, и так как на деревяшке за плугом не угонишься, то он, вернувшись, устроился сторожем в школе за три версты, а дом сдавал кому придется. В прошлом году больнице под рожениц, в этом – мне. Жена его, Феня, приходит ежедневно готовить обед.

Хорошо ли? Шарик, который в позе сфинкса лежит под ракитой, вероятно, усмехнулся бы на такой вопрос, если б понимал. То один глаз откроет, то другой, оба сразу – лень; язык вывесил и греется. Может быть, где-нибудь за полверсты и лучше. Под березой на опушке рощи... Там повернешься на один бок – небо, как океан в парусах, и сквозная зелень трав так таинственно бормочет и качается, повернешься на другой – белые стволы, словно из тела растут, а верхушки мотаются у самой голубой краски. Лучше там, Шарик, а? Вот ты лежишь, как колода, под неинтересным деревом, а у пруда можно погонять по кустам, напиток, утенка деревенского сцапать –

благо никто не увидит. Но пока туда доберешься... Жара. Летняя лень, как запой. Лежит Шарик, сидят дети, сижу я – и так целыми часами. Дети молчат и смотрят.

Самый маленький и пузатый время от времени наклоняется к белоголовой девочке с черными глазами и, захлебываясь, сообщает ей, очевидно, результат своих наблюдений над моей особой. Что он такое говорит, одному богу известно, потому что у него вместо слов пузыри изо рта выскакивают. Девочка досадливо отодвигает его локтем и еще пристальнее, еще неотвязнее впивается в мою фигуру. Подходят новые и новые, усаживаются на земле и с выражением напряженного ожидания начинают меня разглядывать: лицо, ботинки, цепочку от часов и пр. Мне все более неловко, я чувствую, что надо что-нибудь такое сделать, чтобы их не разочаровать. Вспоминаю, как мы ходили с братьями в детстве в зоологический сад и часами обиженно простаивали перед клеткой медведя или какой-нибудь вялой птицы, которые упрямо не желали двигаться, – вспоминаю, кстати, свой давно забытый талант и, победив внезапное волнение артиста перед незнакомой публикой, – заливаюсь лаем на весь выгон.

Успех полный. Шарик вскочил и чуть не схватил меня за губу, вихрястый мальчик с выбитыми зубами перевернулся через голову и обнаружил всю неисправность своего костюма со стороны ближайшей к земле, девочка взвизгнула, самый маленький упал и заплакал, но потом понял, в чем дело, и стал от восторга пускать такие пузыри, что мне страшно стало...

Пришлось повторить еще и еще, потому что слишком уж хорошо они смеялись. Так хорошо, что даже действительный тайный советник улыбнулся бы в ответ и, пожалуй, тоже залаял бы, чтобы снова вызвать такой смех...

Потом я курил и пускал дым из ноздрей, ловил три камня одной рукой, высовывал язык, свистал и уже думал, что лед сломан и можно перейти к более культурным формам общения. Но напрасно. Едва окончилась увеселительная программа, как наступило полное молчание, только пузатый все громче сопел от напряжения, а остальные, как маленькие будды, неподвижно и важно сидели на траве и рассматривали меня.

– Как тебя зовут? – спрашиваю девочку.

Молчание.

– А тебя? – спрашиваю лукавого мальчишку в рваной малиновой рубашке.

– Проглотил язык? Ну ладно, не будете разговаривать, так я больше лаять не буду.

Молчание, но уже начинают переглядываться и прятаться друг за друга. Я встаю со скамьи, подхожу к девочке, опускаюсь рядом на траву и заглядываю в ясные черные глазки:

– Отчего ты не хочешь сказать, как тебя зовут?

И вот происходит нечто необыкновенное: девочка стремительно бросается на землю и в припадке какого-то патологического смущения (другого слова и не подберу) закрывает руками лицо и подворачивает голову под плечо. Обращаюсь к другому – то же самое. Оцепенел, свернулся в клубок, закрыл лицо и так крепко прижался к траве, что и не оторвешь никак. Зато остальные довольны необычайно – в глазах блеснуло не то злорадство, не то сочувствие. Даже языки развязались: «Так ее, так ее! Боишься? Смотри, за руку Серегу берет...» – «Серега, не поддавайся! Черт!»

Я печально вздыхаю, подымаюсь и иду к себе. Еще не один день нам надо рассматривать друг друга, чтобы узнать, как кого зовут. В передней висят «котёлки» (так здесь называются баранки), снимаю и отдаю им. Но взятка не помогла: стремительно съели и опять застыли в прежних позах.

Ухожу в комнату. Жаль опускать занавески, жаль закрывать синее небо и дальнюю улочку с ракетами, еще больше жаль лишить ребят дарового представления – вон они уже сидят друг на друге и разглядывают сквозь оба окошка и меня и комнату. Но что делать? Кроме чемодана и умения лаять, я ведь привез и так называемые нервы, – когда даже такие маленькие люди так долго и неотступно осматривают тебя, начинает казаться, что ты голый, живешь в каком-то стеклянном аквариуме... Даже не голый, а больше – точно с тебя кожу содрали и смотрят. Они вот падают же на землю, когда подходишь к ним ближе.

.....

Белые стены. Низкий потолок. На стене яркие картинки из «Jugend» (сам вделал в стекла), карта России из путеводителя и Толстой на кнопках, над Толстым огненное орловское полотенце, а над постелью – горячий, веселый оранжевый платок с малиновыми

розами и изумрудными листьями. Стены – это плавное. Когда вот такие уютные штучки развесишь, как-то спокойнее себя чувствуешь, словно в степи за ширмами сидишь. А иногда засмотришься на яркие краски, на мудрые лица и обрадуешься. Радость маленькая, а все-таки радость. Пусть по существу радость эта как голодному нарисованный окорок, – что делать, если другого нет? Хоть оближешься и вздохнешь, – все лучше, чем бить мух уныния на собственной голове... И стол у меня есть: достал из школы в виде одолжения учителя за интеллигентные разговоры. На столе в банках изумительной нежности полевые цветы: кашки, ромашки и еще что-то лиловенькое, высокое, сквозное и радостное. В углу кровать: композиция из холстины, досок и сена. У дверей висит доска на бечевках, а на ней Диккенс и иные сладкие обманщики, которые здесь так легко и полно входят в голову, а в городе годами валялись на полках.

Вот и вся комната. Хороша, не правда ли? Нарядная, новая маленькая коробка: живи в ней хоть посреди Ледовитого океана, и то не страшно. А тут еще за оконной занавеской сквозит зелень, мягкие пятна изб, небо.

Жужжание бесчисленных мух сливается в один гудящий контрабас, немецкая толстая Mädchen из «Jugend» жизнерадостно упирается в бока, и мне начинает казаться, что немного сонное, немного недоуменное ощущение свободы и безделья, наполняющее тело, есть ощущение счастья.

Бабы, которые приносят яйца, масло и прочие необходимые для каждого мирозерцания предметы, удивляются и ахают – крестьянская изба, и так, мол, красиво. Такое проявление вкуса радует, но досадно: полотенца и платок я у них же купил, а до меня они прели в сундуках.

Что бы вынуть и развесить? Но полотенца эти, как объяснили мне бабы, вышли из моды, а платки они носят на головах. Цветов тоже вокруг сколько угодно. Кувшины есть, и вода есть. Но странно, такая простая мысль, что бабы нарвут цветов и поставят у себя на столе, как-то сразу съеживается и вянет... С полотенцами прямо беда: нужно было одно, а купил три, и теперь носят каждый день без конца. Вытаскивают из сундуков холсты, которые сами пряли, уборы, вышитые их матерями, половики, и все мне. Я удивляюсь, но

привычка подтасовывает карты, снисходительно уверяет, что удивляться нечему, что я «покупаю», что здесь деньги редки и дороги и т. д. Но многому уже веришь с трудом, – веришь с трудом, что где-то есть конные статуи на площадях, журнальные направления и прочие городские удовольствия.

На кухне что-то шипит и булькает. Вернулась хозяйка с ведрами, а с ней восьмилетняя дочка Аннушка – тоненькая, быстрая, вся запыхалась и трется о юбку матери. Совсем как жеребенок... Хозяйка красивая, строгая, улыбается редко и говорит со мной, всегда отвернувшись в сторону.

– Скоро обедать?

Феня пробует вилок:

– Картошки еще твердые, погодить надо.

– Ну, ладно.

Иду в сад. К задней стороне дома плотник за рубль пришил по бокам несколько досок, с четвертой стороны бесплатно торчит соседний плетень. В этом курятнике садовник из соседнего имения насажал цинний, астр и душистого горошку вдоль плетня. Посредине, как я его ни умолял, сделал клумбу, обсадил ее гирляндой из голых ивовых прутиков и утвердил на вершине этого торта горшок с геранью. По бокам, у дверей, посадил несколько бобов, и мой Эдем был закончен. Скамейку заменил березовый обрубок, а стол – найденная на школьном чердаке старая дверь, которую я с великим трудом утвердил на четырех кольях.

По ту сторону забора все это предприятие казалось талантливым шаржем на дачную жизнь, но я был доволен необыкновенно. И не один я. У забора перебивало все село, и я не заметил ни одной скептической улыбки. Одобряли: одному вспомнилась городская портерная с садом, и он подмигнул мне, показывая на стол: «Пивка бы сюда, барин?» Другие сочувственно смотрели, как я сидел на обрубке, и видно было, что это их успокаивает, что человек в пиджаке так и должен сидеть на обрубке, за перегородкой, перед идиотской клумбой с геранью, что этим он, так сказать, исполняет свои функции и украшает собою село. Я даже слышал, как, проходя мимо, бабы со вкусом говорили другим бабам (вероятно, из другой деревни): «А вон там наш дачник сидит!» И чужие бабы подходили к забору и смотрели на меня.

Теперь привыкли. Я вот стою уже минут десять в дверях, и только два крошечных белобрых мальчугана из коровинской избы присели на корточки у забора, смотрят на меня и шушукаются. Медленно обхожу клумбу. Во всем теле ленивый хмель безделья и беспечности. Останавливаюсь над грядкой у плетня и смотрю: ростки горошка уже кое-где приподняли землю: сморщенные, бледно-зеленые – что в них? Но глаза никогда не видали, как показываются цветы из земли. В цветочных магазинах они продаются в готовом виде, а здесь я сажал их вместе с садовником, я их поливаю, гоняю от них кур и цыплят, когда те пролезают сквозь самые узкие щели внизу забора и бросаются как угорелые прямо на грядки... Сентиментальность? Скорее, я думаю, любовь; большие ее запасы остаются в городе нераскупоренными, а тут за день столько простого и ясного увидишь, – того, к чему там все пути уже закрыты, – что невольно раскупориваешься и выходишь из берегов.

С этими медленно выплывающими мыслями сливаются, как с облаками, другие, которых ни за что не уловить – так много в них образов от дальней рощи, от колыханья конопли за плетнем и смутного сознания, что все это как будто и не существует, что день отъезда сотрет всю эту чужую реальность, как губка новые слова на доске...

Дошел до стены и вздрагиваю – против меня, облокотясь на забор, стоит Коровин, черный, с блестящими глазами, похожий на цыгана мужик. Сейчас будет разговор. И точно: гнусаво поздоровался (болен он, что ли, но такого гнусавого голоса я никогда в жизни не слышал) и начал издали:

– Гуляешь?

– Да... вот... гуляю.

– Погода хороша нонче.

– Хороша.

– Пондравилось у нас?

– Очень. Лесу только мало у вас, погулять негде.

– Погулять? – Коровин ядовито усмехнулся в сторону. – Погулять и без лесу можно. Вот насчет отопления, это точно, без леса не отопишься.

– Куда же вы лес девали?

– Куды девали? Господину Харитонову на доски в запрошлом годе продали. Еще вон роща есть – на две зимы хватит, а там хошь бородой отопляйся.

– Зачем же лес продавали?

– Зачем? – Коровин еще ехиднее ухмыляется. – Покупал – как же ты не продашь? Деньги завсегда надобны.

– Гм... Так вы бы сажали лес. Часть вырубить, часть посадить. Вот всегда и будет, – как в именье здесь.

– В именье? – Лицо Коровина изображает высшую степень сарказма. – Позвольте вас спросить, какое ваше занятие будет? – перешел он вдруг на «вы».

– Занятие, – сконфузился я. – Пишу... в газетах...

– В газетах... а говоришь, зачем мужики лес не сажают...

– Да ведь помещик сажает?

– Помещик? Помещик, может, на тройке водку ездит пить к соседу, а мужик на одной пашет...

Аргумент был так неожидан, что я промолчал.

– У нас, брат, картох до весны не хватает, а помещик одних груш возов десять в город посылает.

– И у вас могут быть груши...

– Груши, а может, и апельцины?

Упорное повторение моих последних слов и «апельцины» окончательно взорвали меня. Я сделал рукой широкий жест и не без жару произнес:

– Да, груши! «Апельцины» нет, а груш можете иметь сколько угодно. Вон пустырь, и там пустырь, и у вашего дома пустырь. Посадите каждый хоть по дереву – не велик труд, – и у всех будут груши.

– Не будут.

– Почему не будут?

– Ребята переломают.

– А вы огородите.

– Может, и сторожа к ним нанять?

– Зачем сторожа? Отчего же у немцев не только возле домов, а все дороги грушами и яблонями обсажены и никто не ломает?

– У немцев? Вы видали?

– Видел.

– Так то у немцев, у нас нельзя этого. Не переломают, так покрадут.

– Кто украдет, если у всех будут?

– Ну, ребята обтрясут да зелеными полопают. Вон как горох: Тимохин посадил – раскрасили, у Бобкова покрали, у лавочника и то покрали... Вот тебе и груши!

– Это верно, покрадут, – с удовольствием подтвердил сосед, внезапно появляясь из-за плетня.

Молчание.

– Скучаете у нас? – осведомляется он с таким видом, будто иначе и быть не может и что скука – это тоже одна из функций господина в пиджаке.

– Чего ему скучать? – отвечает за меня Коровин. – На всем готовом, читай да гуляй, только и делов.

И все это без малейшей иронии, точно он определил меня простой и ясной формулой, всем давно известной. Я переминаюсь и поворачиваюсь к клумбе, чтобы подготовить отступление, но сосед удерживает меня вопросом:

– Листок получили?

– Какой листок?

– Газету тоись? Я из волостного принес сегодня, вам под дверь сунул.

– Получил, спасибо.

– Нет ли чего? Насчет хуторов или так?

– Насчет хуторов нет. Да ведь к вам в воскресенье член приедет насчет хуторов, он и расскажет.

– Расскажет, само собой, да в листке, чать, все больше... Настоящее, тоись...

– Нет ничего. Все больше пишут, как летают. Убился один русский. Упал на дерево и убился.

– Летают, говоришь. Как же это?

Я, насколько мог яснее и подробнее, стал рассказывать, как летают, кто летает и для каких надобностей, но в середине рассказа Коровин равнодушно меня перебил:

– Ни к чему это. Зря.

Очевидно, он поверил мне, нисколько не удивился и только решил, что это «зря».

Я ничего не мог на это возразить и опять повернулся к клумбе, но, к счастью, Феня выручила – появилась в дверях и сказала: «Пожалуйста кушать».

Ем. Мухи как пьяные кружат над борщом и, так как он слишком горяч, едят меня. За перегородкой на кухне, как несмазанные насосы, втягивают в себя борщ Феня с Аннушкой. Обедать со мной вместе они не хотят. Аннушку, может быть, и удалось бы убедить – она любопытнее и посмотреть, как ест человек в пиджаке, очень интересно, но ее мать чувствует разницу положения не хуже любой губернаторши и наотрез отказалась:

– Нет, мы уж на кухне.

– Да почему на кухне, Феня? В комнате прохладнее и чище, да и мне вместе обедать веселее.

– Нет, уж мы на кухне.

Когда такое возражение с безнадежно-одинаковой интонацией повторяется раз пять, невольно падаешь духом и отходишь.

Ем. Аннушка что-то оживленно шепчет матери. Мне очень интересно послушать, но я знаю, что стоит мне только встать и подойти к дверям, чтоб она замолчала. За занавеской все еще висит на руках любопытный мальчишка. Ему ничего не видно, но он, очевидно, дошел до мысли, что должен же я когда-нибудь откинуть занавеску, – и он не пропустит этого счастливого момента, хотя бы ему пришлось висеть так до вечера. А там, у колодца, мутными пятнами сквозят на траве фигуры ожидающих. Точно у кассы Художественного театра.

Борщ становится все преснее и безвкуснее, и я в раздражении думаю, что деликатность должна бы быть врожденным качеством и совершенно от культуры не зависеть и что голова мальчишки через минуту проломит стекло и в припадке ужаса застрянет между выгоном и комнатой. Подхожу к окну, отдергиваю занавеску и в упор смотрю на мальчика. В первые мгновенья он изумленно смотрит на меня, как на летающую лошадь, но через минуту не выдерживает, кубарем слетает на траву и ревет. Остальные, как воробьи, перепархивают по земле и боком подбегают к окну. В эту минуту Феня вносит картофельные котлеты. Но ребятам так и не суждено было увидеть, как я их ем – она распахнула окно и решительно вступилась за мои интересы:

– Озорники! Не видали, как человек ест, что ли? Пошли прочь!

Никакого впечатления.

– Пошли прочь, говорю!.. А то возьму хворостину...

Магическое слово вызвало знакомый образ и подействовало. Они ушли, а я виновато вздохнул. Пусть бы смотрели, – смотрю же я, как овцы щиплют траву: для меня ново, а овцам, быть может, тоже неприятно.

В улочке за колодцем оживление. К третьему домику слева подъехала телега. Мужик сбросил на траву гроб. Подходят бабы, со всех сторон сбегаются дети, но к самому дому никто близко не подходит.

– Что там такое, Феня?

– Харитон помер.

– Отчего?

– Сибирка. Корову драл, вот и пристала.

– Что ж он, лечился?

– Дурной он. Кабы лечился как следует, выжил бы... Восемь ден в больницу не шел, а на девятый пришел, рука вся напухла, как колбаса гнилая...

Она ставит на стол кисель и продолжает:

– Вылечился бы, ничего... Шпринцевали его там, через день полегчало, да баба-дура испугалась, что помрет, положила его вчерась на телегу и повезла причащать. Наш поп хворый, повезла к другим...

– Ну и что ж?

– Митрохинский в город уехал... Покровский забранил, зачем поздно привезла, прогнал, – повезла в Хомутово, да лошадь заморилась – стала. А тут дождь пошел. Беда... Привезла его домой, светать стало, а он не дышит... Что ж вы киселя не едите?

– Спасибо. Не хочется. Что ж, корову закопали?

– Кому охота?! – презрительно фыркает Феня. – В овраг сволокли – и то спасибо.

– Да ведь все стадо заразиться может!

– Им что? Шкура снята, хозяин свое получил, чего еще? Покойника вот боятся. Обмыть надо, да бабы боятся – не идут. Кисель убрать, что ли?

– Уберите.

Однако не все боятся. Вот в избу вошла одна, другая, и вся толпа подвинулась ближе.

Мухи, отяжелев от обеда, с удручающим упорством вяло опускаются на мое лицо. Вспоминаю, что, может быть, час назад они сидели на руке Харитона и наливались... Бррр!.. Взмахиваю руками и начинаю шагать по комнате: мухи оставляют меня в покое и головами внутрь собираются в черные живые круги над каплями борща.

За перегородкой Аннушка ожесточенно вычерпывает кисель. Подхожу на цыпочках и смотрю в щель: ишь ты! Щеки в киселе, нос в киселе, глаза сияют, засунет ложку в рот до самого черенка, потом облизнет ее изнутри и снаружи и опять в тарелку.

– Вкусно?

Аннушка подымает голову и улыбается. Положительно, здесь, в деревне, по-особенному улыбаются, – не улыбка, а какая-то эссенция улыбки. Мать сдержаннее: шевельнула углами рта и ласково покосилась на дочку. Мне досадно, что разговор оборвался. О сибирской язве и о Харитоне, положим, не аппетитно слушать, но Феня удивительно рассказывает. Интересны не самые слова, а то, что за ними: все совершенно определенно, твердо и с оттенком снисходительности к собеседнику. Точно это Платон беседует, а не жена безногого сторожа.

– Скажите, Феня, где лучше, в городе или в деревне?

– Как кому. Вам в городе, чай, лучше.

– Почему вы думаете?

– А как же? В гости сходить, или к вам придет кто... подходящий.

Гм... подходящий. Ошиблись, друг мой, сижу дома, как сыч, а если кто и придет, так совсем не «подходящий»...

– А вы в городе были?

– Была. Один раз была, – сказала и рассмеялась.

– Чего вы?

– Да так.

– Что так? Вы расскажите как следует.

– Смешно уж очень! После свадьбы года с два прошло, а я-то со своим и недели не прожила. Поженили его, да на шахты, в дому и без него два брата, он выходил лишний. Два года, значит, прожил на шахтах и заскучал: пишет письмо, чтоб я к нему приезжала немедля, и денег прислал на билет...

– Ну-те...

Феня перетирает кастрюлю и ждет, пока Аннушка долижет тарелку и уйдет в сад.

– Еле добралась. Сперва кондуктор подлый попался, хотел посадить меня на станции, где ему смена была. Здесь, говорит, тебе слезать, а я неграмотная была тогда...

– Зачем слезать? – не понял я.

– Да так... – Феня конфузится. – Красивая я была... Слава богу, люди заступились, прочитали билет, а то бы беда... Приехала в город и с письмом пошла на шахты. Грязно как, боже спаси, уголь на зубах хрустит, трубы какие-то да сараи, люди, как черти, вымазавшись ходят. Иду с письмом, дорогу спрашиваю, а шахтеры в тот час в казармах отдыхали. Показали казарму, где мой Михаил был. Только чувствую, что не помню, какой он из себя, хоть убей, не помню! Да и то сказать: долго ли мы с ним и пожили-то? Забыла. Испугалась я до смерти тогда. Одна, никого не знаю, денег рубль, народ кругом озорной. А все иду, – чего станешь делать?

Она перевела дух и остановилась, и по лицу ее совсем не было видно, что это ей даже и теперь «очень смешно».

– Как же вы его нашли?

– Бог спас. Взошла в казарму, в глазах темно стало, лежат на полу шахтеры как дрова, черные все – может, триста их там было; и все как один. Спросить боюсь, дрожу, а вдруг покажут, а он вовсе и не муж мне – я одна, их полна казарма, что делать? Погубят. Только обхожу я их так, да плюнула вдруг на одну рубашку и признала. Сама вышивала, только к Успенью послала, – как свою работу не признать? Ну, и не ошиблась, действительно муж оказался. Смеялись потом очень.

– А если б ошиблись?

– Так бы и пропала.

Это было сказано так уверенно и просто, что я на мгновение задумался, представил себе всю картину и невольно повторил: «Так бы и пропала».

Ложки и тарелки вымыты, стол тоже. Феня берет свое лукошко, в котором она приносит овощи, и кличет дочь: «Куды пропала? Домой надо». Потом поворачивается ко мне и безразличным голосом, точно она не мне все это только что рассказывала, а стенке, говорит:

– Прощайте. Там у нас баба цыплятами называется^[1]. Принести, что ль?

– Нет, не надо.

– Ну что ж.

Аннушка приветливее и, уходя, оборачивается:

– Я тебе завтра розан принесу.

– Распустился уже?

– Распустился. Во какой розан!

– Спасибо.

Ушли. Я опять на крыльце. Сижу уже бесконечно долго. Приходили цыплята и клевали пшено прямо из рук. Приходил Шарик и съел на зависть всем соседским собакам (и, кажется, не только собакам) гущу от борща с хлебом. Потом ребята разошлись и, щеголяя передо мной и друг перед другом, показывали разные штуки: цеплялись ногами за жердь между двумя ракетами и висели вниз головой, пока глаза не вылезали на лоб, боролись, плевали Шарику между глаз, – потом им надоело, и они ушли на другой конец выгона, уселись там в кружок и затеяли какую-то таинственную игру. И справедливо. Ни о каких настроениях они не слыхали, – стоит ли зря занимать человека, который утром сам лаял и ходил на голове, а к концу дня сидит, как палка, и даже не вынесет ни одной котёлки или леденца...

Ветер далеко за улочкой взбил пыльный смерч и погнал к крыльцу. Харитона давно увезли и зарыли... Запад порозовел, и первая овца, низко наклоняя голову к земле, протрусила из-за дальнего поворота улицы к колодцу. За ней бежала частой рысью и непрерывно повизгивая черная поджарая свинья, за ней еще овца, которая бежала ровно, но вдруг сбивалась на какие-то странные прыжки и четко обеими передними ногами хлопала о землю, потом точно плотина прорвалась: колыхались черные, серые и белые овечьи спины, скрипел кашель, звенело детским плачем блеяние, какие-то необыкновенно нервные свиньи мчались во весь карьер, не останавливаясь, и так же визжали, как первая, – собаки, сидя у своих ворот, коварно отворачивались в сторону и вдруг неожиданно кусали то ту, то другую свинью за зад или бок, свиньи отскакивали и в ужасе мчались назад, поросята пищали под ногами у овец и разыскивали взрослых, – а над всем этим живым, хрюкающим и блеющим потоком в волнах оранжевой пыли заходило солнце. Хозяйки выходили к воротам с хлебом в руках и кричали: «Тпруси, тпруси», – и овцы

бежали на зов, дети хватали самых маленьких и глупых ягнят и тащили домой... Разыгрывалась какая-то овечья и поросья симфония. Я сидел неподвижно на крыльце, как и в прошлые дни, и последним пальцем ноги чувствовал: «Вот, наконец, настоящее... близкое до конца». Радовался так, словно сквозь щелку в рай заглянул. Не правда ли, странно? До сих пор для меня это было то же, что «водопой жирафов в Синегамбии», – почему же с первого взгляда это стало таким же органически ценным и обычным, как... как стихи Пушкина?

Пробежала последняя овца. Как всегда, иду с ведром к колодцу: надо поливать цветы. Как всегда, одна из баб, которая тоже пришла с ведром, настойчиво хочет сделать это за меня, – ибо таскание ведер из колодца не было, по ее понятию, функцией человека в пиджаке. Но я огорчил бабу, бросил ведро в черную пасть и с силой дернул за колесо.

Мимо возвращались с работы подростки и взрослые. Одни фыркали, другие улыбались. Одни кланялись, другие не знали, кланяться или нет, третьи враждебно в упор смотрели в лицо и точно говорили: «Думаешь, поклонюсь? На-кося, выкуси». Все это, как обычно, смущало, и я был рад, когда очутился с ведром в саду... Сухая земля жадно пила воду. Стебли колыхались под струей, запах мокрой зелени и земли радовал так, словно сам я иссох от зноя и меня поливали... Так. Больше ни капли.

Задвинул засов, зажег лампу. Долго барабанил по столу и смотрел в окно... Ясные деревенские картинки, которые пестрели в оконных рамах утром, исчезли, – за окнами сизая мгла, последние угли заката, и со всех сторон умирающие дали. Спят куры, овцы, собаки, дети, дремлют мухи на потолке и сонно жужжат, словно кто тихо играет на гребенке, укладываются бабы и мужики, и через час на много верст все уснет. Даже сторож с колотушкой погремит, пока все не легли, а потом повалится на траву и захрапит. И отлично. Стихотворение в прозе: спящая деревня, одинокий индивидуалист в пиджаке, Katzenjammer и решение задачи на тему – «отчего люди живут, как свиньи»... К черту! И еще раз к черту! Такой хороший день, и вдруг к вечеру легкий приступ морской болезни. Нервы... надо бороться. А вдруг не нервы? И даже наверно не нервы...

Конечно, можно написать письмо, если есть кому и о чем. Конечно, можно пришить пуговицу к жилету, который ждет этого

вторую неделю: к тому же, во-первых, каждый обязан, по возможности, делать все сам; во-вторых, труд наполняет время и... Еще нюанс: скребет мышь.

Подхожу к полке и долго не знаю, какую книгу буду я сегодня читать. Потом закрываю глаза, пробегаю пальцами по корешкам, как по клавишам, и вытаскиваю – Верлена. В голове пробегает дикая мысль: что, если позвать сторожа с колотушкой и попробовать своими словами рассказать ему что-нибудь из этой книги, ну хоть Коломбину? Позвать?.. О, как дико, как дико, – или среди тишины умирающего вечера недостает еще истерики, и надо, чтобы куры, собаки, дети проснулись и сбежались под окна?.. Сколько посторонней дряни живет под черепом...

Я тихо сижу за столом, и все во мне замирает. Я повторяю простые удивительные слова незнакомого мне человека, давно мертвого, – слова, которые я нашел в его книжке, раскрыв ее наугад:

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une lueur
Monotone.

Я радуюсь, что был такой человек, мне бесконечно жалко, что он никогда больше не увидит даже того, что видит простая овца, – а кому видеть, кому видеть и слышать, как не ему! Я опять и опять повторяю его слова, закрываю глаза и, вдруг содрогаясь, широко раскрываю их. Кто-то резко ударил в раму, окно распахнулось, дрожащая серая рука отодрала занавеску, и красная пьяная голова соседа тупо и изумленно уставилась на меня.

– Драстуй! С тобой пришел по-го-во-рить... Лампа горит. Думаю, скучно ему, дай поговорю... Баррин, – заорал он вдруг на всю деревню, – ты думаешь, я пьян, так не мо-ггу говорить. Моггу! Все могу...

– Я вам верю. Только не надо так кричать, – вы всю деревню разбудите. Зайдите в комнату, будем чай пить, поговорим.

– Пого-во-рить? А може, я с тобой не желаю говорить? Ты кто такой? Думаешь, лампу зажег, так и баррин... Нет, брат...

– Зачем вы так кричите? Вы бы пошли домой... Хотите, я вас отведу, вам бы лучше уснуть.

– Не желаю. «У московских у варот, есть налево па-ва-рот...»

– Не кричите, пожалуйста. И ступайте отсюда вон!

– Не желаю. Сам пошел к...!

Тогда я наклоняюсь к самым его глазам и медленно и твердо произношу:

– Пошел вон, пьяная морда, слышишь!

Он понял.

– Баррин! Доррогой мой! Правильно, последняя свинья я, пьяный пес и негодяй! Я тебе завтра петуха зарезу, какого хошь, – сказал и зарезу... Потому ты не брезгаешь. Я понимаю, я, брат...

Он ушел во тьму, продолжая выкрикивать какие-то бессвязные жалкие слова о моих добродетелях и своих пороках, и вдруг опять заорал на весь выгон:

У московских у варот

Есть налево па-варот...

Мы еще даля пайдем...

Но подошел караульщик, который до того, не желая отнимать у себя редкого развлечения, не вмешивался в его диалог со мной, и повлек его куда-то.

Опять тишина. Я сбросил Верлена на пол и вышел на крыльцо. Посреди дороги чернело какое-то чудовище. Подошел ближе: борона, зубьями кверху. Должно быть, сосед загулял и забыл убрать. Если кто наедет в темноте, – лошадь, чего доброго, ноги переломает, – она-то, во всяком случае, не виновата. Оттащил в сторону и оглянулся. Встал молодой месяц. Черные ракиты глухо шумели у темных изб. Перед больницей желтел одинокий фонарь... Все спят. В избе у соседа темно и тихо. Должно быть, его сволокли в пожарный сарай – до утра очухается... Что ж, у кого водка, у кого Верлен. Причина одна... Да и сам господин Верлен не оттого ли и пил, что слишком больно писать иные строки?

Спать, спать, спать.

* * *

Прошли недели... Тихие такие дни. Утром проснешься как новорожденный, закроешься от мух кисеєю и, улыбаясь, смотришь, как они ползают над самыми зрачками, громадные такие, как крокодилы. Цыплята пищат на крыльце, а за занавеской дежурит знакомый кудлатый мальчик: я вижу, кто такой, а он меня не видит.

Всякий пустяк, всякое знакомое с детства движение приобретает новый радостный, хочется сказать, лирический характер. Со вкусом натягиваешь сапоги, со вкусом умываешься, и глаза смотрят не в эмалированный таз, а в траву, утыканную желтым коровником. Чай в саду вкуснее меда. Цыплята лезут в тарелку и щиплют хлеб, Шарик следит за каждым плотком, вздыхает, облизывается, ребята висят на заборе и завидуют. Словом, комическая идиллия во вкусе «*Fliegende Blätter*»... Потом купаешься в пруде, обедаешься лесной земляникой... Стоит только час, другой пролежать в роще или у пруда, как сейчас же вокруг открывается новый рынок: несут землянику, грибы, кто норовит продать свой складной нож, кто ежа. Поймает и тащит ко мне: купи. Куда он мне? Но они знают: «А ты как намерен, купи да выпусти»...

– А вы опять поймаете и мне продадите?

– Знамо! – и сами хохочут.

– Куда вам деньги?

– Мало куды! Гостинцев купить, подсолнухов...

– Подсолнухов? Вы бы весной посадили горстку семечек в огороде, – и покупать не надо.

– Посадил один такой! А летом что лущить-то?

– Осенью соберешь, и на лето хватит.

– Как же! Хватит! Все равно мамка продаст. Ты вот за грибы пятак дал, она увидала, себе взяла.

– Зачем же взяла? Ведь ты собирал?

– Что ж, что я: ей деньги нужней...

Слушаешь, слушаешь, встанешь, отойдешь будто так себе за стволы и заросшим оврагом улизнешь от них в такую плушь, что и

ветер не сыщется.

Лежишь и представляешь себе: я мужик, у меня три десятины земли (средний местный надел), жена, корова, лошадь и прочие принадлежности. Домик беленький, ставни зелененькие, с вырезанными сердечками посередине, перед домиком шиповник (из оврага сколько хочешь пересадить можно) и мальвы. Над окнами резные наличники, как в альбомах кустарных художеств (здесь ни у кого), у дверей скамейка со спинкой, – не сидеть же на земле, как они... В саду груши, яблони, смородина, малина, улья и проч. В огороде огурцы, репа, горох, свекла, фасоль и т. п. прекрасные растения. Фасоль, например, и горох питательнее ржи, в случае засухи их можно поливать, а в огородах у местных крестьян, кроме «картох» и конопли, ничего... Лука нет. Громадные пространства обросли татарником, полынью и еще какой-то бурой дрянью. Об оврагах и говорить не стоит... Так думаю я, закрыв глаза, и представляю себе, как удивляются все крестьяне не только в селе, но и во всем округе. Как сначала завидуют, потом начинают подражать... Да, да, совершенно серьезно: я твердо верю, что если и не будут подражать, то все это каждому лично можно устроить. Зачем другому, может быть, мне? Купить в рассрочку три десятины... нанять работника, садовника, агронома, маляра... От этой простой, но ядовитой мысли вся идиллия сворачивается, как молоко от жары. Доводы против так и обгоняют друг друга... Хотя бы... хотя бы... то, что рассказала на днях фельдшерица. Крестьяне ее очень любят, и она их очень любит и возится с ними двадцать с лишним лет. Но она кроме крестьян любит еще и лилии и белые розы и насадила их за амбулаторией вдоль карниза. Какие-то необыкновенные сорта выписала. «Царицу весны» или как-то в этом роде. И вот, мало того что они и оне (взрослые, как клятвенно свидетельствовал сторож) неуклонно ходят туда гадить, хотя для этого устроен для них павильон, – какой-то дьявол взял да и выворотил эту «Царицу весны» с корнями и втоптал в землю.словно не человек, а носорог. Фельдшерица так огорчилась, что и слов не находила. Пришел к ней чай пить, а она сидит и повторяет:

– Зачем они это сделали? Ну зачем?..

Вот и обзаводись зелеными ставнями с сердечками, мальвами и проч...

Так, под орешником в овраге домечтаешься и довозражаешь себе до того, что устанешь и уснешь, как жук в сене.

.....

Сегодня был особенно пестрый день. Утром зашел в школу. Сторож Игнат, маленький лысый человечек, на круглых ногах, дал мне ключ от шкапа с инструментами и показал, как надо строгать. Сначала начерно шершебелем, потом рубанком и наконец самой большой штукой – фуганком. По-моему, все они рубанки, только один побольше, другой поменьше. Но Игнат категорически заявил:

– Не, как же можно. Названия дана каждому своя. Скажем, теленок и корова, порода одна, а названия разная... Как же без названия!

Я убеждаюсь. Рубанок ерзает вправо и влево. Игнат сидит на соседнем верстаке и с увлечением командует:

– Ровно надо! Сначала толкани, опосля ровно! Чтоб стружка ровная, не рватая. Во как! Во как! Во как!

Собственно, было бы гораздо лучше, если бы он ушел, и стружка была бы тогда не «рватая», и рубанок шел бы ровнее. Но Игнат не понимает, что люди в пиджаках, когда смотрят на их работу, начинают волноваться и нервничать. Я искромсал доску, устал и бросил ее. Тогда Игнат слез с верстака и в десять легких взмахов, выплавив ее, повернулся ко мне и сказал:

– Во как надо! Вещь не хитрая...

«Может быть, дорогой мой, может быть... Я вот от рождения рубанка в руках не держал, а ты всю жизнь с ним провозился, и все-таки я в пять, шесть раз перейму эту «нехитрую вещь», а ты попробуй: не хочешь ли, подарю тебе, ну хоть «Евгения Онегина», – с рисуночками даже для облегчения, – осиль его, друг... До самой смерти не осилишь, хоть трех приват-доцентов по русской словесности для разъяснения к тебе приставить!»

Этакая дрянная, гаденькая мысль... мелькнула и скрылась, как судорога. Откуда она пришла? Почему за секунду до того ее не было, и путей к ней даже не было?

В школьной зале глухой стук, жужжание и кто-то поет тоненьким голоском.

– Что там, Игнат?

– А ткачихи – толкачевская Дуня да Саша Плотникова, – пренебрежительно отвечает сторож, – акушерке полотенца ткнут.

Вхожу и здороваюсь. Дуня похитрее: лисье личико, быстрые глаза, худенькая. Одной рукой колесо вертит, другой катушку придерживает, нитки мотает. Остановилась и петь перестала. Саша посолиднее: опустила глаза на холст, стучит станком и головы не подымает. На обеих платки до глаз.

– Что ж вы, Дуня, не поете?

– Уйдете, запою.

– Разве я вам мешаю?

Переглядывается с Сашей и прыскает.

– Ну, что ж. Мешаю, так уйду!

– Что вы ее слушаете, – возмущается Игнат. – Ишь ты, принцесса кака́, – «уйдете, запою». Интересно им, чего не поешь, язык отвалится, что ль?

– И без вас спою, дяденька. Вашего носа здесь не спрашивается.

– Носа! – Игнат обижается. – Цаца кака нашлась. Сговоришь с тобой, как же... Тьфу!

Слава богу, ушел. Прямо наказание, без толмачей и чичероне шагу не ступишь.

– Вы не уходите, я так... – дружелюбно обращается ко мне Дуня.

Я сажусь на скамью.

– Что это вы пели?

– Песню.

– Какую?

– Да так, песня. Деревенская.

– А вы расскажите мне ее.

– Зачем вам?

– Интересно. Городские знаю, а ваших нет. Расскажите, а я запишу.

«Запишу» озадачило ее.

– Зачем писать, я так скажу.

– Лучше уж я запишу, а то все забуду. С собой в город повезу, память будет.

Пошепталась с Сашей, подумала и решительно тряхнула головой.

– Пишите. Какую, Саша, сказывать?

– «Приехал гусарик», – тихо отвечает Саша, не отрываясь от работы.

– Только речами трудно сказывать...

– Так вы пойте. Вот как до меня, и нитки свои мотайте. Я не хочу вам мешать.

Дуня смутилась и петь отказалась:

– Пишите:

Приехал гусарик
Из нового полку.
Недавно приехал,
Опять уезжает.

Его расхорошая
Плачет и рыдает,
Плачет и рыдает,
На ночь оставляет.

Песня была длинная, глупая, отзывалась каким-то особым, лакейски-писарским романтизмом. Диктовала Дуня превосходно. Кружила колесо и косилась глазом на мой карандаш, чтоб не поспешить и не отстать. Записал.

– Хороша?

– Нет, не хороша.

– Вот видите, а сами просите...

– Вы не сердитесь, Дуня. Ведь песня-то не ваша?

– Шахтерская.

– Вот видите! А вы скажите вашу, деревенскую.

Опять пошептались.

– Пишите:

Горько мне, горько калинушку кушать,
Горчей того нету за старым за мужем.
За старым за мужем ни игры, ни потехи,
Ни тихоговорья, ни ласкового слова.
Он спать ложится, как дуб валится,

Распустил свои сопли по моим по подушкам...

Сладко мне, сладко малинушку кушать,
Лучше того нету за младым за мужем.
За младым за мужем игра и потеха
И тихоговорье и ласковое слово.
Он спать ложится, как голубь гуркует,
Распустил свои кудри по моим по подушкам.

Я, затаив дыхание, записывал эту удивительную песню. Даже ужасные сопли не оскорбили уха.

- И эта, скажете, нехороша?
- Так хороша, что лучше и не надо!
- Правда? – недоверчиво спросила Дуня. – Так вам нравится?
- А вам?
- Песня ничего. Ваши все лучше.
- Какие наши?
- Городские. «Чуден месяц»...
- «Ах зачем эта ночь»... – робко подсказала Саша.
- Гм... Нет, вы лучше свои рассказывайте!
- Еще есть одна, «Трансваль», знаете?
- Нет.

Трансваль, Трансваль – страна моя,
Горишь ты вся в огне.
Под деревом развесистым
Задумчив бур сидит...

- Подождите, Дуня! Что такое «Трансваль»?
- Это так, зря, без внимания.
- Как без внимания?
- Почему я знаю! – Дуня переглядывается с подругой, и обе фыркают.
- А бур, кто же это такой?
- Насмехаетесь вы, я сказывать не стану...

– Совсем не насмехаюсь. Интересно только, как же вы это поете и не знаете что.

Надулась. С трудом успокоил ее и кое-как объяснил, что такое Трансвааль и бур, но на девушек это произвело так же мало впечатления, как авиация на Коровина. Я стал осторожнее и критических замечаний больше не высказывал.

Игнат вдруг заглянул в дверь и поманил меня. Я подошел.

– Чего вам?

– Вы им, барин, на полушалок дайте, они и не такие песни вам докажут...

– А какие же?

– Хи-хи! – Он весь сморщился и захихикал: – Веселые есть, убей бог!.. Они знают:

Дед и баба разговлялись:

Ели кашу с молоком...

Следующие две строки, которые он выдал из себя, захлебываясь от смеха, были совершенно неожиданны и нецензурны.

– Таких мне не надо...

– Не надо? Я думал, интересуетесь. Еще хотел вас спросить: пятаков старинских не возьмете ль? Катерининские... У меня много!

– Откуда у вас?

– Да так, жена держит. От ломоты очень помогает, ежели воду с них пить. Да куды их столько? Я бы десяточек продал, она не узнает.

– Нет, не надо. А от ломоты вы бы лучше у доктора полечились, больница рядом. Вы сколько лет сторожем в школе?

– Шестнадцать.

– Грамотны?

– А то как же!

– Вот видите! А настойку на пятаках пьете.

Игнат озадачен:

– Что ж, что пью? Многие пьют... Так не возьмете?

– Нет, не возьму.

Возвращаюсь.

– Чего это он вас звал? – спрашивает Дуня.

– Так... Пятаки старые продать хотел.

– Купили?

– Нет, не купил.

– Куды их, старые-то! Новых бы поболее было.

– Что ж бы вы с ними делали, если б много было?

Дуня быстро переглядывается с Сашей.

– Смеетесь? С деньгами и дурак умный. В город бы уехала, вот что.

– Разве здесь плохо?

– Здесь... Чего здесь делать – вшей кормить, что ли? – грубо обрывает меня Дуня. – Замуж сбудут. Мужа на шахты, меня в хомут... Не видали, что ли, сколько здесь баб вроде монашек? Мужа нет, а с кем хошь за грош...

Саша еще ниже склоняется к станку и дергает Дуню за подол.

Пауза.

– Ну, что же, продиктуйте еще что-нибудь, – робко прошу я.

– Пишите:

Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под липовых кореньев...
Из-под липовых кореньев
На мое ли разоренье...

Ах, какая песня! Но следующая была, как удар по уху, – шедевр армейско-базарной сентиментальности: об «ахвицерике молодом», который «ножкой топнул, ручкой хлопнул по белу Машу лицу». «Очень, стало быть, лихо хлопнул!» – восторженно объяснила Дуня. Записал еще и еще, и все прекрасные песни были деревенские, а все бессмысленные или хамские были городские, разве кроме «Коробушки» и еще одной, двух.

Так вот что поют они по вечерам, раскачивая нехитрые, но неуловимые мелодии с необыкновенной быстротой или тягуче и хрипло повышая их до пьяного крика... Я бы записал еще, но Игнат стал в дверях, расставив свои кривые ноги, потом пришел маляр, который красил в школе крышу, и тоже застрял в дверях, заглянула в

окно мимоидущая баба и завязла в нем с раскрытым ртом. Пришлось уйти, да и Дуня застыдилась и замолчала.

Я долго сидел на скамье у школы и перечитывал свои песни, скажу правду, не менее горячо, чем Верлена. Так вот как «они» чувствуют природу...

Ветер-ветерочек, ветер – тоненький голосочек...

А вы, милорд, жили бок о бок и думали...

– Здравствуй, милый!

Подымаю голову: ах, это сосед!

– Здравствуйте.

После того злополучного вечера он сегодня в первый раз со мной поздоровался.

– Ну, что, как порешили?

– Это насчет хуторов-то? – Сосед уныло плюет наземь. – Шут их знает! Не пожелали сперва, да член урезонил. Сопласились... А теперь ходят, ругаются.

– А вы-то сами довольны?

– Мне что. Куда люди, туды и я.

– Как же так? Если все так будут говорить, то и схода не надо.

– Кто его знает, може, и не надо. С весны нам переселяться, пособие дадут – на много ль его хватит? Избы у нас все больше кирпичные, вот горе! Сруб перевезешь, а кирпич станешь разбирать – побьешь половину. Опять же овцы. На хуторах, брат, шабаш! Теперь самый бедный, как я, скажем, овцы три либо пять держит... Общество.

– А вы в хлеву держите, как... в Германии, – спотыкаюсь я.

– В хлеву... А кормить чем? Теперь, скажем, выгон да овраги...

– Клевер сейте, – авторитетно советую я, – семена земство даром дает. Чего лучше! Управляющий в экономии обходится без выгона.

– Обошелся! С этого самого клевера два теленка у него поколело, – злорадно сообщает он.

– Обожрались, может быть?

– Там с чего, это дело не наше, а клевер-то вот и оказался!

Увы, через триста лет будут помнить в селе только этих двух телят и не вспомнят ни об одном, кому этот клевер был питательней рыбьего жира.

– Ни к чему все это, барин... Вон после Харитона баба осталась. С похорон пришла, полведра купила, четверть на угощение, а другую четверть тут же гостям и продала. Нашла себе занятие, теперь живет... ничего. Так-то! – прибавляет он злобно, точно возражая кому-то, и отходит прочь.

Разворачиваю тетрадку. Прекрасные песни, о которых я только что думал, завяли: вижу слова, вижу строки. Пусто и темно... Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?

Доктор возвращается из больницы и машет мне рукой:

– Размышляете? Идемте ко мне чай пить!

Покорно встаю и иду за ним к низеньким желтым дверям его квартиры. У крайнего окна больницы с любопытством вытягивает шею мальчик с забинтованной головой.

– Не соскучились еще у нас?

– Нет, напротив... напротив.

– Когда уезжаете?

– Не знаю. Как поживется... Недели через две...

– А то на зиму бы остались... Снега тут у нас, тишина. Работать никто не помешает.

Я представляю себе эту прекрасную тишину и сдержанно отвечаю:

– Зимой не могу. У меня в городе дела.

– Только потому, что дела?

– Нет, не только потому, что дела. Не приспособлен.

– Приспособиться можно.

– Для чего? Я не врач, не ветеринар, не акушерка, не урядник и не помещик, следовательно...

– Следовательно, будем пить чай. Маша, самоварчик бы нам. Я сейчас, только руки умою.

Осматриваю комнату, хотя и знаю ее наизусть. Кусочек города – словно оазис какой-то. Все так знакомо и ценно, особенно здесь, где любое жилье как берлога. Резная этажерка с книгами, огромный диван, на стене Пирогов, группа врачей, на шкапу гипсовый «мальчик с занозой».

За стеклянной дверью старенькая терраса, густо переплетенные ветви яблонь и груш, пестреют маки, бегонии, ирисы... Ишь ты, на много лет устроился! Не чета моему саду.

Доктор вытирает руки и следит за мной глазами из соседней комнаты.

– Хорошо у вас, доктор.

– Ничего, жить можно. Устаешь иногда, это верно. Сегодня шестьдесят пять человек осмотрел залпом... разговоры при том всякие. Изнуряют. Они ведь как дети или, если угодно, как телята какие: разжуй и в рот положи. Не разжуешь, капли вместе со склянкой проглотит, потом, конечно, *ad patres*, – и шабаш. У всей деревни навек доверие к медицине подорвано. Вот хоть сегодня... Варвару Козыреву знаете? Старуху? Обратной стороной, надписью т. е., горчичник к животу приложила и удивляется, что не помогло! Думаете, не объяснял? Двадцать раз объяснял. Стара, глуха, головой кивает, разбери там, поняла она или нет. А не узнай я вовремя, смех на все село: бумажками лечит...

Доктор входит и начинает шагать по комнате.

– Школа! – Он махнул рукой в окно на двухэтажный веселенький дом. – «Птичку божью» изучают. Хоровое пение, токарные финтифлюшки и прочие деликатесы... Гигиены никакой. Сведений о том, что под носом, с чем они всю жизнь возятся, ни на грош. Акушерка в селе пятнадцать лет, поповская сестра, здесь же и выросла, – а они бабку зовут, когда рожать надо. Потом заражение, потому что бабка с грязными руками так и лезет! У учителя мать знахарка! Молодые вот к ней ходят, когда дети не рождаются. Холсты носят. Холсты эти она, видите ли, должна сжечь, – тогда дети будут. Иначе не будут-с. Холсты эти, госпожа, конечно, в сундук, а потом, если баба родит, – следовательно, помогло. Не то что наши горчичники. И ходят все ведь школьники бывшие, которые эту самую «Птичку божью» учили... Годам к двадцати «птички»-то эти повылетят. Лечит она тоже. Конкурирует... Коров вот лечит, а сама, когда у нее корова заболела, ха-ха, к ветеринару обратилась. Умная баба... Что ж вы чаю не пьете? Может быть, варенья?

– Нет, спасибо. Отчего же сын не повлияет?

– Парамон Николаевич? Очень она его послушает! От него и крестьяне нос воротят, потому что свой же, деревенский, хоть и в

манишке. Давно ли с ребятами горох воровал, в ночное ездил, а теперь в шляпе, учитель, живет в комнате с обоями, сторож ему ботинки чистит. Они этого не любят. Да и ему не сладко! В прошлом году его какой-то мужик обложил по какому-то поводу...

– Как обложил?

– Выругал то есть; потом бедняга приходил советоваться, как ему быть. Чуть не плачет. Я посоветовал плюнуть, а он ни за что, за престиж свой, видите ли, испугался. Пожаловался в волостное управление, мужика на три дня в холодную. Теперь сам жалеет: кланяться они ему перестали. Только ради матери иной и поклонится, который рубля в срок не отдал...

Доктор искренен. Но чувствую, что все эти иллюстрации, главным образом, разворачиваются для меня. Я покорно слушаю и о горчичнике, и о холстах, смотрю на свое растянутое лицо в самоваре и вяло удивляюсь: почему люди ходят на руках, а не на ногах? Неужели бабы не знают, отчего дети рождаются? Орангутанги и те, вероятно, знают! Смотрю на доктора и думаю: что, если предложить ему хорошее место в городе, уедет он или нет? Пожалуй, уедет. Ему ведь, собственно, лечить людей полагается, а он тут какой-то хронический подвиг совершает... Объясняет, чтоб склянок не ели... Из одного чувства самосохранения, кажется, не станешь есть... Чего объяснять еще?

Я томлюсь, перелистывая старые газеты, и, наконец, поднимаюсь. Доктору досадно, он только разошелся и еще многое бы продемонстрировал. При этом он пристально и сухо смотрел бы в мои зрачки, а я бы беспомощно слушал, хрустел под столом пальцами и думал, что он повторяет про себя: «Негодяй, негодяй»... Затем все это разрешилось бы, как в прошлый визит, знакомым припевом: город отвлекает от деревни все культурные силы. О доктор, доктор! Если бы вы знали, как мало этих культурных сил в городе, как невероятно мало... Там, правда, горчичников надписью к животу не прикладывают, но в обращении с мыслью, с идеями, с искусством, с детьми и т. д. – там это происходит сплошь и рядом, г-н доктор...

И еще, – господин доктор, забыл я вам сказать, да все равно возвращаться не стоит! У многих ваших пациентов, видите ли, сохранился неразменный рубль: странная такая уверенность, что после погребения для трупов наступает новая жизнь, несравненно

интереснее земной. Так вот, таких пациентов, собственно, не очень жаль: о том, что никакой новой жизни не будет, они ведь так и не узнают, а здесь, на земле, они побогаче нас с вами, господин доктор. Чай внакладку и галстук не такое ведь большое утешение, когда знаешь, что окно твое выходит прямо... в черную дыру.

Долго стою в недоумении посреди зеленого квадрата выгона. Куда идти? В рощу или к пруду или просто по проезжей дороге в поля. Но глаза упали на желтый клин ржи у больничного сада, и вдруг вспомнилось, что сегодня начали косить заливной луг.

Жужжат колосья. Глубокий плавный такой шум, словно о точильные колеса тихо ножи точат. Посреди межи уцелели отдельные колосья, а местами целый ряд тянется, тянется и оборвется. Земля плотно убита, светло-серая, как слоновая кожа, – гудит под ногами и струится легким зигзагом куда-то в бездонную желтую глубину шипящего хлеба. Где доктор и его комната? Есть ли там за спиной село? Да, есть – обернулся и увидал. Но если смотреть вперед или под ноги, все обрывается. Над желтым краем ржи густое синее небо. Легкий ветер. Передо мной руки отклоняют колосья, во мне поют все скрипки жизни и тишины. Я темный тупой камень! Я сидел там на выгоне часто по целым дням, как привязанная собака, и до сих пор не знал, что можно ходить по меже. Я ходил по голым дорогам, плотал пыль из-под всех встречных телег и боком косился на переломанные, измазанные дегтем колосья у края дороги...

Колосья жужжат. Внизу у прохладных зеленых стеблей сквозят яркие васильки. Я иду все медленнее, я не знаю, что мне делать, так мощно приливает к глазам синий и желтый океан неба и ржаных полей. Межа оборвалась к зеленому скату лога. По гребню там и сям группы пышных берез свесили длинные светло-зеленые ленты. Пасутся пестрые коровы. Прибавляю шаг и из-за поворота уже слышу: жах-жах, жах-жах. Косят.

Раскрылся широкий прибрежный луг. Телеги с поднятыми оглоблями сбились в кучу. По всему лугу длинные ряды посеревшей скошенной травы и длинные ряды белых рубах косарей. Первый из ближайшего ряда останавливается, вытирает рукавом лицо и широко улыбается.

– Здравствуйте.

– Здравствуй. Поглядеть пришел?

– Да, интересно.

– Ну что ж, погляди, погляди.

Подошел второй, третий и другие, кто поближе. Тяжело дышат, вспотели, иные совсем измучены.

– Устали?

– Помахай так с зари, небось устанешь!

– Пить – смерть хочется, – прибавляет другой.

– Отчего же вы квасу не взяли?

– Кувшин взял, да выпил. Много ли в нем, в кувшине-то?

Молчу и думаю, что, если б это я был на его месте, я бы взял квасу столько, чтобы хватило на весь день. Или если не квасу, то воды – благо, река близко: зарыл бы кувшин в землю и пил сколько надо. Деды и прадеды косили, тысячелетний опыт за плечами, и страдают от жажды, точно здесь Сахара какая-нибудь.

– Ты что ж, барин, смотреть пришел? Покосил бы! – обращается ко мне с улыбочкой рыжий низенький мужик. Плотный такой мужик, – между плечами у него, пожалуй, весь его рост уложился бы.

– Да я никогда косы в руках не держал, – извиняюсь я и с ужасом оглядываюсь.

Остальные, как заговорщики, тесно обступили меня, рыжий мужик пошаркал по косе брусом, вложил мне ее в руки – и все загалдели:

– Не держал, так поддержи!

– И я, как впервой косил, допрежь того в руки не брал!

– Леву руку к грудям приверни, а правой вот так!..

– Филимон, покажь им, как ворочать-то!

Огромный бородатый Филимон берет меня в охапку, кладет на мои руки свои и начинает плавно и сильно вертеть мной и косой, так что мое тело вдруг превращается в рукоятку.

– По самому низу пушай, не тяни на себя, по низу, по низу!

Когда он отпускает меня, наконец я, к глубочайшему своему удивлению и к полному удовольствию мужиков, продолжаю разворачиваться, как заведенная пружина, и повторяю те же движения до тех пор, пока острие косы не врежется в землю. Вот что делает иногда самолюбие!

Я тяжело дышу. От телег примчались с гиканьем мальчишки, но их ожидало разочарование: человек в пиджаке не полетел кубарем в

траву, не срезал себе косой подметок и не сломал косы.

– Здорово! – поощрил меня рыжий мужик. – Этак к вечеру лучше нас косить станешь.

«Как же, стану я тебе косить», – огрызаюсь я про себя. От десяти взмахов и то сердце в плотку полезло...

Подходит лавочник (он тоже сегодня с косой) и протягивает руку, – один из всех. Все-таки, так сказать, свой человек, как же не обменяться рукопожатием!

– Не скучаете у нас?

Опять о том же...

– Нет, не скучаю.

– Скоро в Питербург? – с особенным удовольствием подчеркивает он «Питербург».

– Не знаю еще.

– Хороший город. Года три в нем пожил. Шестнадцатая линия на Васильевском острову, дом купца Дроздова. Может, знаете?

Хочется сделать ему удовольствие и сказать, что знаю, но избираю средний путь и молчу.

– Я думаю, что другого такого города и на свете нет! Домá, например: глазом не окинешь. В дроздовском дому, чай, больше народу жило, чем у нас в селе.

– Что же в этом хорошего?

– Как же можно. Кипение жизни, опять же торговля, в каждом дому своя лавка, улицы мощены, водопровод...

Рыжий мужик не выдерживает и ввязывается:

– Знамо, столица! У меня вон брат тама в дворниках служит, письмо прислал: очень уж хвалит.

– Еще б не хвалил, дворникам житье...

– Вы бы поехали, если бы вам найти место дворника? – спрашиваю я того, который сказал, что «дворникам житье»...

– Чего? Найди, друг, пудову свечу за тебя поставлю!

Мужики хохочут:

– Поставит, это он верно сказал. Кто не поставит!

– Да ведь у вас хозяйство. Две коровы, лошадь...

– Шут в ем, в хозяйстве. Бьешься, бьешься, окромя хлеба, ничего. Жизни не видишь.

Так, так. Вы не совсем правы, господин доктор. Оказывается, что стремятся из деревни не только те, кто пиджак носит. Есть, стало быть, и метафизические причины. «Жизни не видишь» – гм... А ведь это мои слова. Да, мои слова, только не о деревне, а... о городе.

Косари переминаются и что-то шепчут.

– За науку с тебя четвертинку следовало б, – вдруг решительно выступает безусый Данилов.

– За какую науку?

– Забыл, барин? Филимон-то тебя учил аль нет?

– Поднесли б мужичкам, ваша милость, – почтительно поддерживает другой. – С устатку по баночке... хорошо б!

«Моя милость» озадачена. Пить водку в жару, в разгар работы...

Растерянно опускаю руку в карман и с радостью не ощущаю в нем ни гроша. Пусть хоть случай выручит.

– Денег с собой я не взял, извините... – Я краснею и хочу отойти, но рыжий мужик находчив:

– Мы и без денег, за ваше здоровье. Иван Михайлыч, – тычет он в лавочника, – вам поверит, два рублика только. Вон Мишка за вином и съездит.

Мишка высовывается и выражает своей фигурой полную готовность съездить хоть на край света.

– Что ж... Пусть съездит.

Меня провожает сочувственный гул и радостные торжественные восклицания. Чувствую всем нутром, что в эту минуту я приобрел в их глазах больше уважения, любви и преданности, чем всем своим упорным осторожным вниканием во все мелочи их жизни за все эти недели. Лед сломан...

Отхожу, волоча ноги по жесткой щетине скошенного бурьяна. Среди оголенного луга, как острова, там и здесь подымаются красно-бурые метелки конского щавеля, за спиной с удвоенной энергией лихо запели косы: жах-жах, жах-жах.

Вот и безлюдный овраг, но наперерез от телег мчится с криком мальчик, зажав что-то в руках.

– Чего тебе?

– Перепела купи. Батя косил, а он в траве запутлялся, купи! Жирной, ногу только ему одну косой отчекрыжило. Тебе ведь есть все

равно... – И он протягивает ко мне птицу.

Я отворачиваюсь, закрываю лицо руками и, ни слова не говоря, бегу изо всех сил по низу оврага, бегу до тех пор, пока бешеная одышка не бросает меня на землю. За мной никого...

Когда я подходил к селу, весь запад был залит прозрачным бронзовым румянцем. Облака по краям наливались золотом, легкий ветер перекачивал ржаные волны, и они шуршали так сдержанно и тихо, словно сами себя укачивали. А что, если там за краем поля... Эдем?

Нет, не Эдем. Когда поле окончилось, открылся угол выгона, собака на цепи у чайной и урядник на ступеньке, школа и за колодцем моя резиденция.

Не входя в комнату, прошел через сени в «сад». Бобы взобрались уже по веревкам выше дверей, встретились над ними и перевилились легкой зеленой гирляндой. На красных кирпичках очень мило. Подсолнечник по плечо – скоро раскроется. Прибежали цыплята. Большие такие – противно смотреть. Куриное мясо!.. Иду за водой, кое-как поливаю грядки и клумбу. Циннии распустились, но что толку: цветы как бумажные и не пахнут.

В комнате еще хуже. Душно. Мухи засидели занавески, красавицу из «Jugend», Толстого. В тарелке с формалином целая кучадохлых. Другие еще вяло летают, ползают по полу и трещат под ногами. Темнеет. Зажигаю лампу, ставлю самовар, ложусь на скамью и холодно рассматриваю потолок.

Я не понимаю, отчего люди не умеют жить! Исторические причины, экономические причины, – очень хорошо. Но не только же в них дело. Отчего бьют детей? Каталог общих мест подсказывает: от некультурности и тяготы жизни. Так-с. Отчего же у башкир не бьют? Та же некультурность, та же тягота. Не бьют же – сам видел. Отчего коровинская свекровь запрещает невестке писать письма мужу-шахтеру? От некультурности? Разве человек – тигр, которого культура должна сделать вегетарианцем? Пусть тогда остается лучше тигром, будь он проклят! Разве не всегда, когда человек упадет в воду, – культурные бегают по берегу, охают и падают в обморок, а некультурные снимают портки и бросаются в воду, даже если не умеют плавать? Или есть дьявол и ангел некультурности, и оба квартируют в одном человеке? Должно быть, есть...

Я замираю от тоски, как перепел с отрезанной ногой, от которого я убежал, и встаю, потому что самовар на кухне плюется и шипит. Тоска тоской, а чай надо пить каждый вечер.

Кто-то осторожно стучит в окно.

– Можно к вам?

– Конечно, конечно, как раз к самовару поспели...

Учитель. Ну, что ж, и то слава богу! В иной вечер и камергеру обрадуешься.

Странный человек: манишка, воротничок, манжеты с какими-то безнадежно скучными запонками, плоский галстук, похожий на высушенную летучую мышь, коричневый костюмчик в клеточку, черная шляпа и палка с бронзовой собакой, а над всем этим великолепием обыкновеннейшее крестьянское курносое лицо, обрамленное желтым пухом, который торчит откуда-то из-под воротника.

Первым долгом, конечно, отдал дань культуре: подошел к полке и в сотый раз пересмотрел знакомые корешки. Потом обошел картинки.

– Интересно сделано.

– Что?

– Рамочка.

– Что в ней интересного? Бумага под дуб, наклеена на картон. Если б дубовая была – другое дело.

– Дубовая – не штука. Потому и интересно, что так натурально сделана.

Молчу.

– Книжку вашу не кончил. Завтра принесу. Не к спеху ведь вам?

– Не к спеху. Понравилась?

– Занимательно. Репортер-то какой ловкий: книгу Моисея протелеграфировал. Догадался.

Он стал мне рассказывать своими словами, местами с мельчайшими подробностями, содержание «Духовной жизни Америки» Гамсуна. Рассказывал так же точно и подробно, как в прошлый раз содержание какой-то повести в последних книжках «Нивы», так же точно и подробно, как он рассказывал о прошлогодней поездке с экскурсией учителей в Египет: где какие гавани, как кормили и какую он купил феску. Воображаю его в феске! Я знаю также, что, если спросить его о нем самом, он так же подробно и

точно расскажет, когда родился, где учился, сколько у него учеников в школе, сколько девочек и мальчиков, как он преподает хоровое пение и прочее.

Наливаю ему чай и, чтобы оттащить его как-нибудь от Гамсуна, спрашиваю:

– Не знаете, Парамон Николаевич, почему урядник до сих пор моего паспорта не спрашивает?

– Боится, должно быть...

– Боится? Чего же ему бояться? Бог с вами!

– Случай, видите, был такой. Зимой как-то под вечер прискакали в село охотники, устроились на ночлег кто куда, а главный охотник какое-то высокопоставленное лицо был – граф или князь. Ваша изба тогда пустая стояла, он в ней и устроился. Вытопить приказал и сена принести. Дама с ним какая-то еще была. Кто такой – никому не известно. Тимохинскую избу приказал очистить: собак туда поместили. Урядник тогда был другой, его после той истории и турнули. Пришел, спрашивает паспорт. Граф-то этот, или кто он был, его выгнал. Урядник в амбицию вломился, стал требовать на законном основании, да тот ему никакого паспорта не дал и дверь запер. Утром укатили, куда – никому не известно, а через три дня от исправника бумага, чтобы урядника вон. Так никто и не знает, кто был и откуда. Новый, должно быть, и боится теперь.

Слушаю эту невероятную историю и смеюсь:

– Так-так... Так что, может быть, Парамон Николаевич, перед вами сидит теперь испанский посланник или какой-нибудь ревизующий сенатор.

– Почему?

Ах, чтоб тебя! Извольте объяснять, почему. Пошутил, пошутил. Конечно, не испанский посланник и не сенатор. Иван Иванович Иванов, дачник из Петербурга, могу даже паспорт показать.

Пьем чай и молчим.

– Скажите, Парамон Николаевич, большие у вас каникулы?

– Четыре с половиной месяца...

– Школа у вас летом свободна, вы свободны. Посторонних привлечь можно, меня, например, и поповских племянниц. Отчего бы не устроить в школе детский сад, что ли? Для самых маленьких. Песням их обучать, играм разным, картины показывать, – у вас в

шкапах много. Они ведь летом дуреют прямо без призору, режут по целым дням, колотят друг друга, грязны до омерзения...

Парамон Николаевич озадачен и думает.

– Нет, это невозможно. Инспектор не разрешит.

– Детских игр не разрешит? Что вы? Черт с ним, можно ведь и не в школе, в сарае каком-нибудь, в роще, мало ли где. Лето ведь – не замерзнут.

– Не знаю. Времени много отымет, – вяло возражает Парамон Николаевич.

– Какое там время! Сами же говорили, что в иной день от скуки до вечера проспите. С ними другой раз три часа провозишься и не заметишь, словно минута.

– Не знаю, не знаю... Сами они играют, чего еще с ними играть...

Пьем чай и молчим. Рассматриваю его сбоку и постепенно накаляюсь. Какая-то принципиальная бездарность! Мало того – не только сам бездарен, но и все, чего он ни коснется, становится бездарным и скучным, как квасная гуща, – Гамсун, Египет и проч. Словно это не чудеса, а тоже какие-то манжеты и палки с собачьими набалдашниками, служащие для отличия культурного человека от некультурного. Напаялил манишку, да еще летом... Кто ее теперь в городе носит? Почему он удивляется, что я не читал последних книжек «Нивы»? Отстал, мой дорогой, ничего не поделаешь, да и не мое это дело: ведь книжки эти специально для вас предназначены, специально для собачьих набалдашников.

Я почти задыхаюсь от бешенства и смотрю на бороду Парамона Николаевича так пламенно, словно он мой личный враг. Парамон Николаевич поднимает глаза и вдруг улыбается такой доброй, простодушной улыбкой, словно я в эту минуту самый приятный для него человек на свете.

Мне стыдно и больно.

– Пойду я. – Парамон Николаевич подымается. – Книжку завтра занесу непременно.

– Хорошо. Вы бы еще посидели?

– Нет, мне пора. До свиданья.

– До свиданья.

Ушел. Что делать, что делать... Не в иконостас же его вставлять только потому, что он народный учитель. Улыбнулся он – что ж?

Может быть, это у него вроде отрывки. Отрывка благодушия.

Небо за занавеской совсем потемнело. Мимо крыльца возвращаются с покоса телеги, нагруженные сеном, и скрипят. Я не выхожу. Сегодня, пожалуй, все кланяться будут.

У соседей переполох. Визгливый женский голос с надрывом орет:
– Серега, вонцы в картохи побегли!

В голове кто-то отчетливо произносит: «О, великий русский язык». Я усмехаюсь, беру том Киплинга и ложусь в постель. Через минуту я уже в Индии и только к самому рассвету возвращаюсь оттуда и засыпаю как убитый.

* * *

Вспоминать ли о других днях? Все как один. В полях Эдем, в роще Эдем и у стога сена и всюду, где небо, земля и никого вокруг. Но встретишь людей, и опять темные, запутанные узлы, мое «да» – их «нет», их «нет» – мое «да»...

Звенит колокольчик. Ржавая старая таратайка скрежещет и накреняется то вправо, то влево. У одного лавочника только и нашелся такой прекрасный экипаж. Работник сидит боком на передней скамейке, курит и лениво подстегивает снизу пристяжную, которая все норовит проволочить постромки по земле. У края дороги пропыленный чахлый подорожник и серо-голубой цикорий. Рожь сжата. Поперек жнивья над межей болтаются длинные ряды белой полыни. Красная крыша школы долго еще маячит над дальними верхушками лип. Но вот и она пропала. Нет больше села. Нет больше клумбы с геранью, бобов на красной кирпичной стене, выбеленной комнаты с бревнами вдоль потолка и с привычно устоявшимися вещами, нет больше знакомых детей, школы, верстака, Коровина и всего, что наполняло там жизнь... И не сегодня все это исчезло: в последние дни перед глазами словно мутное стекло встало, и выгон, и Шарик, и ночная колотушка – все стало призрачным и, как во сне, едва касалось глаз и слуха. Работник, пара лошадей и таратайка – еще реальны, но мы уже равнодушны друг к другу. Довезут и свалят, как случайную кладь...

Пока еще все притаилось и дремлет. Простор разбежался, колокольчик звенит, сухая полынь желанней пальмы, людей нет. Земля опять благословенна. В овраге и пашен не видно, медленно раскрываются волнистые зеленые бока, сережки бересклета бьют по лицу. Разве не радостно небо – синяя сияющая полоса над головой? Разве не волен ветер за плечами? Не нежен шум берез у перекрестка? Или это мои глаза радостны, дух волен и мечта нежна? А небо, ветер и березы мертвы, как льды у полюса? Не мертвы, потому что во мне тьма и боль, – не от меня сиянье, не от меня воля... Все притаилось и дремлет, но в городе все эти дни встанут, как нищие у порога, и никакой красотой от них не отмахнешься. Никакими спорами... О чем спорить? Здесь не услышат. А если и услышат, так не поймут.

Отчего там, в селе, так часто – подойдешь к человеку, а он прежде слов тебе улыбнется? Там странные бывают улыбки... Человеку оторвало на молотилке пальцы, а он зажал руку в шапку, идет в больницу и улыбается. А я даже смотреть не мог, словно смотреть больнее, чем так улыбаться... Отчего они ломают ракиты у дорог и потом зимой в метель сбиваются с пути и гибнут? Отчего сосед пришел ко мне за советом, когда у его лошади лопнуло копыто? Ветеринар в полуверсте, я не ветеринар, отчего он пришел ко мне? Отчего мне было так стыдно, когда я не мог ничего ему сказать? Я, который так много знаю о грушах в Германии, о зеленых ставнях...

Клубы пыли поднимаются из-под копыт и медленно уплывают в сторону. Кто спорит во мне и о чем? Я видел ясное небо, заросшие бурьяном пустыри у нищенских домов, прекрасную землю до края неба, – не песок, не серые камни, прекрасную черную землю, – и на этой земле полунисших людей. Я видел детей, покрытых коростой грязи, одетых в рваные тряпки, которыми у нас даже пыли вытирать бы не стали, – а кругом все огороды были полны конопли, сундуки замашным холстом и в пруде воды, сколько хочешь... Я слышал, как мужики, когда я прочел им из газеты первые вести о голоде в соседней губернии, прежде всего обрадовались, что цена на рожь будет высокая... Отчего все это? В редакциях толстых журналов, конечно, знают, и я когда-то в городе знал, но сейчас забыл.

Хочу вспомнить, но поля не отпускают. Пустые, безлюдные, ни хлебов, ни трав, – они плавно уходят к небу и наполняют сознание силой и строгой ясностью. Оголенная земля еще свежее, еще

просторнее, чем летом. Ветер свистит, полынь гнется. Отчего не сорвет меня с тарантаса и не понесет по пустым полям, как клочок соломы? Выдул бы из души все, что набилось в нее со всех сторон, – все чужое, безголовое, дикое, чего не понять, а поймешь – все равно не поможешь. Нет, здесь ничего не вспомнишь... Пустые поля, ветер и небо так свободны, что ни за что не поверишь, ни за что не поверишь, что те, кто с ними всю жизнь, так бедны и беспомощны...

Я качаюсь из стороны в сторону. Я представляю себе, что я получил наследство и купил кинематограф, подобрал самые веселые и интересные картины. Карнавал в Мадриде... Ловля диких слонов... Мюнхенская пивная, где баварские крестьяне изображают перед местной интеллигенцией национальные танцы... Я достаю разрешение и объезжаю деревню за деревней, село за селом... И куда я ни приезжаю, дети, бабы, мужики и даже самые древние старухи захлебываются от радости... Я собираю копейки, бесчисленное множество копеек, а у кого нет копеек, тот дает шапку зерна – и потом все эти копейки и зерно везу туда, где голод...

Толчок на ухабе. Я прихожу в себя. Глупости: диких слонов не разрешат, а если и разрешат каким-нибудь чудом, то копейки и хлеб отберут и найдут им место. Работник хлещет лошадей. Въезжаем на бугор. Справа от дороги белеет острог, а за железнодорожным мостом засияли купола: шесть, семь, девять, двенадцать. Слава богу, приехали в культурное место! Лихо пронеслись по городу и через несколько минут остановились у станционного подъезда...

Началось до смешного просто. В один из слякотных петербургских дней Василий Николаевич Попов вернулся с уроков домой и нашел на столе рядом с прибором письмо. Этаким галантный сиреневый конверт в крупную клетку, залихватский почерк, полностью выписанный и подчеркнутый титул:

«Его Высокоблагородию

г-ну такому-то», – а на обороте зеленая печать с коронкой и выкрутасами.

Перепиской Василий Николаевич себя не обременял, знакомых писарей не имел. От кого бы? Штемпель был тамбовский, но мысль о Тамбове ничего, кроме смутных образов тамбовских окороков, не вызвала. Попов неторопливо распорол зубочисткой толстый конверт, прочел, удивленно хмыкнул и позвал сестру, которая возилась на кухне с жарким.

– Нина, поди-ка сюда!..

– Сейчас несу!..

– Да нет! Я про письмо.

Нина Николаевна простучала каблучками по коридору, внесла на сковородке еще ворчавшую свиную котлету, поставила ее перед братом и села напротив него, деловито облокотившись:

– Ну?

– Угадай, от кого.

– Прекрасный пол? – Она подразнила, но видно было, что ни на секунду не верит тому, что сказала.

– Нет... Какое... От Петухова. Помнишь?

– От какого Петухова?

– Боже мой, товарищ по гимназии. Толстый такой, блондин...

– Не помню. Ну, так что же?

– Да вот. Переезжает в Петербург. По этому поводу вспомнил о моем существовании, выражает уверенность и прочее. На «ты». Все,

как следует.

– Ты что же? Дружил с ним?

– Почти. Водку пил, банчок. Давал ему списывать. Да, дружил! – вдруг радостно вспомнил Василий Николаевич. – Рыбу ловили, как же, раков. За Катюшей Кривенко вместе ухаживали, только обоим был нос: Шильский-бродяга перебил, красивый был, мундир такой шикарный... Куда нам!.. Фу, как давно было – точно триста лет назад. (Василию Николаевичу шел тридцать первый год.)

Он мечтательно отправил в рот приставшую к краю тарелки картофелинку и вздохнул.

– Гм... Что ж ты, Васюк, с ним будешь делать? – озабоченно спросила Нина. – Он, пожалуй, так со всеми потрохами к нам и ввалится.

Она представила себе их три чистенькие комнатки и постороннего полного человека: непременно курит, все трогает руками, валяется целыми днями на новом диване и съедает один весь их обед.

– Нет, зачем же... – нерешительно протянул Василий Николаевич. – Он пишет, что в пятницу вечером будет у нас. Увидит сам, что здесь негде. Да и церемониться с ним нечего.

Нина Николаевна пожала плечами и пошла за киселем, а Василий Николаевич лениво поднялся с места, достал с комода альбом с полуотвалившимся жестяным рыцарем и после долгого перелистывания разыскал среди полувывцветших, похожих друг на друга коллег-восьмиклассников, Петухова. Лицо как лицо, посмотришь – ни тепло, ни холодно, – отвернешься – забудешь. «Лапша», – подумал Василий Николаевич и, вытащив карточку, перевернул ее:

«Жизнь прожить – не поле перейти». – «Милому и дорогому другу В. Попову от любящего его друга Димитрия Петухова».

– Гениально! – усмехнулся Василий Николаевич. – Другу от друга. Как же! – Он вставил карточку на место, медленно разорвал письмо и принялся за кисель.

Вечером в пятницу к Василию Николаевичу ввалился рыхлый, улыбающийся блондин в котелке, круглорожий, с жиденькими китайскими усами и почти без глаз, – наполнил всю квартиру наглым запахом дешевого «Шипра» и вспотевшей лошади, сбросил с себя на сундук нелепое пальто с серыми бараньими обшлагами и воротником и шумно полез целоваться. Это и был Петухов.

Василий Николаевич поцеловался, тщательно подбирая губы (черт его знает, здоров ли?), познакомил его с выпорхнувшей из коридора сестрой и повел гостя к себе в кабинет к дивану. Сели. Василий Николаевич не знал, как начать – на «ты» или на «вы»? Но Петухов затараторил сам:

– А ну-ка, покажись, Базиль! Сколько лет, сколько зим... Да ты, брат, молодцом, все такой же. Полысел только, хо-хо, здорово полысел. Как живешь? А? Ну, рассказывай, рассказывай!

«Болван!» – коротко разъяснила про себя Нина Николаевна нового знакомого, но вспомнила, что он пришел без чемоданов, и, приветливо рассматривая простенок, спросила:

– Чаю хотите?

– Не вредно! Не откажусь. Не откажусь...

Василий Николаевич остался наедине с гостем и, недоумевая, начал «рассказывать»:

– Да вот, существую. Холост. Живем с сестрой, работаем, – я в коммерческом литературу преподаю, сестра в городском училище подвизается... Много читаю... Театр. – Он остановился и, слегка отклонившись от слишком шумного дыхания друга, подумал: «Что я ему расскажу? Вот чудак!»

Но вспомнил испытанный рецепт и обрадовался:

– Что я?... Ты лучше про себя расскажи, Димитрий... Петрович.

– Степанович... ха-ха... забыл?

Упрашивать не пришлось. О себе Петухов всегда охотно распространялся, а здесь, где никто его не знал, было особенно просторно. Он живописно откинулся к спинке дивана и, широко обнаружив все великолепие тонов своего уездного жилета, взял Василия Николаевича за цепочку.

– Всяко бывало. Был и на коне, был и под конем... Ты здесь в качестве невского аборигена и понятия не можешь иметь! Среда, конечно, того, – со всячинкой, но женщины – какие женщины! Только

ради них со всем примиряешься. И не какое-нибудь курсье, – разговоры, морально и принципиально, с точки зрения вашего позволения, Вейнингеры и все такое... Гиль!.. Все по природе, – лови сей миг и благословляй судьбу.

– Ловил? – недоверчиво спросил Василий Николаевич, незаметно освобождая цепочку.

– А ты как полагаешь? Пальца, брат, в рот не клади. Ах, милый, представь себе ярко: вокруг хамье, с десяти до четырех торчишь в присутствии, «принимаешь во внимание» да «присовокупляешь при сем», мзда сто целковых в месяц, ни сантима доходов, вечером собрание, ночью рижский бальзам, преферанс и никаких гвоздей – и вдруг среди всей этой тундры пышные цветы любви, страсти и неги... И какие цветы! Ты, брат, не ухажер, не поймешь.

Петухов сжал потной, горячей рукой равнодушную ладонь Василия Николаевича, шумно вздохнул и, явно привирая, принялся рассказывать отдельные случаи из своей ухажерской практики.

Василий Николаевич сидел и слушал, – губы улыбались сами по себе, в глазах сонно перебегали искры ленивой насмешливости, но недоумение все росло. Он не мог отрешиться от странного ощущения: ему казалось все время, что рядом с ним сидит не Петухов, тот самый Петухов, с которым он когда-то играл на гимназическом дворе в чехарду, – а какой-то средний пассажир российского трамвая, самое загадочное и постороннее существо на свете, и, торопясь, раскрывает перед ним свои самодовольные идиотские недра. Резал глаза нелепый большой университетский знак на сером пиджаке, удивляли давно забытые словесные фиоритуры. Мало-помалу становилось скучно.

– Чай пить! – мрачно позвала Нина Николаевна из столовой.

За столом друг опять начал о себе, томно адресуясь главным образом к Нине Николаевне, на фигуру которой он облизнулся еще в передней.

– Как у вас уютно! Сразу чувствуешь женскую руку... Прекрасную женскую руку, одухотворяющую, так сказать, все, к чему она ни прикоснется. Н-да. Мы вот спорили с вашим братом о любви (Василий Николаевич удивленно поднял глаза)... Я убежден, Нина Николаевна, что вы будете на моей стороне. «Но нет любви, и дни ползут, как дым»... Не правда ли?

Петухов необыкновенно осторожно прикоснулся носком сапога к ботинку Нины Николаевны, но встретил в ответ такой изумленный и брезгливый взгляд, что поспешил убрать ноги под стул.

– Вам крепкий или средний?

– Кре... Средний. Мерси! Вы позволите?

Он щелкнул серебряным портсигаром, испещренным уменьшительными именами жертв своей неги и страсти, и закурил, не дожидаясь ответа.

– Что ж так сидеть? А, господа? Двинем куда-нибудь ознаменовать встречу... Какой здесь кабачек пошикарнее, Базиль?

– Право, не знаю. Да и не стоит. Я устал, а сестра не любит.

– Пуркуа? Можно вызвать автомобиль, заказать кабинет... Кутить так кутить. Ставлю на баллотировку! Только, чур, условие – я угощаю...

– Нет, брось. Спасибо... Ты зачем, собственно, в Петербург приехал? – перевел разговор Василий Николаевич, рассматривая с легкой тоской лоснящееся лицо сидящего против него постороннего человека, тянувшего в себя со свистом чай.

– Зачем приехал? Друг мой!.. Я, как тебе отчасти известно, с пятого класса, т. е. слава богу, семнадцать лет служу музам. И, увы, как тебе безусловно известно, меня за пределами Тамбова и его уезда ни одна собака не знает. Питер – центр: сто редакций, тысячи рецензентов, десять тысяч комбинаций. Компренэ?

Петухов хитро подмигнул другу, погрузил свою ложечку в вазочку с вареньем и отправил ее к себе в рот.

– Ах, вот что? – улыбнулся Василий Николаевич. Он вспомнил, что действительно, когда-то, бесконечно давно, Петухов писал сонеты, другой его друг, Ника Плющик, увеличивал *cartes postales*, а сам Василий Николаевич очень художественно выпиливал рамки. – Служили музам...

– Ты, кажется, удивлен? – Лицо неожиданного Петрарки исполнилось снисходительной иронии. – Впрочем, кое-что со мной. – Он бережно прикоснулся пальцем к боковому карману, торопливо допил чай и привычным движением вывалил на стол грязную пачку завихрившихся газетных вырезок и листочков.

– Вот.

Нина и брат переглянулись. Что ж? Пусть хоть балаган... Но балагана не было. Было просто невыносимо скучно и противно. Точно средняя овца, кое-как прожевавшая полфунта страниц из Апухтина, Надсона и Лохвицкой, обрела вдруг дар тусклого, обесцвеченного, плоского слова и заблеяла на одной ноте:

На заре моей жизни унылой
Счастье вдруг посетило меня:
Получил я блаженство от милой,
Горячо полюбил я тебя...
Не страшны мне страданье и горе,
Не боюсь я людей клеветы,
Так как счастья светлого море
Подарила мне, милая, ты!

Дальше шли: желанья-свиданья, грезы-розы, сидели-трели и т. д., до одуренья...

Долго читал, одно за другим. Минут двадцать – не меньше. Но Василию Николаевичу показалось, что часа четыре, а Нине – что с прошлой пятницы.

Когда он наконец замолчал и победоносно насторожил уши, привыкшие к добродушным и увесистым уездным комплиментам, в комнате наступила неловкая тишина.

– Здорово! – сказал наконец Василий Николаевич, избегая взгляда сестры. – Ишь, сколько ты, брат, накатал...

Нина ничего не сказала. В упор уставилась на поэта и еще раз едко подумала: «Болван».

Она встала, не предложив второго стакана, ушла к себе в комнату и там, не зажигая огня, села в угол к окну. «Осел! Как он смел лезть своими ногами! Тоже поэт... Удивительно, как таких олухов печатают. Приехал в Петербург. Как же! Тут тебе покажут. Будьте покойны...»

Эта мысль ее несколько успокоила, но наглый табачный дым, потянувшийся из-под двери, и вновь заскрипевшее в ушах самодовольное блеяние Петухова пробудили едва преодолимое желание распахнуть дверь и крикнуть: «Эй вы, животное, убирайтесь

отсюда вон!» Нельзя... Она порывисто поднялась с места и, бессильно усмехаясь, ушла на кухню.

Василий Николаевич должен был страдать один. Человек из трамвая прочел еще дюжины две листочков – стихотворения в прозе, новеллы, баллады и все такое. Прочел две тщательно подклеенные на толстой бумаге рецензии о каких-то своих «Искрах души»: «Приветствуя молодое дарование нашего даровитого местного поэта, горячо рекомендуем его вниманию наших читателей...» На часах пробило половину двенадцатого.

– Я тебя не стесню, Базиль, если переночую, а? А то далеко, брат, переть.

– Нет-нет, пожалуйста, – с тоскливым радушием пробормотал Базиль.

Другу постелили на диване, простыню Нина Николаевна дала самую старую, подушку самую жесткую, ящики комода выдвигала так, что стены тряслись. Но увы, друг ничего не заметил.

Василий Николаевич сделал вид, что ложится рано, но эта невинная хитрость не помогла. Друг разделся, лег и, блестя во тьме непотухающей папиросой, перешел к анекдотам. Анекдоты были вроде фотографий парижского жанра – до тошноты циничные, нелепые и грубые. Надо было оборвать, но хозяин не решился и попросил только, чтобы потише, а то сестра услышит...

К двум часам Петухов заговорил о гимназии. Василий Николаевич несколько оживился и тоже вспомнил два-три выброшенных из памяти за ненадобностью случая. Около трех часов, после продолжительной паузы, друг наконец спросил:

– Слушай, Базиль...

– А?

– У тебя нет в Питере подходящих знакомств?

– Каких?

– Литературных... Ты ведь всюду обращаешься...

– Нет, – злорадно ответил Василий Николаевич, натягивая на глаза одеяло.

– А у Нины Николаевны?

– Нет.

– Гм... – гость вздохнул и потушил папиросу.

– А у твоих знакомых?

– Нет! – еще злораднее ответил Василий Николаевич.
– Тэк-с... Ну, спокойной ночи.
– Приятных сновидений. – Василий Николаевич язвительно улыбнулся под одеялом и через минуту уснул.

III

Прошло две недели. Брат и сестра сидели после обеда за столом и, с привычным уже для них сладострастием злобы, говорили о друге.

– Это дико, Васька! Мы проходим через сотню измов, спорим о судьбах мира, свысока смотрим на обывателя, считаем себя внутренне свободными, гордимся этим, верим только своему чувству выбора, уму и вкусу, и вдруг первый встречный хам делает из нас половик для вытирания своих идиотских ног... Влезает с улицы в дом, невыносимо оскорбляет изо дня в день глаза, уши... обоняние, – Нина вспомнила ужасный «Шипр» и окурки на всех столах, – и мы ничего не в состоянии сделать... Гадость!

– Но что же с ним делать? – раздраженно спросил Василий Николаевич.

– Выгнать!

– Ах, Нина... Не могу же я. Ведь это все-таки не кошка, забежавшая с черного хода.

– Хуже... Если ты не можешь, я могу.

– Как? – Василий Николаевич с тревожной надеждой посмотрел на сестру.

– Очень просто. Напишу письмо: милостивый государь, брат мой человек деликатный и рохля. У вас с ним решительно ничего общего нет, мне лично вы противны. Вы человек бездарный, навязчивый, некультурный, ничего не делающий и потому не щадящий чужого времени...

– Курящий... – подсказал Василий Николаевич.

– Ты вот смеешься, а я напишу. Ей-богу, напишу!

– Не напишешь, Нина. Нельзя.

– Почему нельзя? Если этот болван сам не понимает, шляется каждый вечер, не замечает, что его едва выносят, читает все письма у тебя на столе, засыпает пеплом твою работу, остается ночевать даже

тогда, когда ты говоришь, что ты нездоров, — как с ним можно поступить иначе?

— И все-таки нельзя.

— Почему?! — Нина готова была заплакать от злости.

— Потому. Разве он виноват, что он такой? Зачем оскорблять напрасно человека...

— А я виновата, что он такой? Или ты виноват?.. А нас он не оскорбляет? Значит, любой прохожий со свиным затылком, случайно познакомившийся с тобой в бане, может прийти к тебе в дом. Придет, развалится в кресле, положит тебе ноги на плечи, начнет ругать всех талантливых людей бездарностями, а свою бездарность навязывать, как гениальность, — и ты — ничего?.. Ты — ничего?!

Василий Николаевич удивленно посмотрел на сестру и промолчал. Однако! Чтобы Нину превратить в тигрицу, — это действительно надо того... Как быть? Жена швейцара, которая готовит им обед, в шесть часов уже уходит. Не отпирать совсем? Нельзя, — вдруг кто-нибудь интересный придет или по делу. Написать, что уехал в Финляндию? Не поможет. Справится у дворника и прилезет... Еще хуже. Вечером как раз должны были прийти несколько близких знакомых. Притащится Петухов, будет всем мешать, хлопать Василия Николаевича по плечу, плоско и бездарно врать, ругать петербургские литературные кружки (еще бы!), читать свои «новеллы»... Неловко. Черт его знает, как все это глупо! Василий Николаевич смахнул со стола крошки и беспомощно посмотрел на свою ладонь.

— Что с тобой, Нина? — спросил он, подняв глаза на сестру. Она необыкновенно лукаво улыбалась, точно захлебывалась в улыбке, и с глубоким удивлением радостно повторяла:

— Какая я дура! Ах, какая я дура!

— Да в чем дело?

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла! Нашла! — Она вскочила с места и, как ветер, завертелась по комнате.

— Что нашла?

— Стоп! Я — хорошенькая, Васька?

– Допустим.
– Не допустим, чучело ты этакое, а факт.
– Пусть факт, – улыбнулся, ничего не понимая, Василий Николаевич.
– Раз. Твой друг ухажер? Два. Я его слегка подогрею... Три!.
– Ты? Его?
– Да, его. Противно, но что же делать? Он ничего не поймет и пересолит. Четыре! Я возмущаюсь. Пять! Жалуюсь тебе. Шесть! И мы его выставляем... Семь! Понял, а? Разве я не гениальная женщина?
– Гениальная, – удивленно улыбнулся Василий Николаевич, – только...
– Что только?
– Разве ты сумеешь?
Нина Николаевна повернулась на каблучках, снисходительно посмотрела на брата и расхохоталась...

IV

Хитрый план Нины Николаевны, который пришел ей в голову в минуту отчаяния, оказался совершенно ненужным. Все завершилось так же просто, как и началось. Можно сказать, классически просто.

В ту пятницу, когда к Василию Николаевичу собрались гости и он, как обреченный медленной пытке, весь вечер ждал друга, – друг не явился. Не явился он и в следующие три дня, а на четвертый пришло письмо – городское, в том же сиреновом конверте в клетку, с печатью, завитушками и пр.

Письмо было кратко: «Дружище Базиль! Очаровательный Питер в качестве столичного города полон соблазнов, я, признаться, пожуировал и профершпилился вдребезги. Жду из провинции подкрепления, а пока что, будь добр, пришли четвертную ассигнацию, которую не премину вернуть в ближайшем будущем. Между прочим, поздравь – продал на четырнадцать рублей стихов... Журнальные сферы меня совершенно разочаровали, однако сдаваться не намерен и твердо держусь бессмертного девиза тургеневского воробья: «Мы еще повоюем!» Твой друг *Димитрий*».

Василий Николаевич оторвал чистую половинку от сиреневого в клетку листочка и, не давая себе остыть, не без иронии сейчас же ответил: «Дружище Demetrius! Двадцати пяти рублей тебе выслать не могу, так как собираюсь купить на выставке ангорского кота, на покупку которого отложил как раз эту сумму. Что касается до журнальных сфер, то ты прав – они у нас действительно того... Хотя в данном случае к ним следует быть снисходительнее. Твой друг *Базиль*».

Результаты решимости Василия Николаевича оказались превосходными: Нине Николаевне не пришлось брать на себя муку делать вид, что друг брата нравится ей больше, чем любой трамвайный контролер, – служитель муз исчез сразу и безвозвратно. Правда, был еще один аккорд: неделю спустя почтальон еще раз принес знакомый сиреневый конверт. Нина Николаевна вырвала письмо из рук брата и, пародируя «блеяние друга», задыхаясь от еле сдерживаемого смеха, прочла:

«Милостивый государь, Василий Николаевич! Ежели в виде ничтожной дружеской услуги попросил у Вас жалкий четвертной билет и ежели бы Вы, не имея возможности исполнить просьбу, отказали – это было бы досадно, но понятно. Ваш же ответ свидетельствует о том, что Вы в затхлой и черствой петербургской атмосфере лишились даже чувства примитивной *джентльменской* этики и зазнались. Прошу Вас исключить меня из списка не только друзей Ваших, но и знакомых, и, кстати, напоминаю Вам одну старую французскую истину: «Rira bien, qui rira le dernier», что по-русски, как Вам известно, значит: «Придет коза до воза».

Известный Вам Димитрий Петухов».

Иероглифы

(Неюмористический рассказ)

Раз в месяц Павел Федорович приходил в тихое отчаяние: письменный стол переполнялся. Над столом, правда, висели крючки для почтовых квитанций, писем, на которые надо было ответить, заметок «что надо сделать», – но и крючки не помогали. Они тоже переполнялись и по временам становились похожими на бумажные метелки, которыми рахат-лукумные греки сгоняют на юге мух с плодов. Фарфоровая памятная дощечка, лежавшая на столе, носила на себе следы по крайней мере шести наслоений графита, стойки для бумаг не вмещали уже ни одной новой открытки и упорно выжимали из себя растрепанные бумажные углы; из бокала для карандашей торчали самые посторонние бокалу предметы: палочка для набивания папирос, длинные ножницы, кусок багета от расколовшейся год назад рамки, пробирка из-под ванили... Ужасно!

Все лишнее Павел Федорович давно с сердечной болью убрал со стола: люцернского льва, бронзового барона, купленного на аукционе, японское карликовое дерево – и прочие соблазнительные предметы, которые только отвлекали внимание и загружали стол. Но и это не помогало: само собой случалось так, что все вещи, попадавшие на стол, когда они были нужны, так и застревали на нем.

Особенно книги. Это были положительно какие-то ленивые животные. Немецкий словарь Павловского, например, третий месяц лежал на столе, как отдыхающий в иле бегемот, и только изредка передвигался с правого угла в левый. Библия по временам перебиралась на кресло, стоявшее сбоку, но приходил гость и садился в кресло, – куда ей было деваться? А стол стоял рядом... Еще больше огорчений доставлял энциклопедический словарь – он приходил гораздо чаще, чем уходил, и всегда целой артелью, так что иногда к вечеру бедный любознательный Павел Федорович не мог из-за него добраться до чернильницы. Но наглее всего были газеты. Когда их приносил почтальон, они имели вполне приличный вид – узенькие, плотненькие, перетянутые вокруг талии бандеролью, они умещались даже в боковом кармане, – но стоило развернуть одну-другую, и на

столе воцарялся хаос. Развернутые листы комкались и не хотели складываться по швам, вырезанные заметки лезли под руки и смешивались со старыми... Даже корзинка для бумаг не помогала: две, три газеты набивали ее сразу доверху и упрямо сбрасывали на пол все, что ни клали им на голову. Ужасно, ужасно!

В ящиках было не лучше. Павел Федорович был человек разносторонний и, кроме того, крепко цеплялся за свое прошлое, как почти все одинокие взрослые люди. Если бы некоторые письма и разные странные пустяки (итальянские монеты, гимназический герб, кусок восковой свечи и пр.) исчезли из его письменного стола, – он бы почувствовал себя совсем неуютно на земном шаре и в значительной степени утратил бы самое чувство прошлого... Конечно, это было смешно и нелепо, – но что делать? – настоящее Павла Федоровича было несложно, как гвоздь: утром кофе и булка, утренние газеты, чай, работа и мертвый сон до следующего утра. Будущее же ему всегда смутно рисовалось в образе веревочного хвостика от колбасы, которую дорезали до самого конца.

В ящиках, конечно, были и необходимые вещи, – например, каталоги книг с тщательными отметками, какие книги надо приобрести в первую очередь, какие во вторую. Но и каталогов этих накопилось гораздо больше, чем было нужно: денег на покупку книг не хватало, а если и случались, то всегда подвертывались какие-нибудь дырявые галоши. Земное побеждало небесное; книги так и оставались отмеченными для покупки, а каталоги продолжали желтеть в ящиках; тем временем выходили новые каталоги, Павел Федорович опять отмечал – и так много лет.

В один из таких приступов отчаяния, – когда стол был переполнен внутри и снаружи, а Павел Федорович с омраченным злобой и тупой беспомощностью лицом уже в двадцатый раз выдвигал с грохотом ящик за ящиком в поисках почтовой бумаги и транспаранта, – в один из таких приступов Павел Федорович встал, прошелся по комнате, снял воротничок и сказал «уф!». Потом мотнул головой и опять присел к столу с железным решением разобрать стол до последней промокашки и выбросить весь «хлам» без всякого сожаления.

Если писать «юмористический рассказ», то все дальнейшее можно было бы разыграть по двум трафаретам. Трафарет номер

первый: Павел Федорович в порыве увлечения выбрасывает хлам и даже приказывает слуге отнести его, во избежание соблазна, на помойку. Затем ночью, охваченный комическим раскаянием, пробирается в одной рубашке с фонарем к помойной яме, разрывает ее и выбирает свои нелепые сувениры из груды картофельной и яичной шелухи. Можно прибавить и дворника, который принимает его за вора, ловит, тащит в участок и т. д.

Трафарет номер второй: Павел Федорович не выбрасывает своего хлама. В таком случае можно очень забавно – «непрерывный смех!» – изобразить борьбу между принятым решением и воспоминаниями, связанными со старым ключом, кусочком сургуча, письмом от веселой вдовы, украшавшей юность, и прочей трухой, засоряющей ящики. Закончить можно так: под утро прислуга вымела холодного Павла Федоровича вместе с засыпавшим его, как Везувий Помпею, хламом, который он разбирал на ковре.

Но, так как рассказ не юмористический, – то придется пожертвовать всеми этими прекрасными подробностями и скромно вышивать по невзрачной канве действительности.

В углу нижнего ящика, под грудой писчей бумаги и дешевых гравюр, Павлу Федоровичу попала в руки неожиданная находка: толстая, так называемая «общая» тетрадь. Наклейки не было, – вместо нее за прорезанной в черной коленкоровой обложке решеткой чернела тщательно нарисованная печатными буквами надпись «Каторжные работы». Павел Федорович улыбнулся и с любопытством взял тетрадь в руки. Как она к нему попала и что в ней? Он раскрыл ее и сразу узнал собственный гимназический почерк, еще расхлябанный, жидкий, но уже со всеми особенностями почерка взрослого человека, державшего тетрадь в руках.

На первой, раскрытой наугад, странице было написано:

«Dum, priusquam, antequam – с изъяснительным наклоном, если придаточное отвечает на вопрос когда, в какое время».

Павел Федорович удивленно откинулся в кресле и стал припоминать. Что бы это могло значить?.. Но в памяти всплыли только изящные серые брюки молодого латиниста из филологического института и его поза, когда он спрашивал обреченную жертву у парты, поставив с изысканной грацией ногу на скамью.

Следующая страница еще больше озадачила, хотя почерк был опять его – Павла Федоровича.

«Пределом называется та постоянная величина, к которой стремится переменная, так что разность между ними всегда остается меньше какой угодно малой величины». И дальше: «Бесконечно малая есть переменная, предел которой равен нулю».

Павел Федорович представил себе бесконечный ряд мух, которые должны были бесконечно уменьшаться справа налево и стремиться к нулю. Но так как разность между двумя соседними мухами оставалась «меньше какой угодно малой величины», то мухи нисколько не уменьшались и были все одинакового роста.

Он плюнул и сердито перевернул несколько страниц.

«К пятнице повторить до Готфрида Бульонского». В этой фразе, напоминавшей шараду на малознакомом языке, только слово «Бульонский» вызвало знакомый гастрономический образ. Буква «Г» лежала тут же на столе. Павел Федорович развернул 17-й полутом энциклопедического словаря и прочел:

«Готфрид Бульонский – герцог Нижней Лотарингии, родился ок. 1060 г., старший сын графа Евстафия II Бульонского и Иды, сестры Готфрида Горбатого, герцога Нижней Лотарингии, которому он и наследовал в управлении государством».

Дальше в таком же роде полтора столбца петита и подпись – Е. Щепкин.

Павел Федорович уныло вздохнул и, охваченный бессознательным любопытством, достал последний полутом, в котором помещены фотографии всех составителей словаря. Е. Щепкин был в самом конце, звали его полностью: проф. Евгений Николаевич Щепкин. Лицо – круглое и добродушное, лоб переходил на лысину, воротничок прямой, стоячий, каких уже никто, кроме пасторов и некоторых профессоров, не носит.

После Готфрида Бульонского в общей тетради замелькал ряд страниц еще более непонятных. Буквы почему-то были латинские, особенно часто повторялись x, y, z. Одни буквы были в круглых скобках, другие, словно в корсете, в фигурных, вверху справа у многих букв стояли крохотные цифры. Кое-где буквы и цифры лежали друг на друге, в два этажа, а между ними черта. Кое-где, как большие и маленькие верблюды, торчали знаки радикалов.

«Алгебра... – горестно подумал Павел Федорович. – Алгебра...»

Ему вспомнилось с необычайной остротой то чувство холодного ужаса и обреченности на письменных работах, когда до звонка оставалось полминуты. Часть задачи списана, часть решена, а тощий, как вобла, математик стоит над партой и двумя пальцами тянет к себе тетрадку: «Довольно-с, отдохните-с»...

Но значение странных знаков оставалось темным. Не верилось даже, что его пальцы выводили когда-то все эти черточки и завитушки.

Новые раскопки в тетради открыли целые залежи греческих фраз – кудрявых, с ударениями и придыханиями, – таинственных, как звездная карта.

Ниже была приписка: «В четверг extemporale! Повторить aoristus I passivi глаголов чистых и немых (чтоб они лопнули!)».

Слова в скобках вызвали сочувственную улыбку, остальное – увы... Напрасно Павел Федорович покорно и кротко повторял про себя:

«Aoristus I passivi глаголов чистых и немых». Память не только ничего не подсказывала, но сбила его с толку, неожиданно подсунув давно забытый детский счет:

«Унэ-дери-трикандери, сахар-махар-помадери, аз-баз-трибабаз, бес-бедович-кислый квас...»

Вслед за этим опять мелькнул знакомый образ. Маленький, рыжий, всклокоченный «грек» стоял у окна спиной к классу и равнодушным голосом цедил:

«Господа, не списывайте дословно. У кого одинаковые ошибки – кол».

«Дай бог ему здоровья! – вздохнул Павел Федорович и задумался. – Попадают же и между ними люди...»

Наконец в конце тетради он, к искреннему своему удовольствию, нашел отрывок, в котором хоть что-нибудь можно было понять. Это был черновик домашнего сочинения «Герои у древних», из которого ясно было видно, что «герой совершает то, на что окружающие совершенно неспособны, – вот главная причина признания его героизма и удивления перед ним».

Одно место заставило даже Павла Федоровича на мгновение полюбоваться смелым полетом своей гимназической мысли:

«Если во время пожара какой-нибудь человек из толпы бросится в огонь и спасет чужую жизнь, мы назовем его героем, если же то же самое совершит пожарный, оценка наша значительно понизится. Чем это объясняется? Тем, что есть профессии, в которых человек как бы обязан всегда быть героем, причем благодаря повторению героизма ему уже никто не удивляется».

Впрочем, все это место пересекала жирная черта, а сбоку стоял унылый вопросительный знак и собственноручная резолюция: «Не на тему. Ослы».

Павел Федорович медленно закрыл тетрадь, откинулся в кресле и закрыл глаза. Было очень досадно. Вспомнились четверти, унижительный торг с латинистом, в коридоре после урока, о тройке с минусом, которая должна была обеспечить тройку в годовом, подсчитывание на бумажке отметок (сколько в среднем?), ответы «на поправку» в конце четвертей, списывание на промокашках греческих экстемпоралей, – весь мутный чад гимназической повинности, мелких обманов и никогда не затихающей напряженности и тревоги.

Особенно ярко всплыла темная жуткая полоса экзаменационных дней, – дней «подготовки», конспектов, шпаргалок, часов ожидания, пока очередь дойдет до твоей фамилии, и ужасных минут, словно перед эшафотом, – минут обдумывания своего билета...

Даже теперь, при одном воспоминании, Павел Федорович поймал себя на смутной радостной мысли: слава Богу, у него уже ни одного экзамена в жизни не будет.

Он покосился на общую тетрадь и вздохнул: однако разве сегодня это не был экзамен? И какой зверский провал! Словно его подвели к доске, испещренной ассирийской клинописью – ни звука!

Досада все росла. «Столько лет, столько лет...» Но, может быть, он только забыл, может быть, другие, у кого память лучше и кто хорошо учился, помнят?.. Он встал, подошел к стене и постучал:

– Иван Иванович, вы дома?

– Алло! – раздалось из-за стены.

– Можно вас потревожить?..

Иван Иванович, квартирный хозяин, – служил в банке, разбирался в любом вопросе в течение пяти минут и считал себя вторым после Шопенгауэра умным человеком на свете.

– Здравствуйте. В чем дело?

– Вы хорошо учились в гимназии?

– Серебряная медаль.

– Ого! Присядьте на минуту, – Павел Федорович снял с кресла Библию и переложил ее на стол. – Ответьте мне, пожалуйста, на несколько вопросов, только не перебивайте и не удивляйтесь...

– С удовольствием. – Иван Иванович с недоумением покосился на жильца, но потом вспомнил, что получил с него позавчера за месяц вперед, и успокоился.

– У вас память хорошая?

– *Nec plus ultra*.

– Прекрасно. Скажите, – Павел Федорович незаметно заглянул в тетрадь, – где находится центр тяжести конуса?

Иван Иванович резко повернул голову к жильцу, пожевал губами и изумленно спросил:

– Что это вы, Павел Федорович?

– Ничего. Совершенно здоров-с. Так где центр тяжести конуса?

– Не знаю...

– Так, – Павел Федорович перевернул под столом несколько страниц. – Кто такой Лука Жидята?

– Лука Жидята?

– Да, Лука Жидята. Феодосий Печерский? Илларион?

– Гм... Это что-то такое из словесности.

– Совершенно верно: «что-то такое из словесности». Так. Что вы можете сказать о *perfectum* и *plusquamperfectum mediī* глаголов немых с подъемом коренной гласной?

– Не знаю, – вопросительно улыбаясь, ответил квартирный хозяин, смутно догадываясь, в чем дело.

– А, не зна-е-те? – Павел Федорович вошел в свою роль и повысил голос. – Серебряная медаль... Отлично-с! Нарисуйте мне графическое изображение зависимости между временем и скоростью для различного рода движений...

– Извините, у меня болит голова. Позвольте выйти! – Иван Иванович вскочил и дурашливо поднял руку.

– Выйти? А не угодно ли вам, милостивый государь, предварительно перевести: «Гомер на-зы-ва-ет Ферсита бе-зо-бразнейшим из гре-ков». Словарь на полке; сроку полчаса. Ну-с!

– Позвольте выйти! – завопил Иван Иванович, но не выдержал и захохотал, как индюк.

Павел Федорович протянул ему общую тетрадь и криво усмехнулся.

– Кол. Садитесь. Смешно, не правда ли? Вот, находку сделал, полюбуйте!

Иван Иванович вежливо перелистал тетрадь и пожал плечами.

– Ах, вот что... Чем же тут любоваться? Дело известное.

– Известное, да не очень. Вы вот ни аза не помните.

– Зачем же мне, собственно, помнить?

– А зачем в нас столько лет вгоняли все это?

– Ерунда. Нашли о чем беспокоиться...

Иван Иванович снисходительно посмотрел на жильца и прищурил глаза.

– Болеют же все корью, – ну и это как корь. Кроме того, полезно для общего развития.

«Очень ты развит!» – подумал Павел Федорович, но вслух этого не сказал.

– Восемь лет – корь? Хорошо-с... Может быть, брата вашего позвать, может быть, он помнит?

Иван Иванович отрицательно помотал головой.

– Отнюдь. Рецепт напишет с родительным падежом, как полагается, ибо это по его специальности. А насчет остального, – как мы с вами: пас.

– Н-да...

– Да вы плюньте... Вот тоже, есть о чем! Комик... Приходите лучше чай пить, – сегодня баранки, а? – Иван Иванович насмешливо оглядел понурую недовольную фигуру жильца, эластично проплыл через комнату и мягко притворил за собой дверь.

От тетради, конечно, не трудно было отделаться. Дрова только что перегорели, по алым жарким углям перебежали сизые мотыльки: брось хоть лед, и тот бы, казалось, вспыхнул. Но Павел Федорович медлил...

Год за годом надо было мужественно бороться со сладким утренним сном, который словно клейстером склеивал веки, плотать, обжигаясь, горячий чай, одним глазом пробегая выветрившихся за ночь из головы «сыновей Калиты» или «брак с Софьей Палеолог и его последствия», другим следя, с замиранием сердца, за минутной

стрелкой. Сколько раз он бросал с тоской недоеденный бублик и мчался, как призовая лошадь к столбу, в гимназию, ежась от холода, ощущая за спиной громыхающий ранец – и в нем то нерешенную задачу, то неоконченный перевод, то еще что-нибудь такое – мучительное, как фальшивый вексель, который не сегодня-завтра предъявят ко взысканию. И вот все, что осталось... Он свернул тетрадь в трубку.

А еще раньше, когда он был совсем маленьким?... Когда длинное форменное пальто «на рост» заметало пыль и собиралось внизу в толстые подвертывающиеся кверху складки... Сколько их по всей России мчалось таких же, как он, – маленьких, стриженных, круглоголовых, набитых деепричастиями, избиениями филистимлян, суффиксами, префиксами, четвертым склонением на us и еще черт знает чем... И главное, и главное – не опоздать на «Преблагий Господи»!

«Преблагий Господи...» «Как же дальше?» Павел Федорович напряженно посмотрел в потолок, но ничего, кроме окончания молитвы, не вспомнил: «и продолжения учения сего». И сейчас же машинально всплыл вариант этой фразы, который почти все они тогда с огромным упорством и чувством полупшепотом повторяли про себя: «и прекращение учения сего». Веселый вариант!..

«Для общего развития». Черти! Прожили тысячелетия и хорошей школы не удосужились создать... Девяносто взрослых из ста складно письма написать не умеют, говорят и читают, как косноязычные попугаи... Колоса ржи от колоса пшеницы не отличат...

Павел Федорович очнулся. Все это было так понятно, «так старо»... и так, для него по крайней мере, непоправимо.

Угли в печке затянулись пеплом, – надо было спешить. Он присел на корточки, рванул «общую тетрадь» вдоль корешка, бросил две половинки в печь и дунул в растрепанные страницы. Вспыхнул веселый огонь, заметались перед глазами радикалы и греческие вокабулы, мелькнули «герои в древности», – и широкое светлое пламя разлилось по всей тетради.

Павел Федорович встал, побил для уверенности завихрившийся черный комок кочергой, прикрыл дверцу, умыл руки и пошел пить чай.

Библейские сказки

Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький

Помнишь, как это было? Маленький Моисей (фунтов 20 тогда он весил, не больше) плыл по реке в корзине. В красивой тростниковой корзине, так хорошо пропитанной смолой, что ни одна любопытная капля воды не могла проскользнуть сквозь крепкое плетенье.

Внизу болтали между собой быстрые, веселые струи, вверху улыбалось серебряное облако с золотой каймой, похожее на белого задремавшего кролика. Стрекозы перегоняли друг дружку и, пролетая над корзиной, удивленно звенели: зык! зы-зык! Когда же это было видано, чтобы маленький мальчик плыл по реке в корзине?

А маленький Моисей лежал, смотрел круглыми глазками в небо и разговаривал сам с собой: «Бля-вля-гя»... Разговаривал на том самом языке, на котором говорил и ты, когда лежал в люльке, задрав кверху круглые ножки, пуская пузыри и рассматривая собственный круглый пальчик. Не помнишь?

Вдали за кустами стояла мать маленького Моисея, смотрела, раздвинув тростник, на колыхавшуюся вдали плетеную колыбель, и слезы медленно капали одна за другой в веселую воду...

«Черный лебедь!» – шепнула служанка дочери фараона, с которой она купалась в реке.

Но дочь фараона поднесла ладони к глазам и звонко рассмеялась: «Черный лебедь!.. А может быть, это бегемот приплыл с твоей родины, с верховьев Нила, чтобы тебя проведать... Разве ты не видишь? Это – корзинка!»

Корзинка задела за черную корчагу, торчавшую из воды, закачалась на месте и медленно поплыла к берегу.

Ты думаешь, маленький Моисей стал плакать и вырываться, как это сделали бы мы с тобой, когда увидел склоненное над собой черное лицо эфиопки-служанки с толстыми, красными, как стручковый перец, губами и зубами, похожими на две полоски кокосового ореха? Совсем нет. Сразу попал он к ней на руки, от нее к другой, от другой к третьей (всем было интересно его посмотреть), пока не дошел до

ожидавшей на берегу дочери фараона, ласково прижавшейся щекой к теплему детскому телу.

– Ах ты, малышка! Да как тебя крокодил не съел? Тут за отмелью их целое семейство живет... Ну теперь ты *мой!*

Быстро оделась дочь фараона и, осторожно прижимая мальчика к груди, стала, улыбаясь, его укачивать.

И мать, прятаясь за тростниками, видела все это и, радостно вскрикнув, пошла домой, благословляя добрые руки веселой царевны.

А потом? Что было делать дочери фараона с таким младенцем? Она велела найти ему кормилицу. И знаете, кому отдали его кормить? Матери, – так уж устроил Бог, потому что жалел мать и любил Моисея.

А потом вот что рассказывает об этом толстая книга, которую часто читает твой дедушка, надвинув на нос круглые очки в черепаховой оправе: «Вырос младенец, и привела его мать к дочери фараона, и он был у нее вместо сына, и назвала она его Моисей, потому что говорила она, я его вынула из воды». Так написано в толстой книге...

Было ему тогда лет пять. Ни днем, ни ночью не расставалась с ним дочь фараона. Каталась с ним в лодке при луне под светлым колыхающимся балдахинном, пела ему веселые песни, хлопала в ладоши и звонко хохотала, – но Моисей не смеялся, печально и молча смотрел на серебряную воду и тихо гладил пушистую обезьянку, которую подарила ему царевна. Большая обезьяна? Нет, маленькая, рыжая, в красном колпачке с золотой кисточкой.

Днем собирала царевна детей, быстроглазых и юрких. Кувыркались они на пестром ковре и, дразня друг друга, прятались в его широкие складки, – показывали, как ходит страус и как ложится верблюд, – и все служанки и царевна смеялись так, что колыхались широкие опала, прислоненные к стене, – но Моисей печально и молча смотрел.

А когда дети уставали и садились вокруг него полукругом отдохнуть, он молча вставал, оделял их вкусными финиками и бананами (ух, как дети их быстро плотали!) и раздавал им нередко все свои игрушки. Сколько бы ему ни дарила царевна, все раздавал: и ярко раскрашенных жуков, и маленьких ручных черепах, покрытых

бронзовой краской, и выдолбленные из дерева лодки с перламутровыми парусами...

Как-то пастухи поймали в поле и принесли во дворец в банке двух тарантулов. Большие такие пауки, с желтым брюшком и волосатыми лапами...

Никогда не видал? Слава богу, что не видал! А поймали их так: пауки вылезли из своих ямок погреться на горячем песке, пастушонок подкрался, прикрыл их сверху глиняной миской, снизу подсунул пальмовый лист, перевернул – и готово!

Собрались дети. Один сквозь пузырь в банку сунул прутик, раздражил пауков, – а те сцепились и давай друг другу лапы вывертывать, желтыми животами трясут, челюстями воздух хватают. Тигры, а не пауки.

Хохочут дети, по ковру катаются. Дочь фараона легла сбоку, в банку дует из всех сил, пауков дразнит, а сама так и заливается. Весело.

И опять, как всегда, только маленький Моисей не смеялся. Мальчик молча сунул руку на дно банки, расцепил ядовитых тарантулов, понес к колючим агавам, что росли у ограды сада, и посадил осторожно на песок. И ядовитые пауки не сделали ему зла, не укусили его, расправили лапы и быстро уползли в поле на свободу... Все видели.

Отпустила дочь фараона детей, отослала служанок, села на ковер к Моисею и долго его гладила по теплой круглой головке.

Долго гладила и нежно прижала к себе и тихо спросила: «Моисей, мальчик мой! Отчего ты такой?»

– Какой? – спросил мальчик и низко опустил голову к ковру.

– Отчего ты никогда не смеешься с нами? Смотри: даже солнце улыбается, птицы звенят, радостно перекликаются в пышных кустах жасмина, рыбы в фонтане весело гуляют друг за другом... Один ты...

– Ты хочешь знать, отчего я не смеюсь? – Моисей быстро встал на ноги и, крепко взяв за руку дочь фараона, потянул ее за собой. – Пойдешь?

Тихонько вдоль стены довел он ее до пышнозатканной портьеры на кольцах и быстро раздвинул занавес...

За портьерой зашуршала одежда, раздался легкий вскрик, и дочь фараона увидала, как, склонив голову, быстро отошла к стене какая-то

чужая, бедно одетая женщина.

– Кто это?

– Моя мать.

– Что она здесь делала?

– Она приходит, чтобы тайком смотреть на меня... когда я играю... – тихо ответил Моисей и, подняв низко опущенную голову, посмотрел на дочь фараона.

И не выдержала она печали ясных и глубоких детских глаз и, закрыв лицо руками, быстро вышла из покоя.

Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях

«Когда пророк Елисей шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним: идет плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка».

Так говорит Библия.

А я думаю, что дело было не так. Не может быть, чтобы такой славный старик, как Елисей, из-за таких пустяков (ну, подразнили – эка важность) стал проклинать детей. И уж ни за что на свете не поверю, чтобы медведицы так жестоко расправились с детьми. Не их дразнили – им-то что. Да еще будто они переловили столько ребятишек... Одного бы поймали, ну двух, – а остальные, как воробьи, рассыпались бы в разные стороны. Догони-ка.

Если ты будешь сидеть тихо и вынешь изо рта чернильный карандаш и перестанешь дергать кошку за усы, я расскажу тебе, как это было.

Шел пророк Елисей опушкой леса по делам в город Вефиль.

Жарко было, как в желудке у верблюда. Ящерицы, широко раскрыв рты, скрывались под прохладными камнями, птицы сонно покачивались на ветках и дремали – одни мухи не спали.

Так уж их Бог устроил: чем жарче, тем им веселей. И нельзя было от них укрыться нигде. Шляп тогда не носили, – Елисей и веткой отмахивался, и ладонью прикрывался, и головой дергал, и стыдить их пробовал, – ничего не помогало. Лезут гурьбой на лысину, жужжат и щекочут, точно им и места другого на земле нет, кроме его лысины.

Пророк Елисей был очень добрый старик: все звери и птицы и букашки его обожали, и он всех любил. Но и самому доброму надоест, когда надо сто, двести, триста раз кричать «кыш» и махать руками.

А тут еще из-за пригорка целая ватага детей высыпала... Разогрелись, расшалились, и вдруг такое удовольствие: лысый старик идет.

Самый маленький даже рот раскрыл от радости и запел:

– Вон и-дет пле-ши-вый... – и пошло.

Ну вот тут, когда мухи кусают в плешь, а пятьдесят ребятишек вокруг тебя приплясывают и сто-двести-триста раз кричат в уши:

– Вон идет пле-ши-вый... – даже божья коровка рассердится.

Покраснел Елисей как помидор, топнул ногой и крикнул так, что все ящерицы под камнями вздрогнули:

– Молчать. Да я вас всех. Цыц...

А детям только этого и надо: лысый старик рассердился. И еще пуще все в один голос:

– Вон и-дет пле-ши-вый.

Сунул Елисей два пальца в рот, свистнул. Прибежала из леса его любимая медведица, бурая, с черным блестящим носом, с черными блестящими глазками и ткнула головой Елисея в плечо: «чего тебе». И шепнул ей Елисей на ухо:

– Пристают... Пугни их, да не очень...

Ну, медведица – дура, зверь большой, – где ей на цыпочках ходить. Стала на задние лапы, передними замахала, как ветряная мельница, и галопом на детей. Ух, что тут поднялось.

Один через другого, с визгом, с плачем, с криком, с воем, с писком, с ревом, – пустились наутек, – и бежали, не переводя дух, через луга и поля, пока не домчались до материнских коленей, – только там и отдышались. А самый маленький споткнулся о пень, полетел носом наземь, и глупая медведица не опомнилась, как с размаху на детской рубашонке большую прореху прорвала. Только и всего.

Вернулся к закату пророк Елисей из Вефиля. Жар спал. Мухи забились под листья, кто куда, хоботками чуть-чуть шевелят – и не слышно их.

Проходит пророк мимо той же опушки и палкой весело размахивает. Нет детей... Точно их дождем смыло. Только из-за пригорка слышно, как все тот же мальчик, который всю кашу заварил, пищит:

– Прячьтесь. Скорей прячьтесь. Лысый старик идет.

Скучно стало Елисею. Любил он зверей и птиц и букашек, а больше всего детей, дружбу с ними водил, сказки им в лесу рассказывал, – и вдруг такая история: дети его боятся... И совестно как-то. Ну, покричали, подразнили... Зачем же их таким страшным лесным зверем пугать.

Позвал Елисей – никто не откликается. Постоял на месте, вздохнул и пошел к себе в пещеру спать.

Назавтра то же самое, – и день, и два, и три прошло, прячутся дети от Елисея, точно от медведицы. Чуть его завидят, словно сквозь землю проваливаются, – только и слышит за камнями то справа, то слева:

– Удирай. Удирай. Лысый старик идет.

Пустился Елисей на хитрости, знал детское сердце. Смастерил из белых щепок мельницу-вертушку, укрепил на палке и привязал на опушке к толстой сосне. Далеко видно. А ветер подкрался из-за пригорка – дунул, закружил легкое колесо, завертел, – чудесная штука.

Стал Елисей за сосну, плешь бородой от мух прикрыл, догадался и ждет. И вот слышит: один подбирается, за ним другой, еще и еще, точно тихие червячки. Ближе, и ближе, и ближе, пока до самой сосны не дошли.

Выскочил пророк Елисей и только рот раскрыл, чтобы ласковое слово сказать, да куда там. Брызнули как зайцы назад, и мельницы не надо. Но старик другого и не ждал. Побежал наперерез к самому маленькому (который первый дразнился), давно он его высматривал – руками взмахнул, да так его в охапку и поймал, как жаворонка.

– Пусти...

– Не пущу... – пыхтит Елисей, а сам только смотрит, чтобы мальчишка его ногами по носу не задел.

– Пусти, тебе говорят.

Но старик догадался: вынул румяное яблоко, дал мальчику, а сам его по голове шершавой рукой гладит:

– Ешь. Ну, чего ты от меня бежал? Разве я страшный?

Видит мальчик, что ничего, – яблоко дал, медведицы нет, – откусил половину, сам вбок смотрит, сердитый такой мальчишка, глаза блестят, – и говорит:

– Ничуть не страшный. Злой, а не страшный.

– Почему же я злой, – усмехнулся Елисей, а сам второе яблоко показывает.

– А зачем ты на нас большую собаку выпустил?

– Медведицу... А зачем вы меня дразнили?

– А зачем ты лысый?

Рассмеялся пророк. В самом деле, зачем он лысый? Дети не виноваты.

Съел малыш яблоко и вздохнул.

– Дедушка, слушай!

– Что, милый?

– Ты маленьким был?

– Был.

– Ага, был!.. И никогда не дразнился? Ни ра-зу, ты только правду говори, ни ра-зу не дразнился?

Подумал Елисей и еще веселей улыбнулся:

– Дразнился! Ишь ты какая хитрая мартышка. Ну, давай мириться. Зови остальных... – а сам целый ворох яблок из-за пазухи высыпал.

– Идите сюда! – запищал самый маленький. – Он не тронет, он добрый! У него яблоки есть!

Сошлись дети под сосной. Медведица из лесу пришла, в землю носом ткнулась (ей тоже совестно было) и дикого меду целый сот принесла. Вкусно с яблоками! А добрый пророк Елисей разгладил бороду, посадил своего приятеля, самого маленького мальчика, к себе на колени и начал рассказывать сказку.

Какую сказку? Такую сказку, что лучше и на свете нет...

Первый грех

На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что на русском... Я тоже так думал, когда был маленьким. Маленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-французски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как же иначе»... Но все это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный это был язык: в нем совсем не было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!), и пчелы, вечно перелетавшие с цветка на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка, расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими пальмами:

– Тишина... Засыпаем...

– И мы... – отвечали, кивая тяжелыми гроздьями, бананы.

– Спать! Спать! – гудели в воздухе райские золотые шмели, слетаясь на ночлег в дупло трехобхватного дуба, что рос у ручья возле тропинки к водопою.

– А где тут трава помягче? – бурчал неизменно каждый вечер грузный носорог, укладываясь среди колючего тростника на покой. Он тростник называл травой, и казался он ему мягче пуховой постели.

Звери даже во сне разговаривали. Мартышки визжали и хихикали – они видели только смешные сны; сонная рысь, облизывая свесившуюся с дерева лапу, тихонько урчала: «Ах, какой большой сладкий финик...» А бегемоты, выставив из тины похожие на чемоданы морды, зевали, смотрели спросонья на встающую малиновую луну и фыркали:

– Фу, какое сегодня мутное солнце...

И добрые все были, – удивительно. Комары никого не кусали, – что они ели, я не знаю, – но ни Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды, ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под

бананами и ждали, пока ветер не сбросит им тяжелую душистую вязку с плодами. Львы облизывали всех, кто к ним ни подходил, даже скверно пахнущих шакалов, – ели траву, и так как наесться травой дело было не простое, то они, как быки и лошади, по целым дням не подымали морды от сочных стеблей, – а проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, играя друг с другом, бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким диванам.

* * *

Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали играть в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой», но звери такого мудреного слова не знали.

Первым стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторону и сказал в нос:

– А ну-ка!

Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и утвердился посреди лужайки тверже скалы. На слона взобрался, отдуваясь от одышки и осторожно выпуская когти (чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра взлезла горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку крыса, а на крысу – мышь...

Играли в лестницу, как видишь, только такие звери, которые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил, потом другую и пошел вдоль всей лужайки, солидно и тихо, словно кадку с мороженым нес на голове. Горилла ревела, рысь весело мяукала, крыса, задрав хвост, пищала, как вырвавшийся из хлева поросенок, – и только мышонок на самом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на веселую игру смотрели кролики. Среди них один белый, любимый кролик Евы, – а рядом, вытянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гадина-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по крепкому плющу, или добрый

архангел Михаил, стороживший райские врата, сделал вид, что не заметил ее, когда хитрая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя чешуей?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и молча проползала в кустах, зловеще поглядывая на зверей, – глаза у нее были желтые, цвета мутного студня, с черной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за рощу, чтоб посмотреть на «лестницу» с другой стороны лужайки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, – он остался на месте, разлегся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг рядом из-под папоротника поднялась тяжелая змеиная голова, раскрыла медленно пасть и, не мигая, уставилась на него круглыми желтыми глазами. В первый раз в жизни стало бедному кролику страшно: сердце забилося, как муха в стакане, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, – голова с желтыми глазами все ближе и ближе, все страшней и огромней, – и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог, только задними лапами со страху два раза в землю ударил... и...

Первые переполошились райские птицы. С деревьев сверху им все видно было: смотрят, лежит змея под папоротниками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у нее белая кроличья спина и задние лапы дергаются и с каждым мигом все глубже и глубже в змею влезают. Встрепенулись и, словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку, к зверям. Мигом рассыпалась «лестница»! Прибежал грузный слон, и тигр, и мартышки, и мышь, все, все, – окружили гадину, ничего понять не могут.

– Отдай кролика! – загудел слон.

– Отдай! – пискнула мышь.

– Отдай, отдай! – заворчал медведь.

– Сейчас же отдай! – заревел тигр...

Отдай да отдай... Так она и отдаст. Слюной его, бедняжку, всего облизнула и все глубже и глубже в пасть засасывает.

Что делать зверям? Браниться не умеют, отнимать силой – не догадались, никогда у них таких историй не было. И вот рысь

спохватилась первая: где Ева? Она для них как добрая мать была, – ее любимого кролика змея плотает, – надо за Евой бежать.

* * *

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась к воде, заплетала и расплетала светлые волосы – был ей пруд яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых слов задыхающейся рыси: кролик – змея – плотает – не отдает! Поняла только, что с ее любимым белым кроликом какая-то беда стряслась. В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят, ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева почему-то больше всего любила таких зверей, которых можно, как младенца, на руки взять. Слон велик, белка на руках не усидит, а белый кролик – такой ленивый, и теплый, и пушистый – был ей всех милее...

Встала Ева и пошла быстрыми легкими шагами, едва касаясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык, рысь.

Пришла и – видит: звери перед змеей в кучу сбились, и Адам тут. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими: «отдай кролика!» А у кролика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, соленые капли так из глаз и брызнули (никогда она раньше не плакала) и скорей-скорей через колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежала к райским вратам, – и все кактусы и папоротники расступились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смотрел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката горы. Каждый вечер смотрел – и не мог насмотреться.

– Что с тобой, Ева? – спросил он удивленно, обернувшись на быстрые шаги.

– Змея! Кролика!

– Так я и знал... – нахмурился Михаил и, подняв перед собой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую землю, пошел за Евой.

Всеером расступились звери перед архангелом. Опустил он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лучисто-синих глаз змея...

– Ты! – топнул ногой крылатый страж. – Злая и низкая тварь! Ты прокралась сюда тайком... Я не выгнал тебя, живи, – в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить по-Божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигаться с места! Вон там, видишь, – Михаил взмахнул багровым мечом, – там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит яблоня...

– Древо познания добра и зла? – быстро спросила любопытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

– Да, добра и зла, – строго ответил архангел. – Ни днем, ни ночью, – наклонился он к змее, – не смеешь ты сползать со ствола: лежи и сторожи... Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.

– А кролик, а кролик! – закричала взволнованная Ева.

– Отдай кролика, – тихо сказал архангел.

Змея поползла дальше.

– Отдай кролика! – верхушки пальм вздрогнули, так крикнул архангел.

Понатужилась змея и, сверкая желтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорожденный котенок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее...

Ушел архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивленные звери. И шумя потемневшей травой, проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуею, змея:

– Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу...

.....

Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь, – прочел в школе. А не прочел, так узнаешь в свое время.

Праведник Иона

Праведника Иону посетил во сне Господь. «Пойди в Ниневию, нету моего терпения! Живут хуже скотов, злодей на злодее... Образуь их, Иона, а не то...» И загремел гром в небе.

Проснулся Иона, сел на ложе и задумался. Да разве они послушаются? Камнями побьют, а сами еще пуще прежнего закрутят. Слишком уж милосерд Господь... Нянька им Иона, что ли.

И придумал Иона худое дело, словно затмение на него нашло. Сел потихоньку на корабль и поплыл в город Фарсис, будто по делам, авось и без него все обойдется.

В Фарсисе решил заодно родных повидать, внучку на колене покачать, – давно не видел.

Но разве от Господа скроешься? Задул во все щеки ветер, море на дыбы встало, паруса все бечевы порвали и залопотали вверх углами. Закружился корабль, как юла под бичом, – дело дрянь.

Начали корабельщики товар в море бросать: рожки, фиги, смолуканифоль, только тюки в воздухе мелькают. Все барыши на дно пошли, а толку мало: корабль все пуще носом в воду зарывается, двух матросов водой слизнуло, – кое-как успели за бортом за канат уцепиться.

Что же делать, решили жребий бросать.

Пал жребий на Иону, – и стал он просить корабельщиков, чтобы его в воду бросили и тем корабль спасли.

Делать нечего, взяли старика под мышки, – а он и глаза зажмурил, – вот тебе и Фарсис, повидался с внучкой, – и бросили его промеж двух огромных зеленых волн. Так они его, словно одеялом, и накрыли.

И сразу, словно кто море коровьим языком вылизал, гладкое стало, пруд прудом, а ветер к облакам улетел, на самое мягкое лег и заснул... И поплыл корабль невредим своей дорогой в Фарсис.

Топить праведника Господу не хотелось. И вот наплыл на Иону несуразный морской зверь Левиафан-кит, плотнул раз и втянул старика с головой и ногами в темные недра.

Сел Иона на смрадных кишках, под себя козий мех подложил (как в воду бросили, так он со страху его в кулаке зажал) и думать стал. Что же больше делать во чреве китовом?

И вспомнил он зеленую землю, розовое солнце на камнях, вырезные листья смоковницы над низенькой оградой, ящериц, укрывавшихся от зноя в его плаще... Господи, не знал он раньше, до чего это хорошо!

Закачала тьма Иону. Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосет! Пал он в уголке на лицо и стал молиться, не славословил, не благодарил, а горько жаловался первый раз в жизни:

– Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, истомился. Уходил от них, а Ты не велишь. Тебе одному служил, – а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люблю я их. Грешен, обманул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель, чем я... Что ж, Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет по-Твоему. Пойду! Освободи только из смрадной тьмы, дай ступить на землю, – пойду и исполню...

Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в испуге ударил Левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и понесся, сам не зная куда и зачем, фыркая и играя, к тихому берегу. С разбега выкатил скользкую голову темной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой вперед, как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.

* * *

Только к закату вернулся из Ниневии Иона. Шел к морю скалистой тропой на ночлег, – в Ниневии и переночевать не хотел, – всю дорогу сердито ворчал. Усмирил? Уж они его попомнят: гремел, как лев в пустыне, струпами проказы грозил источить все живое, иссушающий ветер звал на их сады и источники, гром – на их кровли, мор – на их скот, саранчу – на их поля... Покаялись. Только бичом страха и можно их к Господу пригнать. Но надолго ли?

Шел Иона, угрюмо смотрел на свои пыльные ноги, – трудно ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тяжелый подвиг, который выполнил он по Божьему слову.

И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле ястребенок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь, поднес к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по писку нашел гнездо, уложил ястребенка среди двух таких же писклявых и, довольный, той же дорогой спустился к подножью. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и уснул.

И опять посетил его во сне Господь:

– Ну, что, Иона, сетуешь?

– Сетую, Господь, прости уж...

– А ты бы, Иона, не пощадил?

– Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз пугаешь. Покаются – потом еще пуще грешат.

– Вот ты какой строгий. Что же ты ястребенка-то пожалел? Разве он добрый? Подрастет, – станет других птиц бить, кровь сосать. А, Иона?..

Обиделся Иона:

– Да ведь Ты же его сам создал, Господь!

Но разве кто из праведников Господа переспорил?

– Создал... А подумал ли ты, что в Ниневии сто двадцать тысяч живых душ? Не все же они псы. Из ястребенка – только ястреб и вырастет, а человек – то змей, то голубь, как повернуть. Авось уймутся... И дети растут, – как же им без матерей и отцов подняться? Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.

– Что же, может, и не стоило, – печально вздохнул Иона.

– Ну это уж не твоего ума дело. Это Мне знать, а не тебе. А ты, Иона, не сетуй, а люби. Так ли?

– Так, Господь... – смутился Иона и проснулся и до светлого утра размышлял.

А как первый свет брызнул в глаза, понял, что мудрость жалости глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и пошел к шумящему морю. Обогнул мыс Иона, смотрит – вот чудо. Тот корабль, на котором он бежать хотел, у берега новым товаром грузили, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят:

– Смотри, старик-то жив!

– Жив, жив, – рассмеялся Иона, – и еще лет сто проживу! Что же, опять с вами поеду. Возьмете, что ли?

– А зачем тебе в Фарсис?

– Внучка там у меня, – улыбнулся Иона и тихо повторил: – Внучка. Давно не видал.

– Ну, что ж, садись, – сказал кормчий и прикрыл ладонью глаза: солнце подымалось над морем.

Голубиные башмаки

Невероятная история

Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то до войны так называли в России мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе.

Мужчина этак лет восьми, румяный, с веселыми торчащими ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В ранце тарахтел пенал, горсть грецких орехов, литой черный мяч, арифметика и Закон Божий. В руке – надкусанное яблоко. Полы светло-мышинной шинели, подбитые стеганой ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка темно-синяя, с белыми кантами, заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание второклассникам согнут в трубочку: не как-нибудь! На ногах – броненосцы: огромные резиновые ботинки, на которые лаяли все встречные собаки.

Вот, собственно говоря, что такое приготовишка.

Учености его я касаться не буду, потому что сам затруднился бы вам теперь ответить, «что делает предмет», какая разница между множимым и множителем и как назывались несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет.

* * *

В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы-тетки один такой приготовишка, Васенька Горбачев. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде и, скосив глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке.

Штуки не бог весть какие... Мальчик решил скопить денег, купить простого деревенского зайца и обучить его тайком в ванной

комнате совсем другой вещи: четырем арифметическим действиям и таблице умножения.

Счет, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой...

Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем, директор гимназии объявит ему перед всем классом благодарность и напишет тете письмо, что племянник ее, Василий Горбачев, затмит когда-нибудь самого Ломоносова.

От каждого завтрака – а давала ему тетка каждое утро гривенник – сэкономил он по три копейки и, когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавке на серебряный. Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошел в ботиках, весело насвистывая, на Трубную площадь, где продавали в клетках и прямо с рук всякое зверье и птицу.

* * *

Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, весеннее, под галошами вкусно чмокала налитая водой слякоть, у обочины тротуара искрился и лепетал ручей, словно он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в портерной – бутылки играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади – муравейник. И все можно достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках – фунтиками.

В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и нежно друг дружку подталкивали клювами, надувались толстые черные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, сойки, чижи... Белка свернулась в рыжий комок и спит, – надоело ей вдоль клетки прыгать... Мопсы, маленькие, совсем еще дети, высовывали розовые носы из-за пазухи оборванца... Но зайца – не было. Нигде не было!

Три раза обошел Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы: нет зайца.

– Чего покупаете, купец? – хрипло спросил вдруг у пригостишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный рубль, торчавший из Васиного кулака.

– Зайца...

– Шкурку, что ли?

– Какую шкурку! – Мальчик обиделся. – Живого зайца, как вы не понимаете. Да вот нету. Продали, что ли, всех...

Босяк задумался.

– Много ли дашь? Я достану.

– А что он стоит? – Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают: на вес, что ли, или в длину по вершкам.

– Рупь. – Босяк снова покосился на Васин рубль, перевел глаза на пивную лавку и сплюнул.

– Девяносто пять копеек? – робко спросил Васенька.

Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.

– Рупь, – хрипло повторил опухший субъект. – Через полчаса приходи сюда, видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц.

– Живой?!

– Дохлыми не торгуем.

Васенька радостно щелкнул языком и побежал, чтобы убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там в окне давно уже он заприметил серию марок мыса Доброй Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники.

Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился? Нырнул в подворотню, фить – и исчез.

* * *

Не прошло и получаса, – Васенька уже давно на Трубной площади топтался около указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку на своих черных часах на пять минут вперед перевел.

Наконец видит, идет босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами дергает.

– Заяц!..

Босяк нос об зайца вытер, дух перевел и заторопил:

– На! Давай рубль! Еле раздобыл... Тащи, тащи живей, чего глаза расстегнул? Под зад поддерживай, башку под локоть зажми, а то даст

стрекача, – пропал твой рубль ни за копейку...

Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передвинул и скрылся, – только дверь в пивной и хлопнула.

Понес мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и не легко нести, сам так весь улыбкой и расцвел. На трамвай денег нет, да и пустят ли с зайцем.

– Сиди смирно! Ишь тяжелый какой, словно утюгов наелся.

А заяц не унимается, лапами, как пожарный насос, работает, так и рвется прочь из подмышки, точно его казанским мылом намылили.

И вдруг...

* * *

Тетя Варя в ужас пришла. Припелся ее любимый Васенька домой, плачет – рыдает, захлебывается, по всей мордашке слезы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.

– Что с тобой, Василек? Кто тебя обидел? Что за шкурка такая?

– Мо-шен-ник меня об-мо-шен-ни-чал! Я у него на Трубной зайца купил... Ду-мал, тебе сюрприз устроить, обучить зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тетечка, взял рубль...

– Ну?!

– Сунул мне зайца... Я несу, а он барахтается. И вдруг... он шкурку свою рас-по-рол... и из шкурки живая кошка вылезла... и убежала!

– Как кошка?!

– Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку зашил... и мне продал... Народ кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся, а потом плакать стал... Досадно ведь, тетечка! Что я теперь делать буду?!

– Не плачь, Василек...

Тетка племянника по стриженной головке гладит, а самой и жалко его и смешно.

– Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть геометрии, ты у меня мальчик ученый, авось выучишь. А плакать не надо. Что это в самом деле. Мужчина – плачет.

– купишь, тетя?! В самом деле?.. Побожись, что купишь!

– Божиться грешно... Тетке и так верить надо. А вот ты поди умойся, ишь целое озеро по лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем. Хорошо?

Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось. А тетка за спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязывать. Вяжет и ворчит:

– Вот, прости господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли... Кошку в заячий мех среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу!

Самое страшное

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться... Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было... Однако до сих пор – а уж не такой я и трус – чуть вспомню, по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься... и улыбнешься. Рассказать?

* * *

Был я тогда приготовишкой, маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится... Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек – сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас, гимназистов, и верзил и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть

не хотят, все за большими гоняются... Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берет, либо в лапту играют – я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела не мало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь – литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают, – и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.

И вот, на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами косой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На свое горе, я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят... А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар стационарный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него – вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули – ух! – взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис... Снег мягкий, шинель толстая – ничего! И полетел вниз в полной безопасности легким перышком на ватной подкладке.

* * *

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю – некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый... Справа девочки, слева девочки,

сзади девочки... Тысячи девочек, миллионы девочек... Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается – кричит:

– Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно... Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осинового гнезда выдержусь?! Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза – острые, ехидные, по всей моей восьмилетней душе ползают... Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И все ближе и ближе... Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе...

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу... Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все, как покатытся... Воробьи с кустов так и брызнули. А я посередине – один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Еще теснее... Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам – помучить... Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи, – мышей, например, – что они с епископом Гаттоном сделали?!

Но они ничего. Только еще ближе подобрались. Одна, постарше, наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила... Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула, – всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходить начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, думаю... погибать, так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-

кусаться буду... И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад битым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос... Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно... Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик:

– Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-чают!!!

Да разве их перекричишь... Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл... Так бы я, быть может, и погиб...

Но, на мое счастье, вижу, издали, словно облако, седая дама плывет – в серой шубке, на голове серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили... От реверансов снег задымился...

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

– Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе – тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не пригостишка, а «Капитанская дочка» и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно...

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает:

– Как вас зовут?

Ну это я кое-как, слава богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал:

– Шаша.

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у пригодишки острый!) шипение слышу:

– Шашечка! Промокашечка... Таракашечка...

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.

– Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:

– Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

– Стыдитесь! Большие – маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?

– Да он сам вызвался.

– Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

– Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили... Слава богу, не все же здесь маленькие... Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама сама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало...

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям: да и время было, – колокольчик во всю плотку заливался... Кончилась, значит, большая перемена – кончились и мои мучения...

На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.

– Почему?

– Не пойду.

– Да почему же?

– Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

– Фу, козел упрямый... Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск – для нее было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

– Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.

Париж, 1928

Голубиные башмаки

Было это в Одессе, в далекие дни моего детства.

Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьезный мальчик.

По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.

Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах – от мелкой дробы до сломанного пробочника – можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьевщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашел где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и все пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

Изобретает – и все, бывало, что-нибудь жует в это время: хлеб с повидлом, резинку либо копченую колбасную веревочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал все такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порошок.

То приготавливал из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырек, – перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щелкала Володю медным наперстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, – а ты знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, – к наперстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.

Уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные

буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.

То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб три мыши оптом ловить – для экономии.

Но проволочка зажимала защелку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал медом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стеклах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.

Обыкновенно силки дело не хитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, – надо было только не попадаться на глаза ломовым – «биндюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они плели леску, делали петли – вправо и влево поочередно, прикрепляли силки к кольшку и засыпали зерном... Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.

От каждой петли он еще проводил с нашего двора к своему окошку нитку.

И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом.

Чтобы, пока он у стола другим делом занят – мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, – каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи все зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли благодаря Володиному усовершенствованию вместо того, чтобы стягиваться, только растягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало – на мышей, да на мух, да на птичье угощение.

А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов потратил – то повидла, то гусиных шкварок, – то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.

Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.

Слышал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углем грузят.

Дед согласился, – что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и все кланчит...

Надел Володя новые желтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят.

Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула: «Ах ты боже мой!», точно крыса в котел с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник...

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слезы.

– Где башмаки?!

– Жу... Жулик унес...

– Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!

– Я не чу-че-ло... Я сам... снял. За что ты меня мучаешь?..

И стал реветь все громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.

Только пузыри изо рта выскакивали.

А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, уперся – и ни слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.

Тогда я увел его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упросил по

дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и все мне рассказал.

* * *

Голубей на угольном складе не оказалось.

Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.

Дедушка ушел в свою контору.

Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, — когда еще сюда попадешь?

Скользнул за ворота, прошел под эстакадой и, действительно, — голубей на набережной туча...

Прямо живая перина на камнях шевелилась!

Отошел он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зернах, — ешь, не хочу...

Володя ждал-ждал... Грузчики стали на обед расходиться.

Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.

Подошел поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.

А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и засвистал. Кто ж так голубей ловит? Этот способ устарелый!..

Конечно, Володя зашевелился, — какие такие еще способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в желтые — этот цвет голуби обожают, — насыпать зерна. Голубь

в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, – так в башмаке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем... Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, – доверчив он был, как божья коровка, да и новый способ заинтересовал.

Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушел за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет...

Так он просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали его черные мысли мучить.

Вскочил он и бросился за ящик.

Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются-урчат... Возьми – голый рукой.

И вот так, всхлипывая, – к дедушке в склад он и носа показать не решился, – босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу...

Помню очень хорошо: прослушал я Володи́н рассказ серьезно-пресерьезно, ведь дал слово...

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.

За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «желтый цвет обожают», – так суп у меня в горле и заклокочет... Бабушка, помню, даже обиделась:

– Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завелся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал.

Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.

Пасхальный визит

Квартира возле PORTA NOMENTANA. Выше учительницы, выше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работниц с кустарной фабрики плетеной мебели. На что уж бедные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась еще выше поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора, – смотреть жутко. Будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Из всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного луку, томатные ароматы, переливающийся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки – вдоль стен вниз и поперек из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит что нужно – не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье, – словно вымпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спальни на вольный простор. Глубоко внизу под узеньким балконом кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы – канареечный, нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад туго разросся между каменными стенами, – ноге никогда его не коснуться, но глазам отрада.

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской Академии художеств в Италию, в апельсинное царство, два года протосковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретах писал... Простудился, слег, да там на Капри и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу – надо же детей подымать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома,

пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала.

* * *

Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать... Работала она сестрой в местном госпитале – к детям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым соседям – заботились они о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье, завела через отельных портье знакомства и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами...

Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках – только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суе толкся: то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами... Домой прибегал на минутку, плотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик, Нина и была утехой. Мать вышивает, а девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку – слова от матери слышала:

Таня пшенушку полола,
Черный куколь выбирала...

– Мама, что такое куколь?

– Не знаю, котик.

– Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.

Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет – в который уже раз! – перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата:

это снег. Никогда не видала, но, должно быть, очень интересно. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка, Нина видала. Белый-белый ствол и весной желтые червячки-сережки дождем висят... А вот и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя в России называют. Сидит в санях – это такая «кароцца» без колес, развалился... Лошади испугались (еще бы!!) и мчатся как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы, такого же цвета, как ее бледные восковые щеки, спустились на глаза...

– Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него – р-р-р! Правда, мама?

Мать все вышивает, отвечает невпопад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет...

Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол: ишь, сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь – не помогает.

* * *

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз... белое шелковое платьице, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла... Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово... И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь...

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

– Сама оделась? Вот умница... Христос воскресе, Ниночка!

– А как надо отвечать? Я уже забыла...

– Воистину воскресе...

– Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж случилось.

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила:

– Ты ведь сегодня не вышиваешь?

– Кто же сегодня вышивает?..

– Вот и отлично. Значит, мы пойдем в зоологический сад. Ты ведь обещала. Да?

– Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и понесешь.

Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила:

– Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной. И кулича кусочек. Только потолще, хорошо?

– Возьми, конечно.

Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не просит... ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг – четыре яйца и кулич... Фантазия!

* * *

Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она?

Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом:

– Добрый день, синьор, как поживаете?

Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски, по-русски ведь они не понимают.

За поворотом, на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на свободе!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он... поздоровался.

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски – медведь ведь русский был:

– Здравствуй, здравствуй... Скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи... Вкусно! Вот увидишь, как вкусно...

Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

– Еще?

Съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!...»

Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!...».

Варвара Петровна опустила на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого не доставало... Слезы... «Все съел, Ниночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила:

– Конечно, отлично. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь... Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то что мартышка какая-нибудь... До свиданья, синьор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных, матово-сизых агав к пантерам; там маленькие детеныши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать.

В лунную ночь

По вечерам учительница любила уходить одна к морю. Детей в русской усадьбе укладывали спать рано. Младший мальчик, морщась, пил свое молоко и каждый раз упрашивал учительницу:

- Пожалуйста, Лидия Павловна, один плоточек.
- Пей сам.
- За мое здоровье!..

Так он, хитрец, по крайней мере плотков шесть спаивал ей: за свое здоровье, за здоровье старшего брата Миши, за здоровье дедушки в Лондоне и составителя хрестоматии – Острогорского... За здоровье больной индюшки, которая с утра до вечера чихала под балконом в своей конурке. И нельзя было обидеть ни дедушку, ни индюшку, ни Острогорского.

Старший, Миша, пил молоко без фокусов. Длинный и желтоволосый, вытягивался он, как репка, в постели, перебирал тихо на одеяле английские детские журналы со смешными пингвинами и зайцами и тихо спрашивал:

- Опять к морю?
- Да, дружок.
- Мыслить?

Лидия Павловна, улыбаясь, кивала головой.

- Каждый вечер?

Он удивленно пожимал плечами. А впрочем, разве у него нет своих секретов, разве не «мыслит» он сам, вытянувшись в постели и притворно закрыв глаза, чтобы взрослые не приставали: «Не спишь, Миша? Спи! Надо спать»...

Лидия Павловна вставала, пожимала мизинцем левой руки левый мизинец Миши – так они всегда прощались – и уходила к морю.

* * *

В эту пустынную ночь полная, налитая сиянием луна, словно ночное ртутное солнце, заливала тихий залив. В Париже даже не

знаешь – луна ли сегодня в небе, либо световая реклама – крем для ботинок «Диана» – маячит вдали над улицей. Кто там в Париже подымает голову к небу? Коты на крышах, пять-шесть чудаков-астрономов да пьяный прохожий на окраине, беспомощно обнимающий уличный фонарь... Остальным ни до луны, ни до неба. И запрятаны они – облака, Млечный Путь, звезды и месяц – где-то там над домами так искусно, что только по календарю знаешь, полнолуние ли сегодня вверху либо глухая, синяя тьма...

Но здесь, у залива... Лидия Павловна сидела на пальмовой, выброшенной морем колоде, поглаживала рукой шершавую, забитую солью кору и смотрела. Отдыхала глубоко, до самого дна души, как много лет уже не отдыхала. Она долго вспоминала, перебирая в памяти год за годом, потерю за потерей, – когда она была в последний раз так бездумно и просто счастлива? Пожалуй, перед самой войной, на одной из дальних линий Васильевского острова, у прохладного ночного окна, когда вот так же разливался над сонными крышами лунный разлив, а в голове кувыркалась и высывала язык смешная, школьная радость: «К черту, к черту, к черту! Последний государственный экзамен сдан!...»

Кто знает, быть может, счастье и есть глубокий отдых, больше ничего. Выпрямленные плечи, свободно задумавшиеся, бог весть о чем, глаза, лунное трепетание на руках.

И еще радовало Лидию Павловну, радовало и смущало, что здесь впервые с нее слетела этикетка – «эмигрантка». В городе опять сама собой приклеится. Пусть. Но здесь... Чье небо? Чья луна? Чей ветер? Чьи волны, шипящие у ног? Французские или русские? Ничьи – значит, и ее. И в этот час, когда в глубине долины, у подножий холмов, вдоль всего побережья каменным сном спали в каменных сараях под широкими пальмами и смоковницами местные фермеры, старухи, мулы и куры, – не одна ли она бодрствовала, не ей ли одной сияла лунная дорога... Чья лунная дорога – русская, французская? Ничья.

Учительница встала и обернулась. За спиной вздыхала и приветливо, словно для рукопожатия, протягивала лапу усадебная шершавая дворняга. Собака улыбалась, ей-богу, улыбалась седой посторонней русской женщине широкой песьей улыбкой и совершенно явно своей несложной мимикой старалась объяснить:

«Я полежу возле вас. Можно? Вы мне симпатичны. Здесь у воды прохладно, а в усадьбе слишком много блох. И у вас такие душистые, теплые руки... Можно?»

Лидия Павловна дружески потрепала шелковое отвислое ухо и улыбнулась.

Вот, стало быть, не одной ей не спится в эту ночь. Еще один лунный мечтатель объявился – с хвостом.

Наклонившись к черневшему у ног обгоревшему устью старого костра, русская учительница сгребла палкой в кучу хворост, полужасыпанные песком сосновые сучья, кору и шишки, кусок просмоленного лодочного киля... Длинными сосновыми иглами пересыпала колючий бугор и достала из сумочки спички.

Собака встала, отряхнула с шубы песок и внимательно повернула голову. Сейчас вспыхнет желтоватая метелка – огонь. Заклубится сизая дымная борода. Полетят, стреляя и фыркая, искры. Приезжая женщина сядет у костра и обхватит колени руками... Можно будет, прислонившись к ней головой, смотреть на огонь, сладко зевать и нюхать смолистое, переливающееся тепло.

* * *

Не одну собаку притянул костер и уютный оранжевый круг вокруг трещавшего огня. От темных камней у воды, где полукругом белели в лунной известке лодочные сараи, отделилась долговязая фигура, длинноногая астролябия в берете.

Собака не тронулась с места. Знает: это гость-француз, приезжий садовник. Живет на соседней ферме. К собакам равнодушен, как, впрочем, и собаки к нему. Длинный, словно складная лестница, которую осенью под персиковые деревья подставляют. Все носится у самого края воды от мыса до виллы на горе. Где ни увидит человека на песке, плюхнется рядом и начинает, тыча рукой в воздух, лопотать, как рубашка на ветру... За пазухой всегда опавшие фиги, которые он по всем дорогам подбирает. Вынет, понюхает и ест. И в волосах колючки, потому что спит на прессованном сене в сарае.

Собака не ошиблась. Двадцатилетний жираф-садовник опустил против учительницы на песок, дружески кивнул ей и стал

вилообразными руками подгрести в огонь хворост.

Желтая метелка, треща и дымя, рванулась кверху. И еще светлее и прозрачнее стал лунный полукруг воды и пляжа, чернее и строже стена прибрежных гигантских сосен. Собака недовольно отодвинулась: и так жарко, зачем же еще подбрасывать?

А привлеченный огнем чужак вытянулся на песке, почти сунув пасть в самый костер, и, продолжая позавчерашний разговор, замахал перед носом своей словно вывихнутой лапой.

– Видите, окно над сараем освещено... Этот старый морж Фалиас сидит под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он дома. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десятков морских ершей – и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено: **Фалиас**. Вы понимаете? А окна вон той виллы – темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложен моими руками грот: брат был Пятницей, я – Робинзоном... Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня... Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад – я вам рассказывал уже – отец за долги продал наш дом. Продав старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.

Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.

– На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его... Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок... Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, – на две недели. Проверяю – цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал... И вот – видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папироса –

лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю как мул... И каждое су откладываю. Год – два – четыре. **Наш дом вернется к нам!** Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут... Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм – глухой городишко, там еще не все люди стали собаками... Как вы думаете, мадам?

Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.

Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям... Жизнь вся впереди, родина – цветущий сад, большая родина – Франция, и маленькая – Прованс...

Утешала и ухмылялась своим русским затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.

Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки... Потом встал, забросал песком догоравший костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.

Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.

Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги... Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожарища... Что ж. Как могла, она его утешила.

Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий, до самого дна души, отдых. Больше ничего.

На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил заспешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что

учительница, наполнив блюдо водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.

Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна слышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.

– Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?

– Не сплю. Что вы делаете?

– Жабе пить несусь.

– Хорошо у моря?

– Чудесно.

– Жираф опять жаловался?

– Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.

– Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи...

Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.

– Ай!

– Испугались?

Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.

И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюду с водой.

Счастливым карп

Мама не совсем здорова, не выходит.

В субботу – базарный день. Миша, как всегда, собрался с раннего утра. Взял свою маленькую сетку для провизии, натянул до бровей синий колпачок и из передней крикнул отцу:

– Ты что же, папка, копаешься? Зонтика не бери, лягушка на балкончике.

У Миши был свой барометр с живой лягушкой на комод в спальне. Если лягушка взбиралась в банку по лесенке на балкончик, значит, день будет ясный. А может быть, и наоборот... Кто их разберет, лягушек этих французских?..

Папка долго еще копался: искал ключ от дверей, спички, трубку. Вместо носового платка наволочку в карман закинул, пришлось менять. Мешок для провизии Миша под пишущей машинкой разыскал, шляпу из-за кресла выудил. Что бы папка без Миши делал, даже подумать страшно...

А потом, только за дверную ручку взяли, мама из кухни выскочила:

– Рыбу, пожалуйста, не забудьте... Ты уж, Миша, пожалуйста, проследи, чтобы свежая была. А то прошлый раз...

– Знаю, знаю, мамуся! Ясные глазки, красные жабры. Макро брать, или колэна, или что?

– Да уж не знаю, чирик. Вы с папой там сами присмотрите, что посвежее.

– Идешь, папка?! Прямо терпение с ним лопается, с этим человеком.

Папка рассмеялся, с трудом натянул на правую руку левую перчатку и хлопнул дверью.

Базар длинной полотняной улицей тянулся шагах в двадцати от Сены. В самой гуще базара Миша ничего, кроме медленно плывших перед ним спин, не видел. Да чужие мешки со всех сторон задевали его то за волосы, то за нос. Но зато на перекрестке было просторнее. На панели, у самой мостовой, блестели на солнце солонки, жестяные крышки и соблазнительные копилки в виде румяных яблок и свиных

голов. На раскидном столике грудой желтели солнечного цвета лимоны и бананы. Какая-то красная, похожая на тюфяк, баба сердито кричала, предлагая прохожим кудрявую овощь вроде мяты. Распластанные кролики с крохотными почками и печенками так беспомощно лежали на прилавках, раскинув ножки в меховых чулочках. Миша вздохнул...

Долго вздыхать было, однако, некогда. Ишь, отец, хитрый какой, засмотрелся на детские грабли и повозочки, а про рыбу и забыл.

Миша потянул его за рукав и потащил к рыбным столам. Выбирали недолго: с краю лежал симпатичный карп, как раз такой, как надо. Не большой и не маленький, ясные глазки, красные жабры, полненький и совсем не дорогой. Самый подходящий эмигрантский карп.

Уложили его в папин мешок, прикрыли сельдереем и пошли домой. А в маленькой сетке Миша нес то, что полегче и поделикатнее: головку кудрявого салата, три яйца в бумажном мешочке и сюрприз для мамы – пучок лиловых анемонов.

* * *

Вытащили толстяка-карпа на свет Божий из коленкорового мешка, положили на деревянную дощечку.

Миша тут же вертится, на апельсин самый большой нацелился; надо перед обедом выпросить, – сначала на коже китайскую рожу выкроить, а потом сок выжать, с малиновым сиропом взболтать и сладкую бурду через пульверизатор высосать. Любознательный был мальчик.

Покосился Миша на карпа, задумался. Хорошо все-таки быть человеком. В сеть тебя не словят, кожу скрести ножом не будут, на сковородку не положат... О! Что же это такое?!

– Ма-ма! Он зевает!..

– Кто зевает?

– Карп! Ура!.. Живой... Да иди же сюда, иди же! Хвост поднял!

Схватил Миша бесстрашно карпа поперек живота, бросил его в жестяную лохань, встал на табурет, отвернул кран. Хлынула вода, загремела о жесть, пена ключом, ничего не видно. А когда доверху

дошла, в лохани прояснело. Смотрит Миша: медленно шевельнулась рыба, дышит, пасть открывает, хвостом туда и сюда. Словно после обморока сил набирает.

Папка, конечно, рядом стоит.

– Ах ты, Карп Иванович! Смотри, Миша, вкруговую поплыл, носом тычет. Как же его теперь, чудака, жарить? Сами в чувство привели, сами и потрошить будем? А? Нехорошо это как-то. Негостеприимно.

– Никто его потрошить и не будет. Мы же не вампиры какие-нибудь! Мамочка, я его у тебя откупаю.

– Как, дружок, откупаешь? Что за глупости?

– Совсем нет. Возьми у меня в копилке двенадцать франков, столько, сколько он стоит, и сделай нам какой-нибудь моментальный обед. Я, мамуся, на все согласен. Пусть хоть молочный суп. Папка тоже. Согласен? Еще бы! Какой тут разговор... А карп пока будет жить...

– Под твоей кроваткой? Отлично. А франков твоих мне не надо. Купи лучше на них своему карпу тюфячок.

– Ты, мамуля, не насмехайся. Позволь пока, ну позволь, миленькая, мармеладная, любимые глазки, ду-ду-дешечка, пусть пока поживет в ванне... А потом я для него постоянное местожительство придумаю. Честное слово. Поедим сардинок, что ли? Они без головы, их уже не жалко... Правда, правда? Ты же не вурдалак! Ты же золотая! Ты же не станешь из живой рыбы кишки выматывать...

– Не стану. Да замолчи ты, барабанщик. Тащи рыбу в ванну. Вдвоем берите... Господи, потоп какой! Марш из кухни! Как-нибудь уж вас накормлю, рыболовов... Только, чур, не ворчать. Выметайтесь!

В коридоре перед ванной Миша поскользнулся и запищал на всю квартиру:

– Расшибся! Вдребезги расшибся! Что же ты на меня смотришь?

Мама всплеснула руками и выскочила из кухни.

– Ногу ушиб? Ручку?

– Странная какая. Какие же у карпа ноги и ручки? Он ушибся, а не я!.. У него теперь сотрясение мозга делается... Почему же ты хохочешь? Безжалостная!

Но папка ловко подобрал трепыхавшуюся рыбу с пола и успокоил Мишу:

– Не пищи. Карп как мячик. Даже не треснул... Хоть на плиту его роняй! Открой в ванне кран... Стой, стой, не брыкайся! Пожалуйте, Карп Сидорович, будьте как дома... Температура самая для вас подходящая.

* * *

Карп третий день живет в ванне. Тесновато, но не так уж плохо. Воду меняют два раза в день. Да Миша чуть улучит минутку, свежей воды подольет. Оплывает карп ванну, со всех сторон гладко и кругло, выхода не найдешь. Иногда наверху электрическое солнце вспыхивает, беспокойная это штука.

Миша все старался с карпом подружиться. Встанет на скамеечку, сунет руку в воду и все карпа погладить норовит. А тот глуп, детских нежностей не понимает и как шальной в сторону шарахается.

И самое главное – ничего не ест. Уж ему мальчик и хлебные крошки бросал, и салата кусочки, и бисквиты, и даже хвостик сардинки. Не ест. Скучает, должно быть? Авось на следующий базар другой живой карп попадется. Вдвоем веселей будет...

Миша все свои океанские ракушки на дно ванны побросал и целлулоидную рыбку подкинул и лебеда. Карп на них внимания не обратил. Даже не понюхал.

Мама терпела день, терпела другой, на третий – ворчать стала. Что это за порядки? Живорыбный садок у них или квартира? Вчера Миша со скамеечки в воду перевернулся, всю курточку вымочил, едва за хвост его поймали... Ванну брать нельзя... Такой визг мальчик подымает, хоть беги из дома и уступай квартиру карпу. Да и отец, даром что взрослый, стал все в ванную с Мишей навещать. Станут рядом и любят. Книжку, по которой Миша начинал читать учиться, и ту в ванную перенесли...

И решила мама затею эту прекратить. Ведь так, чего доброго, они в ванне креветок и морских ежей разводить станут...

Подумала она хорошенько, позвала Мишу и новый план перед ним раскрыла. Карп не ест, потому что ему без рыбьего общества скучно: в ванне он все равно захиреет, и придется его консержкиной кошке на обед в помойное ведро выбросить. Стало быть, если Миша

карпа любит и точно добра ему желает, надо в банку с водой посадить, отнести в Булонский лес и в озеро бросить.

Миша потупил глаза, вздохнул и мужественно согласился. В самом деле: третий день ничего не ест его рыбий приятель... Пусть уж не страдает, пусть возвращается в свое... общество.

* * *

Француженка уборщица, мывшая на кухне посуду, покачала головой.

Живой карп... Да ведь это прекрасное блюдо! Зачем же его в озеро бросать? Ведь он денег стоит.

Миша потянул папку за рукав.

– Идем... Она все равно что мадам Баба Яга, и я ее даже слушать не хочу. Сними с банки крышку! Ему дурно... Видишь, как он рот раскрывает?

Мама тоже собралась с ними в лес проводить карпа на его новую квартиру.

Банку поставили в сетку. Знакомая лавочница внизу тоже ничего не поняла. Пощелкала по банке пальцем и фыркнула:

– В озеро? Зачем же его покупали?

Подошел почтальон, тоже ничего не понял. Только маленький консьержкин сынок догадался:

– Ваша рыба будет в озере жить? Будет плавать вперегонку с другими рыбами?... Да?

Шли людными улицами. Миша обложил банку в сетке газетой, чтобы посторонние люди не смотрели и не оборачивались. Никому нет дела! А может быть, и отымут? Может быть, нельзя живую рыбу назад в озеро бросать?

Показался лес. Каштаны уже развесили зеленые тряпочки, – новые, еще сморщенные листочки. Вдали забелела семейка берез. Обогнули скачки и наискось через свежезеленую полянку пошли к голубой, тихой воде. Миша отковырнул газету и заглянул в банку.

О чем думает теперь карп? Он и не знает, что сейчас отпустят его на свободу, как золотую рыбку в сказке... И потом Миша тоже как-нибудь придет на берег озера, вызовет карпа и попросит у него... не

для глупой привередливой бабы, а для себя, чтобы карп ему подарил аквариум с ракушками... И жемчужное колечко для мамы. Ведь это очень скромное желание...

Пришли. Папа оглянулся. У берега на дощечке было написано ясно, что ходить по траве воспрещается. Но как же иначе пробраться к воде?

Оглянулись еще раз – вокруг никого – и вдоль кустов мирты быстро сбежали к берегу. Папа вытряхнул над водой банку... Вода вылилась, но карп... Несчастный растопырил плавники и хвостом вперед застрял в банке, и ни с места.

Миша побледнел и сжал маму за руку. «Что же это, мамуся, будет? Что же это, боже мой, будет?!»

Но папа не растерялся. Подобрал с земли камень, кокнул по банке, стекло, звеня, распалось, и рыба, дрыгнувши в воздухе хвостом, шлепнулась в воду и исчезла...

Два любопытных лебедя, словно игрушечные парусные корабли, медленно подплывали. Что там такое? Не хлебом ли кормят?

Быстро вернулись на дорожку, точно и не ходили они по запрещенной лужайке. Мама с папой шли впереди. Миша за ними. Шел и представлял себе, как рыбы окружили карпа и расспрашивают его:

– Ты как сюда попал? Небывалый это случай, чтобы купленную рыбу обратно в воду бросали... У кого ты был?

– У Миши и его родителей. Русские они, эмигранты.

– Ну, благодари Бога. Счастливый ты, карп! А здесь живи, брат, спокойно. Из этого озера ловить рыбу строго воспрещается.

Купальщики

1. Мул

В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью гнездо – пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус хомут висят на своих колках... Мул хлопает плоским копытом в асфальт – нервничает.

– Купаться так купаться... Чего зря томить? В спину пыль въелась, а почесать нечем...

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери.

– Ну, ты, леший!

Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и оттопыривает ее ковшиком. «Леший»... Должно быть, это самое ласкательное слово на незнакомом языке.

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с сосновой кисточкой в зубах – любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мелькнет сине-зеленая полоса: верхняя краска – небо, нижняя – море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жидкую краску он сейчас окунет бока.

Человек по дороге разделся – под можжевельник бросил штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошел, томно подбирая копыта, в зеленое лоно по самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьет?.. Разве можно средиземную воду пить, – полынь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны: мул наслаждается, – он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул наконец свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперед мимо морды...

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом, – мул повернул голову, – выплывают с другой стороны... Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: чей это глаз? – вы бы, пожалуй, ответили: «Это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе...»

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, поворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки крепкое тело и покорно идет за человеком на берег.

2. Молодая собака

Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками веселые брызги?

Но за спиной льстивый, осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.

– Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.

Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах

обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду...

...Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает, чем это может для него кончиться.

– Хэпи, Хэпи, Хэпичка!

Он страдает. Извивается, как грешник на раскаленной сковороде, подобострастно вертит хвостом и скулит:

– Пожалуйста... Умоляю вас... Подойдите лучше вы ко мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и еще два раза... Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя соленая вода так противна... только не зовите меня к себе...

Он трет лапой переносицу – убедительней жеста у него нет – и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, легаша с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и нежнее сердца вы не найдете от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик – слева. Они притворяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это наперсток...

Все круче заворачивают к собаке загорелые детские пятки. Удрать? Но разве Хэпи смеет? Он закрывает лапами глаза и дрожит: жарьте меня, режьте меня, ешьте меня – я покоряюсь...

Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэпи от милой, твердой земли. Несут...

Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние собачьи лапы. Хэпи слабо ими подергивает, ведь он не смеет по-настоящему сопротивляться. Все кончено, все погибло. Но благородное сердце стало еще благородней: Хэпи по дороге вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть мальчика в глаз, в ухо, в переносицу – куда попадет.

– Хэпи, перестань! Хэпи, кому я говорю...

Видите – даже целоваться в такую минуту запрещают...

Внизу хлопает страшная, необъятная вода, вверху над мордой качается облако.

Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает бело-зеленый пузырь, и сразу с места в карьер Хэпи поворачивает к берегу. Остервенело гребет лапами... Пены, как от колесного парохода! Выпученные глаза впились в берег, еще шаг, еще полшага...

Под лапами зашипел песок... Хэпи, словно мокрый Петрушка, с визгом вылетает на пляж, брызги – стеклярусом, и мчится, пронзительно скуля, к гигантской сосне.

Под сосной – передышка. Хэпи не желает, чтобы на нем хоть одна капля морской воды осталась: зарывается в песок, прорывает в нем, раскинув по-тюленьи лапы, траншею и долго валяется за можжевельником на любимой падали, старой бараньей шкурке.

А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на детей, нет, – разве он смеет? На море.

– Ты зеленая лужа! Гадость, гадость, гадость!

Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэпи вскакивают, смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться.

Хэпи не выдерживает: поджимает хвост к животу и галопом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая залив отчаянной собачьей жалобой:

– Второй раз купаться?! Мучители, терзатели, купатели!

А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй раз высохшие, снова бросились в светло-зеленую воду и стали друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать.

3. Мальчик с селезнем

Самый маленький житель в русской приморской усадьбе – Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчел лопают – непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выела – надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги выписывали... Старый кролик, когда Боб его вчера кормил кочерыжками, отгрыз у Бобиной курточки пуговку и проплотил... Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли?

Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пересохли, в цистернах вода на доньшке. Утки на птичьем дворе стучат клювами в

сухой, врытый в землю бак и скучают. Перепонки на лапках потрескались... Ведь этак у них чахотка развиться может.

И додумался. Взял старшего селезня и понес под мышкой к морю. А сзади сдобный, ухмыляющийся дедушка в сине-желто-малиновом халате телохранителем поплелся.

Селезень не Хэпи, птица солидная, лапами не дергает. Сидит важно под мышкой и побрякивает: мальчик знакомый, несет – значит, так надо.

У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечевку привязал, другой конец дедушке в руку сунул:

– Ты, дедушка, не давай утке заплывать... А то она увлечется, до самой Корсики поплывет! Знаем мы их...

Боже мой, до чего утка разволновалась... Крылья вверх, на цыпочках подымается, восклицания какие-то утиные издает... Сколько воды, ах, сколько воды! И вошел селезень в воду, поплыл, бечевку натянул, шейку выгибает – лебедем прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает... Совсем одурела с радости птица.

Дедушка, само собой, свое дело исполняет: ходит по берегу, веревочку подергивает, пасет в море утку.

А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селезня поливает, как утром человек мула поливал.

Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехорошая какая-то вода: жесткая, соленая, в горло попала, не отчихаешься никак... Потянул селезень к берегу. Боб его назад загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, дедушка кричит... Добрался все-таки селезень до берега. Присел наземь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно облезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку волочит. Еще, не дай бог, в обморок упадет...

И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий Боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый дедушка. А совсем сзади ползком за кустами любопытный Хэпи:

– Что?! Докупались?

Тихая девочка

Утром Тосю будить не надо: просыпается она вместе с цикадами и петухами – их ведь тоже никто не будит. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока, – в самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке, смешно кланяется клювом, боком топорщит крыло и перебирает цепкими лапками. Шух. И слетает за край окна к веранде. Тося слушает: со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложечка, должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая – подает первой сигналы.

Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это и не солнце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется.

В дверь осторожно скребется соседний бульдожка. Тося его голос знает, – умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя... Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца, что ж ему со стаканами церемониться.

– Уйди! – шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. – Уйди, Мушка... Я еще не проснулась, а мама спит.

Беззвучный шепот через дверь доходит до чуткого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, подымает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Люди спят, можно и не притворяться благоразумным.

А у Тоси новая забота. Сквозь загнутый ветром уголок кисеи в комнату пробралась зловредная муха – овод – и закружилась над маминым лицом. Девочка боится, но нельзя же позволять мухе безобразничать. Тося схватывает со стула свои мотыльковые штанишки и машет на злую тварь, пока та, задетая пуговкой, не слетает на пол. Сама виновата... Там на веранде на клеенке капли

варенья и крошки бисквита, – непременно ей надо кусать маму или мула... Вот и ползай теперь раненая на полу, пока не выметут колючим веником в лес.

Купальный халат в углу, похожий на бедуина из детской книжки, порозовел на солнце. Если посмотреть сквозь пальцы, бедуин превращается в цветущую яблоню. Но только на минуту. Тося по-настоящему не умеет «волшебничать». Только во сне. Но проснешься, и ничего нет, и ничего не помнишь, будто с одной звезды на другую упала.

Почему никто не встает? Примус сонно блестит на столике, – он тоже ждет, чтобы его разбудили, подлили в чашечки спирта, накачали воздух... Зашипит голубенькой коронкой газ, забулькает в чайнике вода, заворчит мама, будет, как всегда, искать мохнатую тряпку, чтобы схватить горячую ручку. Спят. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и, боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Прохлада заструилась сквозь кисейку, коснулась ресниц. Шмель ударился о мамину цитру, и светлый рокот поплыл-поплыл... Смолк или еще звенит? Ни за что не уследишь. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться, – второй утренний сон все равно ведь сильнее.

* * *

Ушки холодные, румяные, крепкие, – мать только что их вымыла студеной водой из колодца. Ветер забавляется – пушит льняные волоски над бровями сквозным одуванчиком. Глаза, прозрачно-синие кукольные стекляшки, серьезные: кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем, быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок и решает Тосе пить...

– О чем ты думаешь, Тося? – спрашивает ее бородатый гость, отрываясь от газеты.

Ни за что на свете Тося на такой вопрос не ответит. Да и гость спросил от нечего делать, перевернул страницу и даже не ждет ответа.

Перед девочкой круглая сдобная булочка, посыпанная сахарными блестками. Совсем как игрушечный детский хлеб, хотя и взрослые

очень его любят. Ест Тося по-своему: кусочек себе, кусочек бульдожке под столом, не ошибется до последней крошки. И хотя несправедливые взрослые учат ее каждое утро: «Ешь сама, что ж ты чужую собаку сдобной булкой кормишь?» – девочка, как от овода, отмахнется ложечкой от скучных слов и продолжает свое.

После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь по ниточке-невидимке, немало забавного. Муравьи подбирают со ступенек сахарные крупинки. У них под пнем подземная лавочка: все уносят туда. Дачники осенью разъедутся, и у муравьев запас на всю зиму. Осы облепили под вереском банку из-под сгущенного сладкого молока. Не только дети, кошки, собаки, ящерицы и всякая мелкая тварь, летающая и ползающая, любят сладкое. Крайняя оса, с перехватцем на талии, как у балерины, сосет свою капельку без конца. Как у нее живот не разболится? Вздрогнет, оторвется, отдохнет и опять за свое.

Ос и пчел девочка не боится. Если их не трогать, не мешать им пить и есть, ходить среди них серьезно и важно, – они не обижают. Бульдожка и тот это понимает: стоит перед ульем, серым домиком, вывалив язык, и с любопытством смотрит вместе с Тосей, как копошится пчелиный народ на своем крылечке у темной щелочки. Но по низким шершавым кустам расстилается грязная паутина, и в ней всегда узким втянутым устьем вход. Там живут огромные светлопузые пауки. Пройдешь близко, наступишь на хворостинку, и из норки выскакивает сердитый противный разбойник: сунься-ка ближе! Тося всегда вежливо, стараясь не шуметь, обходит такие кусты. И шершней она боится: когда взрослые гонят залетевшую злюку из комнаты кто лопатой, кто старыми штанами, девочка зарывается в висящее на стене платье и ждет, пока представление кончится.

Любит она шум. Не тот, что поднимают люди, когда спорят на веранде в восемь голосов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами, или поют рыхлыми голосами непонятные песни, – а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко; потряхивает зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащат. Тростники внизу у ручья посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг: бух-бу-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило

толстую волну... И отходит назад, волочит шлейф по гравию. Тося слушает. У старого каштана свой шум: шелестит, будто сквозь сон бормочет. А нижние лапы молча и плавно покачиваются. До них ветру не пробиться.

Гость злится – ветер унес деловое письмо в лес. Мама злится – ветер «действует ей на нервы»... Нервы – это когда дрожат губы и достается всем... И Тосе, и стакану, который стоит не на месте, и бабочке, влетевшей в комнату. Злится и бабушка: ни один пасьянс не удастся, ветер путает все карты... И только Тося спокойна. Прищуриль глаза и заложив худые ручки за спину, стоит она на камне и смотрит в чашу. Где ветер? Какой он? Пепельные волосы, толстые щеки... Ходит по вершинам деревьев, трещит и дует во все стороны. Чтобы внизу не болтали, чтобы человеческого белья между стволами не развешивали, чтоб в лодках среди залива не кричали, чтоб рыб крючками не мучали...

Наслушается Тося лесного скрипа, шуму и шорохов и, как собачка, начинает кружить среди камней и кустов. Ищет тишины. Есть такие складки на скате холма, в русле высохшего ручья, за старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно, притаится под вереском в ямке из-под вывороченной сосновой пятки и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекачивается гул, а вокруг нее безмолвное гнездо: цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы, лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и плубже усестся в ямку, – вот у тебя и свой лесной домик, и все муравьи застилают вокруг хвоей все тропинки, чтобы никто до тебя не добрался. Такой приказ отдает им маленькая девочка.

Так тихо сидит Тося, что ящерица поползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик: живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный. Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая: встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными шажками на призывный голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Тося выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится, Тося мотает головой и пофыркивает: она уже не

Тося, она козленок... Так легче и приятней допить вторую половину чашки.

* * *

Взрослые купальщики сидят на пляже в темных очках, все они – и мужчины и женщины – стали немножко похожи на Бабу Ягу. Скрестили по-паучьи лапы, пересыпают из горсти в горсть песок. Разговаривают. Но Тосе очков не нужно: чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает загоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иглы. Почему дорожка не сливается с пестрой огненной водой? Или под ней лежат полоской лазурные камушки? Или стайки васильковых рыб проплывают пассивоном, пара за парой, под водой, просвечивая сквозь прозрачную зыбь?

Из-за скал выплывает кораблик. Белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека. На Тосю никто не смотрит, – она подымает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это – привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. «Плывем на Корсику. Будь здорова! На обед баранина с рисом и кисель...»

Как там у них, должно быть, хорошо, на плавучей даче под прохладными парусами... Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее, а корабельный барбос, добродушно посматривая на новую пассажирку, прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков...

– Тося, купаться! Что ж ты сидишь как принцесса...

Разве принцесса станет сидеть одна без свиты, на старом полотенце, обхватив пальцами острые коленки, и думать о каком-то поваренке? Но Тося не возражает. Слова каждый день меняются: то она дичок, то недотрога, то принцесса... Пусть. Она послушно идет в море. Холодная влага лизнула пятки, студеный поясok подымается выше до бедер, до края трусиков... Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом. Становится на коленки и

делает вид, будто плавает... Чудесно! Песочного цвета игольчатые рыбки проплывают под водой, – им никогда не бывает жарко... Налево под скалой, где вода под прохладной тенью зеленой малахитовой бабушкиной брошки, у них дом. Но в светлые солнечные часы не сидеть же им, рыбьим малышам, там, среди подводных стеблей с большими серьезными рыбами...

Солнце пропекло насквозь резиновый колпачок, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая, маленькая сидит Тося в белом волосатом халатике на песке, под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. Надвинула шляпу по самую пуговку-носик и сквозь гнезда плетенья смотрит: в каждой сквозной дырочке крохотная панорама – клочок неба и моря и сбоку сосновая лапа. Будто японская картинка.

В стороне визжат голоногие французские дети. Тося поворачивает голову. Смешные... Вырыли в песке яму, провели в море канал, наливают в яму из ведерка морскую воду, а вода вся удирает в море, домой... Толкают друг дружку, обливают из ведерка и заливаются. Но Тося к ним не идет. Ей и так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет.

А вот и старшие мальчишки придумали игру. Посадили лягавого щенка в плоскодонный ботик и столкнули одного в море... Им, глупым, забава, а щенок весь съежился, подобрал лапы, качается на носу, плюхается на дно, наваливается на борт и жалобно оглядывается на берег. Где земля, милая, твердая собачья земля? Тося остро переживает с ним каждый толчок, и, пожалуй, у нее сердце колотится еще сильнее, чем у щенка. Какой неуклюжий! Почему он не прыгнет в море? Поплыл бы, поплыл, и сейчас же и мель... Зачем это они с ним проделали? И взрослые тоже хохочут. Такие большие, сильные, и никто не догадается заступиться... В маленькой Тосиной жизни ее еще никто не учил, что справедливо, что несправедливо. Но, как трава растет, как солнце светит – детская правда и жалость приходит сама. Если приходит...

Но, слава богу, ветер добрее мальчишек. Повернул лодку, и щенок мешком в воду. Гребет, гребет боком, подальше от мучителей. Стекланные брызги во все стороны – и умчался в лес.

Тося улыбается. Хорошо еще, что они не посадили в лодку кошку или курицу. Она встает из своего халатика, он лепестком оседает на песок, и, смуглая, как фешек, идет в дюны. Вон они рядом, игрушечные, сыпучие холмики с сизыми колючками по краям. Сегодня под знакомой сосной должны распуститься морские лилии, француз-фермер называет их морскими нарциссами. Вчера бутоны были совсем пухлые, бледно-зеленые, с бледными продольными каемками. Раскрылись. И опять, как у моря, маленькая девочка складывает ладошки и разнимает: когда она откроет на свете какое-нибудь новое чудо, она всегда так делает, пока она к нему еще не привыкла...

Лилии, стрелчатые строгие цветы, тише моря, тише неподвижных облаков, – вздымаются и благоухают. В игольчатых лепестках – коронка, в коронке – бледно-желтые молоточки... Тося наклоняется. Если лилии видят, понимают, чувствуют, конечно, они с таким же умилением смотрят на незнакомую маленькую девочку, как она на них.

Тося по глубоким песчаным волнам дюн, мимо ярко изумрудных побегов гигантской сосны, пробирается дальше. Там за бугром в море впадает темным рукавом речушка. В камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо – увидишь, как в черной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно... Там, среди темных корней, шевелится всякая нечисть, со дна всплывают пузырьки, в камышах кто-то шуршит. Жабы или гадюки? Тося морщит лобик. У нее еще нет своих слов, но злое и безобразное ей непонятно – она не знает, зачем оно, почему гадюки всегда злятся, а огромные серые, сухие жабы так ужасны, что как ни стараешься ласково взглянуть на них, – вздрогнешь и отвернешься.

Она поворачивается к берегу. Дети утомонились, лежат кружком на песке и греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал...

– Тося, домой!

Она слушает – ветер принес ее имя, но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли... В самом деле, домой, домой. Ведь пора обедать: суп, ложка, полосатые занавески вокруг веранды.

И снова, проходя мимо молчаливых лилий, кивает им головой, – никто ведь не видит и не будет над ней смеяться. До завтра!

* * *

В стакане из-под горчицы стоит ветка цикория, который кладут в кофе – сморщенные бурые кусочки, – а цветы лазорево-дымчатого цвета, похожие на васильки. Васильки Тося видала только на картинке. После дождя весь луг за холмами, у моря, заголубел цикорием. Тося рассматривает милые, простые цветы и отгоняет сонных мух, которые все примащиваются на ветку спать... Сквозь дремлющие сосны пылает вишневый закат. Крылатое лесное население со всех сторон слетается к веранде: острогрудые гранатовые бабочки, длинноногие жучки и слюдяные блекло-зеленые мотыльки... Зажгут лампу, и все они, глупые несчастные чудаки, закружатся вокруг керосинового маяка, затрещат и погибнут. И без того такая коротенькая у них жизнь. Ну, лети к звезде, лети к луне, – зачем же к лампе?

Взрослые играют в ведьму. У кого на руках останется пиковая дама, тот и «ведьма», даже если он мужчина. Тося уже знает: ведьма – это вроде Бабы Яги, только иногда она бывает красивая и всегда делает разные гадости. У девочки сегодня своя забава. Она пристально разглядывает каждого из сидящих за столом, точно впервые их видит, и представляет себе, какими они были маленькими...

Бородатый гость – инженер, наверное, – все строил на полу из спичек мосты, а когда на них наступали, ревел и колотил линейкой по ножке стола... Няня его все причесывала, а он сейчас пальцы в волосы и ходит, как лохматый куст. И так как у него не было бороды, которую он теперь все прикусывает зубами, он прикусывал кончик своего языка... Бабушка была толстенькой сдобной пышкой, сосала целый день мятные лепешки и все делала своим куклам ленивые замечания. Мама? Говорила-говорила без конца: с котенком, с чайником, сама с собой, с почтальоном и три раза в день меняла бантики. И была такая красивая, что весь Саратов удивлялся. Усиков у нее тогда еще не было. Зачем же девочке усики?... Сосед, старичок, моряк, вырезывал из коры лодочки, никогда не сажал клякс ни в тетрадку, ни на штанишки и был

чистенький и аккуратненький, как смазанное маслом пасхальное яичко... Всем тетям целовал ручку, а иногда по рассеянности и плечико.

– Тося, поди узнай у художника, который час, – говорит бабушка, озабоченно сдвигая пухлые бровки. Должно быть, вытащила у соседа «ведьму»...

Тося идет на дачу через дорогу. На крылечке сидит чубастый художник и сосет, чтобы отучиться курить, искусственную папироску.

– Добрый вечер. Бабушка просила у вас узнать, который час.

Художник тычет пальцем в один карман, в другой, в третий. Посмотрел даже себе за пазуху. Выудил наконец из кармашка на поясе толстые часы, чиркнул спичкой и сказал:

– Остановились. Теперь, должно быть, около девяти.

– «Около». Это больше девяти или меньше? – вежливо допытывается Тося.

– Меньше, – художник ухмыляется и сипло посасывает свой мундштук.

– Еще не отучились? – участливо, словно тяжелобольного, спрашивает девочка художника.

Он только рукой махнул. Тося опять на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахару, ни бисквита, – просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды.

В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Всех карт четыре: звездное небо весной, летом, осенью и зимой. По черному фону все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес. На юге, похожий на лангусту, Скорпион. На севере, немножко справа, толстая Большая Медведица. На востоке – летящий Лебедь. На западе лысый старик Арктур погоняет двух собак. Но без карты, в настоящем небе, ни одного созвездия, кроме Большой Медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются, – прищуришь глаза – за большими мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла... Веранда улетела в небо. Тося на ней одна – ни гостей, ни бабушки, ни мамы... Чуть-чуть долетают до земли далекие голоса. Только теплый бульдожка под ногами. Темно-синяя пустыня вся в

мохнатых светляках: плывут, словно снежные хлопья, задевают по лицу, но не жгутся – они холодные, как льдинки. Скользят между пальцами, ни одного не поймать... И вдруг с земли знакомый мамин голос:

– Тосик, спать...

Девочка очнулась. Прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне, – хорошо бы Снежную королеву, она умная и многое бы Тосе объяснила...

Девочка старательно полощет зубки и прислушивается: сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это «к счастью». А «счастье» – это когда нет болезней, счастье – это когда разыщут папу, счастье – это когда в срок платят за квартиру...

Никто не знает, никто об этом не думает, что на всем южном лукоморье, где стоит дачка с русскими жильцами, маленькая, тихо спящая девочка Тося – самое совершенное божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупенький собачий увалень, смутно догадывается: бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую скамейку и вздыхает.

Патентованная краска

В тихом отеле на окраине Парижа сидел в своем номере русский мальчуган Дима и скучал. Настоящее его имя было Вадим, но у шестилетнего человека все ведь маленькое: и башмачки, и курточка, и самое имя. В номере отеля не очень-то развлечешься. Дима открывал и закрывал краны с горячей и холодной водой, выдвигал и задвигал ящики комода – понюхал завалявшийся в комоде колбасный хвостик... Неинтересно. Нажал кнопку звонка у дверей. Раз приделана, значит, надо нажать. Но пришла горничная и сказала, что если он еще раз позвонит, то придет пожарный солдат и откусит Диме нос. Странные пожарные в Париже! Подставил он стул к центральному отоплению, сел на него и сразу соскочил. Почему? А вот вы сядьте, так узнаете.

Тетя Маша все не возвращалась. Ушла после обеда по каким-то своим делам в город. Почему у взрослых всегда «дела»? Да еще дела такие несуразные. Прилетела из Марселя с Димой, чтобы закупить в Париже партию дамских нарядов прошлого сезона. В Марселе в бедных кварталах мода всегда отстает на полгода, и для тети Маши то было почему-то выгодно. Хорошо все-таки быть мужчиной: носи себе свою курточку и пиджачок до бесконечности и никакая мода тебя не касается...

Вот и сиди и дожидайся, как скучающий пудель какой-нибудь, которого из Марселя только потому и привезли, что не на кого было там оставить.

И вдруг за окном... О, это очень интересно! Стали в кружок люди, на цыпочки поднимаются, друг другу через плечо куда-то заглядывают, а из середины звонкий голос, веселый такой, что-то рассказывает. Натянул Дима свой берет на голову, – швы так и затрещали, – слетел с лестницы леопардовыми прыжками – и на улицу.

Когда мальчик ростом с табурет, танцевать за спиной взрослых на цыпочках не очень-то весело. Дима нырнул под локоть какой-то полной дамы, наступил ей на туфлю, не успел даже сказать «пардон» и сразу очутился в первом ряду.

Плотный румяный француз, склонясь над походным столиком, грел на керосинке воду и купал в маленьких жестянках какие-то тряпочки. И все говорил, говорил, говорил, точно его завели на целые сутки, – губами, руками, ногами... Даже чуб помогал, прыгал в такт словам и поддакивал: да, да, да!

«Мои краски ничуть не похожи на те бесполезные дрянные порошки, которые вы можете купить в любой лавочке! Выбрасывать франки в Сену никому не воспрещается: Сена не станет от этого богаче, но вы обеднеете! Мои краски красят все: шелк, сукно, гипс, дерево, бумагу, волосы, слоновую кость, меха и даже гусиные перья. Кипятить не надо. Вы высыпаете в теплую воду краску – раз! – и окунаете туда вашу вещь, – два! – через пять минут вы облегченно вздыхаете. Ваша вещь раз навсегда становится красной, как петушинный гребень, зеленой, как морская волна, лиловой, как фиалка, черной, как внутренности негра... Что кому нравится... Если вы хотите сделать любимому существу сюрприз, вы покупаете пакетик – один стоит франк, два – франк шестьдесят пять, – и красите гипсового поросенка, или шелковый платочек, или брезентовые туфли в любой цвет, как я это делаю на ваших глазах, господа! Вы хотите купить? Нет? Ничего, через две минуты вы купите! Вы хотите купить? Благодарю вас. Два пакета?.. Один. Еще кто? Торопитесь! Завтра я уезжаю в Мадрид, и это последний случай в вашей жизни, когда вы можете запастись такими изумительными красками...»

Дима стоял у самого ящика, нос его почти касался дымящейся кастрюльки. Разноцветные бульоны так вкусно и едко пахли... И вдруг одна его рука вытащила из кармана франк, а другая дернула болтающего человека за пальто (иногда ведь руки действуют раньше головы). А язык сказал робко и почтительно: «Дайте мне пакетик!..»

«Какого, друг мой, цвета?» – «Лилового...» – «Мерси, до свиданья! Видите, господа, даже дети не могут устоять!»

И только на лестнице своего отеля Дима понял, зачем ему эта краска. «Он же сказал, что можно сделать любимому существу

сюрприз... Тетя Маша мое любимое существо, я ей и сделаю сюрприз!»

* * *

Дима скользнул в свой номер с пакетиком в руке, – вот и развлечение нашлось. А за ним пушистый толстяк, белый отельный кот. Утром он от Димы ломтик ветчины получил, – коты такие услуги ценят и помнят... Запер мальчик поплотнее дверь, рукава засучил – и за работу. На столе лежала тетина вязаная салфеточка, старенькая и вся в рыжих пятнах, – как же ее не покрасить? Тете Маше такой сюрприз и во сне не приснится!

Напустил Дима горячей воды в умывальник, литра два. Всыпал в воду тонкой струйкой порошок, и вода стала лиловая-лиловая, лиловой сирени, прозрачней аметиста. И стал купать салфеточку аккуратно и осторожно, чтоб брызги, не дай бог, паркета не закапали: ведь отель!

Выкупал, отжал, лиловую воду в трубу сплавил, а чтоб не слышно было, как вода бурчит, стал громко кашлять. Умывальник начисто вымыл. Не салфетка, а фиалковый коврик!.. Разостлал на полу толстую оберточную бумагу, сверху газету, сверху опять бумагу – и разложил, расправил салфеточку, – пусть сохнет. А белый кот кругом ходит, о комод трется, о стул трется, о Димины ноги, и все ближе к салфетке на пружинных лапках подбирается: любопытно, никогда в отеле он таких штук не видал. Носом кислый воздух потянул, и вдруг, не успел мальчик ахнуть, прыгнул кот на салфетку, перевернулся на спину и давай валяться и урчать. У котов всякие ведь фантазии бывают...

Дима смеется: пусть, пусть поваляется, салфетка скорее просохнет. Но когда кот встал, мальчик чуть со стула не свалился: лиловый кот! Вся спина как темно-сиреневый куст... Да ведь теперь весь отель сбежится, что будет?! Ведь тетя же просила, чтобы он, не дай бог, чего не натворил. Разве ж это он натворил? Это кот натворил. Что делать, что теперь делать?!

А в дверь стучат. Это всегда так бывает: чуть несчастье, сейчас тебя тут и накроют... «Сейчас, господи...» Дима кота под мышку и скорей его в ночной шкафчик, кот лапы растопырил, еле удалось втиснуть. Вошла горничная (Дима лиловые руки за спину, салфетку

успел под кровать ногой задвинуть) и спрашивает мальчика: «Наш кот не у вас?» – «Нет... он на улицу гулять пошел. Сегодня такая хорошая погода!» Посмотрела она во все углы – и вышла.

Благородный кот, представьте себе, даже не мяукнул.

Вытащил его Дима, стал газетой вытирать. Куда там! Еще ярче стал, краска и на живот пошла, и вдоль лап, и по ушам: прямо лиловая зебра. Продавец же ручался, что краска прочная, до самой смерти не сойдет. А кот к нему на колени нацеливается прыгнуть...

Заметался Дима, но крепко помнит, что дела так нельзя оставить. Завернул кота в бумагу, нос в коридор высунул – никого. Побежал в конец коридора, кота на пол опустил и скорей к себе. У дверей оглянулся – все в порядке: крашеный кот в чью-то полуоткрытую дверь шмыгнул – жилец, очевидно, на минутку вышел.

Главное сделано. Салфетку с бумагой с черного хода вынес и проезжему молочнику подбросил – пусть себе кашне сделает.

Вернулся в номер, руки тер-тер и мылом, и тетиным одеколоном, и о каминные кирпичи. Наполовину отмыл. Что ж он врал, что краска не отходит?

Сел у стола и стал тихо-претихо сам с собой в домино играть.

Играет и одним ухом прислушивается: когда же в коридоре сражение начнется? И началось! Хозяйка закричала басом, жилец дискантом, потом горничная, потом хозяйская дочка, потом все жильцы посыпались сверху и снизу.

Нельзя было Диме оставаться в стороне. Выскочил и видит: все у жильца в комнате столпились, на белом одеяле фиалки расцвели – все в пятнах. Любимый кот в старое полотенце завернут, мяучит, ничего не понимает: он ведь один не знал, что он лиловый.

– Кто так посмел над ним надругаться? Вы мне, сударь, и за кота и за одеяло ответите!..

– Я?! – завизжал жилец. – Я?! Он ко мне вошел крашеный, я вам, мадам, не кошачий красильщик... Я у вас третий год живу, ноги моей здесь не будет после ваших слов!..

Другие жильцы заступились, стали на хозяйку кричать, и хозяйка заплакала. Отельные хозяйки плачут редко, но случай был такой особенный.

И все стали свои предположения высказывать: выкрасили ли кота в насмешку или он сам по легкомыслию выкрасился.

А Дима вперед просунулся и вежливо говорит: «Вы, мадам, извините. Я – маленький, но кое-что понимаю. Внизу из аптеки в бак на черной лестнице всякую дрянь выбрасывают, может быть, ваш кот там и перемазался...»

– Ах, какой умный мальчик! Конечно, конечно. Ведь это же анилиновая краска... – и побежала хозяйка аптекарю сцену делать.

Разве Дима соврал? Во-первых, кот сам выкрасился, а во-вторых, мог же он и в баке выкраситься... второй раз.

Убежал опять к себе. Представление было окончено, – и сел в домино доигрывать.

* * *

Тетя Маша вернулась поздно. Все в порядке. Носом только потянула: «Почему это в комнате воздух такой кислый?» – «Это ты утром лимон резала», – сказал Дима. Выпил свою порцию молока и раньше обыкновенного в постель. «Ты что же, Дима, нездоров?» – «Нет, тетечка, просто спать хочется». – «Ну, спи: бог с тобой!»

Ходит тетя по комнате и все думает, привезла она с собой салфеточку или ей только показалось, что она утром на столе лежала? Не стоит, впрочем, о таких пустяках и думать.

А Дима лежит в постели и соображает: тетя не раз смеялась, что он во сне разговаривает. Вдруг он ночью все и разболтает?

И тихонько-тихонько вытянул из курточки носовой платок и завязал себе рот. Ночью и через нос дышать можно.

Дневник Фокса Микки

О зине, о еде, о корове И Т. П.

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю – нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает, – уж я бы подсмотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения... А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.

Гав! Я умею думать – и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею: детские книжки с самыми крупными буквами.

Писать... Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются!) – писать я тоже научился.

Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, – и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.

* * *

Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках: когда человек делает прыжок к новой мысли, – он ставит три звездочки...

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются, а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью: прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора...

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока, – и все.

Разве я пристаю, разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое – клейстер, который называется киселем, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и все.

Но они... Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?

Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?

Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол, – я имел полное право его съесть!)... Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет...

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок, – они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, – мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..

Или еще лучше: ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной... Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил поток молока из кошкиного блюда, подумаешь)...

А сами... После супа, после жаркого, после компота, после сыра – они еще пьют разноцветные штуки: красную – вино, желтую – пиво, черную – кофе... Зачем? Я зеваю под столом до слез, привык около людей околачиваться, а они все сидят, сидят, сидят... Гав! И все говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.

* * *

Три звездочки.

Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын – теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль?

И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы... Это все из-за этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина – тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.

Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее, – кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи – очень это меня интересует.

Фокс Микки,

первая собака, умеющая писать.

Стихи, котята и блохи

Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти взрослые, вроде старых собак. А Зина читает вслух, нараспев и все время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает: точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки – ухо у меня тонкое – похожие друг на друга кусочки звучат: «дети – отца, сети – мертвеца»... Вот это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал – и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий
Гонит листья все быстрее.
Я веселый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»... Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у нее живет в доме... Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?

И вот, лежа, пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..

Дикий ветер веранде по
Быстрее все листья гонит...
Микки фоксик веселый я,

Зверей из умный самый...

Ай-яй-яй! Что же это такое?

Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг – и нету, как комар в елке. А я должен играть с ее детьми... Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули... Другой сосет мое ухо. Мамка я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише... Зина хохочет и захлебывается: ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь! Надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать... Но зачем же эта девчонка смеется?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась, наконец, к своим детям. И, знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму, я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.

Ушел в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой...

Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!

* * *

Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостинной корову. Она ведь тоже мычит и ревет, да и доить ее удобнее дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди...

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил... Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, все, что можно ловить!..

Но девочка... всегда останется девочкой. Села на пол и зевает:
«Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»

Да? У нее есть кукла и книжки, и подруги, папа ее курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама ее все время одевается и раздевается... А у меня только мой шар, – и меня еще попрекают!

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет: целый день грызут меня, точно я сахарный... Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь – никому не известно.

Фокс Микки,

собака-поэт,

умнее которой в мире нет...

Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли

Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок: вопросительный знак.

Меня мучает пять вопросов.

Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил вверх глаза. Чушь! Лоб вверх, и глаза на своем месте.

Живут ли на луне фоксы, что они едят и воют ли на землю, как я иногда на луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруде. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще гнусная кошка все кишочки по саду растаскала...

Почему Зинина бонна все была брюнеткой, а сегодня у нее волосы, как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака... Женили бы тебя на такой попугайке, – во вторник она черная, в среду – оранжевая, а в четверг – голубая с зелеными полосками... Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, – и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.

Пойду догрызу косточку (я спрятал ее... где?.. а вот не скажу!). Потом опять напишу.

Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие, подходящие для них штуки.

Я вошел в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцики!» – «Тяв, тяв, тяв, господин директор!» – «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: «Пожаловаться не могу. Стараются». – «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол... Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста, ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый... Я завизжал, как паровоз, – и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврик у кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами... Но что же делать?

Окно побелело, а я все лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга – «Сонник». Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится?..

Но что мне «Сонник»? Собачьих снов в нем все равно нету... А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

* * *

Мысли:

Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу, – его тычут в нее носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его

целуют в пятку... Тыкать, так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову, и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!

Зина пахнет миндальным молоком, мама ее – теплой булкой, папа – старым портфелем, а кухарка... многоточие...

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахара?

Фокс Микки,

которому по-настоящему следовало

бы быть профессором.

Осенний кавардак

Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день хлюпать? Желтые листья все падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы, – большая собака заберется в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю ее за хвост, она бьет меня лапой по голове и хватает зубами поперек живота. Деревенщина!

Туманы – туманы – туманы. Грязь – грязь – грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет как вымытая Зинина голубая юбка, и на черных палках покажутся зеленые комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут... Ох, хорошо! Это называется – весна.

Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки – никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь – бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зеленая травка выросла? И цветочки?

Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике хвоста бутон распускался?..

Все бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?

А в доме – кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то нафта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристаёт. Прямо несчастье!

* * *

Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец ее лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит.

Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе – не разыщут.

Ну, что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц – миллион, а миллион – это больше, чем десять. Куда ни посмотришь: ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят – и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком карусельном городе!..

Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросеночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?! Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую – они сами разводятся...

И какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закушенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки – волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами... Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И, знаете, – это, впрочем, Зина сказала, – они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи: только бантики у нас разные, – у нее зеленый, а у меня желтый.

Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори, – руки иногда вещь полезная.

* * *

Грузовик забрал вещи. В столовой – бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, квартира... «Собачья жизнь!» – говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.

Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду! Очень я ее люблю: я ее сегодня лизнул в глаз, а она меня в нос. Чудесная девочка!

Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не кормить, – я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котята выросли, быстро это у них делается... Совсем меня забыли и носятся по парку как

оглашенные (что это такое – «оглашенные»?). Придется и с ними подружиться...

Но самое обидное: кончается мой последний карандашный огрызок. А с письменного стола все убрали. Ах, зачем я не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник... Я уж Зину так умолял, так умолял, – за платье дергал, перед письменным столом служил, но она не понимает и все мне шоколадки в рот сует. Вот горе! Без рук тяжело, а без языка – из лап вон плохо!..

Моя золотая-серебряная-бриллиантовая тетрадка. Суну тебя под шкаф, лежи там до будущей весны...

Ай-ай! Гав! Зина заметила, что я пишу... Идет ко мне! Отнима...

Я один

В доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (почему собачий?). Вообще ветер дурак: дует в голом парке, а там и сорвать нечего. На дворе еще кое-как с ним справляюсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставляю – и «наплевать», как говорит садовник.

А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Врывается из-под двери, сквозь оконные щелочки, сквозь каминную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно его мама была собакой. Ни морды, ни плоти, ни живота, ни зада у него нет. Чем он дует – понять не могу...

Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и стараюсь не слушать.

Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!), если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь, какую я видал только под носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хлопают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, дразнится: «Кра, почему тебя не взяли в город?»

Потому, что сам не захотел! А теперь жалко, но держусь молодцом. Вчера только поплакал у камина, очень уж гадко в темноте и сырости. Свечку нашел, а зажечь не умею. У-у-у!

К садовнику не хожу. Он сердится: почему у меня лапы всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?

Ах, ах... Одна только радость, – разыскал в шкафу позабытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной приходно-расходную книжку и вот опять веду свой дневник.

Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал для собак!

* * *

Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие маленькие и всегда

хотят есть?

Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошлогодний орех. Я ведь тоже люблю катать все круглое. Очень хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно! Ты ведь большой, как слон: напугаешь малыша, и он больше не придет. Разве я не умница?

Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как я его люблю!

Вот только как их отличать одного от другого?..

Если кошка посмеет их тронуть, я ее загоню на самую высокую елку и целый день сторожить буду... Гав! Дрянь! Ненавижу!..

Почему елки всю зиму зеленые? Думаю, потому, что у них иголки. Ветру листья оборвать не штука, а иголки – попробуй! Они тоненькие – ветер сквозь них и проходит, как сквозь решето...

* * *

До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тетя была бы очень довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь все похудеть хочет. А сама целый день все лопает и затягивается.

Проклятый садовник и консьерж сговорились: съедают всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную овсянку. Дворовому псу дают большие кости и суп с черствым хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую кость, когда она тверже утюга? А суп... Таким супом в бистро тарелки моют!

Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь дает корова, а не они. Уж я бы ее сам подоил: мы с ней дружны, и она мне всегда в глаза дышит, когда я прибегаю в сарай. Но как я ее буду доить моими несчастными лапами?..

Придумал штуку. Стыдно очень, но что же делать, – есть надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местечко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под граммофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий танец.

Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и головой киваю.

Все пары и танцевать бросят... В кружок соберутся и хохочут так, что граммофона не слышно.

И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой добираюсь. Да еще телячью косточку в зубах принесу на завтрак...

Вот до чего ради голода унижаться приходится!

Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с ней танцевали вдвоем и всегда были сыты.

* * *

Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.

Петух ни с того ни с сего клюнул меня в нос. Я только подошел поздороваться... Зачем же драться, нахал горластый?! Плакал, плакал, сунул нос в корытце с дождевой водой и до вечера не мог успокоиться...

Зина меня забыла!

В мою чашку с овсянкой забрался черный таракан, задохся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сюда; кошки – гадость, но все-таки звери. Но кому нужны черные тараканы?!

На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гудел на повороте?! Почему обрызгал меня грязью?! Кто меня отмое? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю...

Зина меня забыла!

Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йодом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет – я знаю...

Мыши проели в моем дневнике дырку. Никогда больше не буду любить мышей!

Зина меня забыла...

Сегодня нашел в бильярдной кусочек старого шоколада и съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.

Одинокий, несчастный,

холодный и голодный

фокс Микки.

Переезд в Париж

Вы любите чердаки? Я – очень. Люди складывают на чердаках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют скучные столы и дурацкие комоды.

«Когда сердце мое разрывается от тоски», – как говорит Зинина тетя, – я прибегаю из голого парка, вытираю о диван лапы и бегу на чердак.

Над стеклом в потолке пролетают воробьи: они вроде мышей, только с крылышками. «Чик-чивик!» – «Доброе утро, силь ву пле!»

Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У нее чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я ее перевернул, чтобы все было прилично... Поговорил с ней о Зине.

Да, конечно, сердце девочки – одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у нее появится дочка, и все начнется сначала... новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи! Как здесь пыльно!

Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку – у нее, бедной, в животе дыра... разорвал в клочки собачью плетку...

«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»

Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван поставил бы попугайскую клетку: это моя спальная. На китайском бильярде устроил бы себе письменный стол. Он покатый – очень удобно писать!

Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично» и приятно. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко...

А намордник свой заброшу в дымовую трубу!! Апчхи!.. Чихнул – значит, так и будет.

Ай! На шоссе экипаж... Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина приеха...

* * *

Третью неделю живу в Париже, 16, рю д'Ассомпсион, телефон Отей 12–37. Третий этаж направо. Кордон, силь ву пле!

Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке, как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом, сбоку зеленый галстук. На ошейнике серебряная визитная карточка с адресом... Если бы я умел говорить, украл бы франк и купил себе манжетки.

Зина в школе... На соседнем балконе сидит преотвратительная собачонка. В ушах пакля, в глазах пакля, на губах пакля. Вообще какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка, собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как ее зовут? Джио-ко-нда... Морда ты, морда тухлая!

Когда никого нет на балконе, я ее дразню. Ух, как приятно! Становлюсь к ней задом и начинаю дергать задней ногой: пять минут дергаю.

Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомобилем...

– Яй-йя-йя-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..

Катышком прибегает ее хозяйка, такая же коротенькая, лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает, и, боже мой, чего она не наговорит:

– Деточка моя, пупупусечка! Кто тебя оби-би-би-дел? Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, дорогой хвостичек!..

А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью. Это я так смеюсь.

Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем девочке так много учиться? Все равно вырастет, острижет волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю.

Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привез яблоки и яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие – для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, носят пенсне, а ничего у себя под носом не видят...

Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в карман пальто рыбьих кишок... Пусть знает!

* * *

Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские бегали по

полотну?! И почему все серые, черные и белые? Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушенных бабочек, но, во-первых, они не двигались, а во-вторых, они были разноцветные...

Вот, Микки, ты и дурак, а еще думал, что ты все понимаешь!

Представление было очень глупое: он влюбился в нее и поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной комнате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в каюту. А потом все помирились...

Нет, собачья любовь умнее и выше!

Неприменно надо изобрести синема для собак. Это же бессовестно – все для людей: и газеты, и скачки, и карты. И ничего для собак.

Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки, будем культурно наслаждаться.

«Чужая кость»... «Похороны одинокого мопса»... «Пудель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола)... «Сны старого дога»... «Сенбернар спасает замерзшую девочку» (для пожилых болонок)... «Полицейская собака Фукс посрамляет Пинкертон» (для детей и для собак).

Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии и ни в ком не нуждался.....

Новый стишок:

На каштанах надулись почки, —
Значит, скоро весна.
У Зининой мамы болят почки, —
Поэтому она грустна...

Главный собачий фильmdirектор

фокс Микки.

На пляже

Ах, как переменилась моя жизнь! Зина влетела в комнату, хлопс – сделала колесом реверанс, ручки – птичками, глазки вниз и ляпнула:

– Микки! Мой обожаемый принц... мы едем к морю.

Я сейчас же полетел вниз, к консержкиной болонке. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.

– Кики, муфточка... меня везут к морю. Что это такое?

– О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо, она могла затыкать уши ватой... Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать...

– Чудесно!

– А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.

– Это что за штука?

– Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиловенькие цветочки, и пахнет скипидарчиком.

– Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?

– Утащи у какой-нибудь девчонки тепленький шарфик. Мой уже износился.

– Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца.

– Мерси. Прощай, Миккочка...

Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена.

* * *

«В десять раз больше люксембургского фонтана»... У этих болонок нет никакого плазомера. В двадцать раз больше! До самого неба вода, и больше ничего. И соленая, как селедка... Почему

соленая? Дождик ведь пресный и ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А?

Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще – глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделяем в воде! Я лаю на прибой, а она бросает в меня мячик... Но он большой и скользкий, а рот у меня маленький. И никак его, черта, не прокусишь! Гав!

Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми!» Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..

Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..

Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался...

* * *

Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь: а вдруг утонет... Что я тогда должен делать?

Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед – и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду... Пена... Никого нет... И выплывет совсем в другом месте.

Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко! И так глупо! Задрожал и тихонько спустился вниз. Вот тебе и Микки...

Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует

большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине.

Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще я ничего не понимаю.

Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется: группа... Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть... А та передвинула назад. А первая – опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!

Стишок:

Когда дамы снимаются
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!..

Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Курорт ему надоедает или что, я не знаю. И на песке всякие ракушки, и креветки, и слизняки... Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется «прилив – отлив».

Здесьнее море люди почему-то называют океаном.

Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбознательная девочка!

Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как итальянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет меня «Микитой» и все ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю.

Песок вымести можно! Экая важность...

* * *

Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина все просит, чтобы я

так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть собачий кинематограф... Собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для подагрических бульдогов... Умираю от злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?

Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четверть кошки... Неужели они все пошли на котлетки? Бр-р! Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо, баранина... А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!

Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная... Совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-чуть подвыл. Только две-три нотки... А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны.

— Ты, — говорит, — не имеешь права после десяти часов выть!..

Но, во-первых, у меня нет часов, и даже кармана для них нет... А во-вторых... настроение от часов не зависит.

Хотел послать Кики открытку с приветом... Но консьержка ревнивая — не передаст.

Чудный и замечательный фокс Микки.

В зоологическом саду

У Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено: за все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник... и даже, говорят, скоро на фоксов двойной налог будет.

А чтоб платить – нужны деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками – это «су». Круглые без дырочек – это франки. И потом разные – бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то «падают», «поднимаются» – совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается.

Так вот, чтоб иметь деньги, надо делать «дела». Поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину, а Зина – меня.

И пока ее папа «бегал» по делам (он почему-то по делам всегда бегают, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепочку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала в зоологический сад.

Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минутку: у меня на спине сидит блоха... поймаю и расскажу все по порядку.

* * *

Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь! А ты, Микки, не хочешь умыться... Стыдно!»

И все неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят...

Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колючками и, кажется, уксусом. Я бы ему граммофонных иголок дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку, фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я бы тебе показал...

Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-де-шоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы ее на лед посадили или на мороженое, ведь ей жарко!

Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Будет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки крошил: боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи все и склевали. Ну за что – за что ее держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый Мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вместо сына...

* * *

Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды, и я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвернулся вбок: ужасно скверно они пахнут... Кислой резинкой, тухлой килькой и еще каким-то маринованным пороссячим навозом.

Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, какой собачий урод...»

Я?! Гав, идиотка! Я... урод?! А ты-то что же?..

Побегу в Зинин шкафчик, понюхаю валерьяновую пробку. Как у меня колотится сердце!..

Тигр – противный. Большая кошка, и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдет в Булонский лес отдыхать.

Лев – славненький... Один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает, Зина читала как-то, что лев очень любит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть... седьмой – и гулять на свободе.

Есть еще какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на руках нельзя... Вообще на свете много лишнего.

Дикобраз, например. Ну, куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру... На животе у нее портмоне, а в портмоне

кенгуренок. А шкура у нее, кажется, застегивается на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!

Слава богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя бы некоторых следовало: бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напротив живет бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить. Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь...

Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не мешало бы посадить! С кухаркой вместе. Написать: «Собачьи враги». И давать им в день по кочану капусты и по две морковки – больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Почему сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую несчастную косточку ногой шпыняли?

Видел змей. Одна, большая и длинная, как пожарная кишка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не проглотишь!» Скотина... Так тебе и позволили живых фоксов плотать!

У слона два хвоста – спереди и сзади, и рога во рту... И пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я говорю: хвост и рога! Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп, пес его знает!

Да... Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят, молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страусовую лапку погрызть? Что ж, я любопытный...

Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы...

Пойду еще понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит... как мотоциклет...

Тошнит! Ик... Где кухаркина умывальная чашка?!

Мокс Фикки.

Как я заблудился

Карандаш дрожит в моих зубах... Ах, что случилось! В кинематографе это называется «трагедия», а по-моему, еще хуже.

Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей – душечки! – и радостно лаял. К черту зоологический сад, да здравствует собачья свобода!

И вот... допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород – растерзал старую туфлю, оттуда в поле, оттуда на шоссе – и все погибло! Я заблудился... Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»...

Обнюхал шоссе: чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло... Где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые, дети у калиток, словно мыши, сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю: другое море! И небо не то, и берег пустой и шершавый... Старички и дети обдирали со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну, конечно, идиотские устрицы интереснее бездомного фокса!

Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ему, дураку, хорошо, – прирос к месту, не заблудится... Слезы горохом покатались по морде. И ужаснее всего: я голый! Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня домой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утонул... Примечание: и был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался.

* * *

Перед желтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась.

Что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела передо мной на дорожке.

– Что с тобой, собачка?

Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.

– Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут... Мама у меня добрая, а с папой справимся.

Что делать? Ночевать в лесу... Разве я дикий верблюд? В животе пусто. Я пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой...

– Мама! – запищала она. – Мамочка! Я привела Фифи, она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?

О! Почему «Фифи»?! Я Микки, Микки! Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке... Пусть. Кто сам себе яму копает, тот в нее и попадает...

Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я заблудился!) и улыбнулась:

– Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид... А там посмотрим.

«У нее»... «У него», а не у нее! Я же ведь мальчик. Но ужасно хотелось есть, надо было покориться.

Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пес.

Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос, не знаю...

– Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная... Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!

Я? Чахоточная?

Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. Съел?

А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперед, тур вокруг комнаты и назад...

– Мамочка, какой он умница!
Еще бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профессором был.

* * *

Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его – тоже... Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила меня с ложечки гогель-могелем и говорила: «Ты мое сокровище... если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду замуж».

Лили проснулась – в окне белел рассвет – и свесила голову с кровати.

– Фифи! Ты чего?

Ничего. Страдаю. Кошке все равно: сегодня Зина, завтра Лили. А я честная, привязчивая собака...

Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик – кузен. У собак, слава богу, кузенов нет... Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль, а я уперся! Собаку? В автомобиль?! Тыкал моими лапами в пианино. Я все снес и из вежливости даже не укусил его...

Лилина мама меня оценила и, когда девочка опрокинула тарелку с супом, показала на меня:

– Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест...

Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят: «фи!» Фифи, значит, когда совсем не нравится? Придумают же такое цыплячье имя... Я нашел под шкапом кубики с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку – читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:

– Мама! Фифи умеет показывать фокусы!

– Хорошо. Дай ему шоколаду.

Ах, когда же, когда же меня найдут? Побегал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала:

– Р-рав! Ты куда, бродяга, суешься?

Я?! Бродяга?! Мужик ты несчастный!..

Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу...

* * *

«Гора с плеч свалилась»... Куда она свалилась, не знаю, но словом... я нашелся!

Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали лиловое с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!

Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!

Лили тихонько подошла и спросила:

– Это ваша Фифи?

– Да! Только это не Фифи, а Микки...

– Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам ее передать. Она заблудилась, и я ее приютила.

А у самой в глазах «трагедия».

Но Зина ее утешила. Поблагодарила «очень-очень-очень» и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж я это по глазам заметил.

Я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки накрест сложил: мерси! Очень-очень-очень...

И пошел, сконфуженный, за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.

Микки.

В цирке

У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелеными ставенками, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решетками, и пахло от них густо-прегусто зоологическим садом.

На афишах чудеса... Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горячей лампой и бильярдными шарами. Морж – такой неповоротливый дурак... кто бы подумал! Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание... Важность какая... Я и делить и умножать умею... Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу – матросский танец. Негр Буль-Пуль... Стоп! Не надо забегать вперед, Микки, а то совсем запутаешься – что это за собачья привычка такая!

* * *

Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа – это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим коленкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный.

Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по барабану, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый бубен, а четвертая, лиловая курица, разъезжает взад и вперед по пианино и подпрыгивает... О! «Слуга покорный», как говорит Зинин холостяк-дядя, когда ему предлагают жениться.

Клоуны – просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, наверно, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечины,

кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковры? Совсем не смешно. Одно мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался... Еще ухо, я понимаю, но чуб! Очень интересный номер!

Жеребец толстяк, а что он неоседлан, совсем неважно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво. Словно вальсирующая корова... А мисс Каравелла все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький: вверху ничего, а посередине зеленый и желтый бисер. А зачем она так долго ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался... Неинтересно.

Потом поставили крупную решетку, подкатили к дверям клетку, и вышли львы. Вышли... и зевают. Хорошие дикие звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я сидел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать: уж она их упрашивала, и под шейкой щекотала, и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились – и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней... Обман! Я сам видел – у нее в руке был маленький кусочек мяса... Неинтересно!

Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), мама на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом наперед... Вот это здорово!

Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец все семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах... котенок, а у котенка на плечах... воробей! Трах! И все рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску... Bravo! Бис! Гав-гав-гав!

В антракте было еще веселей. Антракт – это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающих, а самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк.

Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках гарцевала по барьеру: голова набок, а сама все правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами, и, пожалуй, свирепее настоящих – рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались – один другого шлепнул – шлепают же клоунов, – а тот ему сдачи... И оба заревели, совсем уж не по-клоунски... А я носился по всей арене и хватал их всех (шутя, конечно!) за коленки.

Вышел карлик в сиреновом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с арены – представление продолжается! Один из «львов», совсем еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлепнула и унесла на место. Вот тебе и лев!

* * *

Морж – молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горячей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос... Ну, что ж, возьму маленькую лампочку...

Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!

Да, что я еще заметил! Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление... А карлик бежит кругом и хлопает их прутом по пяткам.

Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле «марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на собственном животе, а ногами выделял такие штуки, точно у него было четыре пары лап... И пахло от него корицей и жженой пробкой. Фи!

Потом вышел «факир». Факир – это человек, который сам себя режет, а ему даже приятно, и кровь не идет. Он себя, должно быть,

замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь... Я даже отвернулся. Нервы не выдержали... А самое ужасное: он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, – и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу подирается!

Кажется, все. На закуску вылетела на арену крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже.

Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку... Запрягли б мы ее в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле черепашым шагом топтаться!.. И все бы очень удивлялись, и я бы получал много сахара...

«Кто едет?» – «Микки с Зиной!»

«Чья лошадка?» – «Миккина с Зиной!»

Чудесно!

Устал. Больше не могу... Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!

Знаменитый укротитель догов

и бульдогов, эквилибрист

и наездник

фокс Микки.

Проклятый пароход

У курортной пристани качался белый дом-пароход. Труба, балкончик для капитана, внизу круглые окошечки, чтобы рыбы могли заглядывать в каюты. Спереди нос острый, сзади – тупой... Вода подшлепывает снизу, веревка скрипит, из паровой печки – дым.

Гу-гу! Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши, а я не могу... Зина берет меня на ручки – я дрожу, доски под нами тоже дрожат – и несет меня на эту противную штуку. Сзади – папа.

Прогулка! Мало им места на земле... я хоть плавать умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если дом перевернется?

Люди шли – шли – шли. Чистые костюмчики, из карманов – платочки (зубных щеток в петличках, слава богу, еще не носят!) – и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отдавили...

Сели на скамейки по бокам и сверху и внизу, как воробьи на телеграфных проволоках... Небо качается, улица качается, и наш пол качается. И я совсем потерял центр тяжести, присел на пол и распластался, как лягушка на льду.

Так мучить сухопутного фокса! За что?!

Гу-гу-гу! Поехали. Все машут лапами, посылают безвоздушные поцелуи. Подумаешь... На три часа уезжаем, и такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и переворачиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет... Машина. «Чи-ки-фу-ки, фу-ки-чи-ки, пи-ки-Микки, Микки-пи-ки». Да остановись ты хоть на минутку!!

* * *

Пока шли проливчиком – ничего. А потом заливчик, а потом... ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось, горизонты какие-то со всех сторон появились... Разве так можно? А земля где? За пароходом – белый кипятильник, чайки вперегонку за нами летят и

кричат, как голодные котята... Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им еще надо?

Ну, что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмыкаться. Пошел по ногам, ноги вежливо раздвигаются. Пардон, силь ву пле. (Извините, если вам нравится!)

У матросов деревянные башмаки – корабликами, у пассажиров обыкновенные, белые и желтые туфли. Практично и симпатично. А у дам что ни ноги, то другой фасон: с бантиками, с пряжечками, с красной решеткой, с зелеными каблучками... Кто им эти фасоны выдумывает?..

Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький, борода, как у рождественского деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: повернет колесо с палками в одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку рычит: «Доброе утро! – полдоброе утра! четверть доброго утра!» А может быть, я и напутал.

Нашел кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает. Варит. Повар сунул мне в нос омара... но я на него так посмотрел, что ему стыдно стало, и он высморкался (повар).

А пол все подымается, волны, как бульдоги, со всех сторон, морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается, опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему тоже будет не сладко. Ветер свистит и выворачивает уши наизнанку. Ай!..

У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» – успокоил его Зинин папа. Дуреет, а не свежеет... Ба-бах! Ба-ба-бах!

Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и тихонько-тихонько визжал: «Море! Золотое мое море... Ну, перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я маленький фокс, ничтожная собачка, за что ты на меня сердишься? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух, как я врал!)...»

Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя. Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и наступил лапой на спасательный круг. На всякий случай, – если бы пришлось спасти Зину, ее папу и капитана. Повар пусть тонет... Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы и повара, пес с ним...

Все? Нет, не все! Жадные сухопутные люди не знают уже что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо! Сели на бензинную этажерку... и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие, у них, верно, нет родителей и некому их остановить. А по морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба («судьба» – это вроде большой, злой летучей мыши) их и наказывает...

Качались и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага! Собаки... Посмотрели бы вы, как ведут себя на пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками в карманах, когда начинается качка!

Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку... Бр-р!

Но Зина – молодец. И ее папа – молодец. И капитан – молодец... А я... лучше не спрашивайте.

* * *

Когда показалась земля, миленькая зеленая земля, твердая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок.

Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за собой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так я с ними летать должен?! Пardon! Силь ву пле! (Извините, если вам нравится!)

Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и рыбной ловлей...

На луну я и с берега посмотрю, а рыбу – кушайте сами...

Море сегодня, правда, тихое, – знаем мы эту тишину. Но в комнате еще тише. Пол не качается, потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Бр-р!..

Старый морской волк – фокс Микки.

Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку

На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький... брр!.. кажется, собачьей. В палисаднике желтые листья плясали фокстрот.

Я побежал к океану: прощай!.. «Бумс!» – Фи, какой невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду...

От полотняных купальных будок одни ребра остались. Небо цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: скучают. Прощайте, до свидания! Хоть вы и без запаха, но я вас никогда, никогда не забуду...

Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел, залопотал... Что ему маленький, живой Микки?

Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.

Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги и переводные картинки, – на меня ни разу не взглянула...

И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом, и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие слова повторять!)...

* * *

Приехали. Риехали. Иехали. Ехали. Хали. Али. Ли. И... Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.

Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Герцогиня какая! Ладно... Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге.

Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати – шире парохода – хоть бы лестнички к ним приставили... Гадость

какая! А они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть лилового, грош ей цена.

Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и все губы мажет. Вот возьму и съем твою помаду, будешь с белыми губами ходить!

На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку крошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюет.

Вчера от скуки мы с ним поболтали.

— Ты где живешь, птичка?

— А везде.

— Ну, как везде?... Мама и папа у тебя есть?

— Мама в другом аррондисмане, а папа в Сен-Клу улетел...

— Что же ты одна делаешь?

— Прыгаю. Над сквериком летаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завелся: крошками кормишь. Хорошо!

— Не холодно тебе? Ведь осень...

— Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу дерутся... Эй-эй, подождите! Я тоже подрасться хочу...

Фурх — и улетел. Боже мой, боже мой, почему у меня нет крыльев?..

* * *

Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку погрел, а оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что ж, две недели дрожать должен?!

Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью... тоже сплю.

Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума... Гав! На одну собаку столько болезней?!

А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с шифоньерками!

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем... У-у! Был бы я медведь, пошел бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны...

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся, а оно из-под меня ушло... Ах, боже мой!

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг в Канн. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтракать... Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул:

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, оставьте!»

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и... проснулся.

* * *

Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал?! С моим портретом и ав-то-гра-фом?..

Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зеленом платье... Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя: Микки!

Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит – о! – я и через пол слышу...

До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до свидания, дети – мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки... Хотел заплакать, а вместо того чихнул.

Ставлю большую, большую точку •. Гав! Опять меня блоха укусила!.. В такую трогательную минуту...

Кровопийца собачья!..

Всеобщий детский друг,

скромный и сонный фокс Микки.

Солдатские сказки

Королева – золотые пятки

В старовенгерском королевстве жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себя и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет – солдаты на страже аж покачиваются.

Король все Богу молился альбо в бане сидел, барсуковым салом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет, да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого королевского удовольствия не было. Одно только оставалось – сладко попить-поесть. Пакет ей шел королевский полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куса сахара в чай клади, отказу нет.

Надумала королева как-то гурьевской каши перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил – мед да миндаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробовавши, половину приел. И горничная, по коридору несши, не малохватила. Однако и королеве досталось.

Ест она тихо-мирно в тереме своем, в опочивальне, по-венгерски сказать – в салоне. Сверчок за голландкой поцыкивает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любит.

Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового капельмейстера. Глазки с бело-голубым мерцанием, ножки щуплые в валенках пестрых, ростом как левофланговый в шестнадцатой роте – еле носом до стола дотягивает.

Королева ничего, не испугалась.

– Кто вы такой, старичок? Как так сквозь стражу продрались и что вам от Моего Королевского Величества надобно?

А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:

– Ну и запах... Знаменито пахнет.

Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.

– Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не даешь, изволь тотчас же выйти вон!

И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.

Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:

– Что ж так сразу и вон? Я существо нужное, и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впалую грудь сделать, либо, скажем, глаз скосить, – родная мать не узнает.

– Ах, ах!

– Вот тебе и ах... Могу и доброе что сделать: королю дней прибавить альбо тебе волос выбелить, с королем посравнять. Дай, матушка, каши, за мной не пропадет...

Зло взяло королеву.

– Ты, швабра с ручкой! Нашел чем прельщать... Не про тебя каша варена. Ступай на помойку, с опаленной курицы перья обсоси.

Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, как мышь в подполье, в сонную ночь.

Наплоталась королева каши, расстегнула аграмантовые пуговицы, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур сквозь голову вздели. Стеганое соболье одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде обьютили. «Спите с богом, Ваше Королевское Величество! Первый сон – глаза закрывает, второй сон – сердце пеленает...»

Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчок поцыкивает. В животе кашка урчит-бурчит, поученому сказать, переваривается.

Тем часом дымный старичок из-за портьерки ухо приклонил: легкий королевский храп слышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебра пузырек достал.

А тут королева как раз во сне приятную сладость увидала, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из-под собольей покрывки обнаружила. Тут старичок и нацелился: впрыснул пятки из фляжечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазка ровней растеклась. Тарелку из-под каши облизал наскоро и ходу. Будто и на свете его не было.

Вздыхнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжко притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полудня.

* * *

Солнце в цветной оконнице павлиньим хвостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладами о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала – маком горит. Вскинула было легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют, – однако пятки ни с места. Заело. Села она кое-как, по стенке подтянулась, плюнула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет оттедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.

Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла, – в кого стрелять, неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подыгрывает.

Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:

– Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу, разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.

Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышки, поставили на самаркандский ковер, а она, как клейстер разваренный, так книзу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.

– Мы, Ваше Величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена – нам неизвестно.

Опять от короля распоряжение:

– Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельдшерей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу – лучше не надо.

Не успел приказать, – гул-топот. В две шеренги построились, старший рапортует:

– Честь имеем явиться, Ваше Величество.

То да се, пробовать стали. Свежепросольные пиявки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких средств. Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату, сам с собой на русском бильярде в пирамидку играет.

Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоянным дворам поползли слухи, разговоры, бабьи наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась – вся кругом начисто золотом обросла, одни пятки мясные наружу торчат. Известно, но не бывает поля без ржи, слухов без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблуки посбил, в корчму зашел винцом поразвлечься.

Услыхал такое, думает: солдат в сказках всегда высоких особ вызывает, большое награждение ему за это идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на сам деле сдрейфлю, супротив лекарей способа не сыщу?

Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил. Обтер солдат усы, гаркнул:

– Смирно, черти! Равнение на меня... О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирей снять. Фамилия Дундуков. Ведите!

* * *

Взяли солдата под теплые мышки, поволокли. А у него чем ближе ко дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходить стал, струсил. Однако идет. Куда ж денешься?

Доставили его по команде до самого короля.

– Ты, солдат Дундуков, похвалялся?

– Был грех, Ваше Королевское Величество!

– Можешь?

– Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что Бог даст.

– Смотри. Оправишь королеву, век свой будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь – разговор короткий. Ступай.

Солдат плазом не сморгнул, налево кругом щелкнул. Ать-два. Все равно погибать, так с треском... Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтоб к королеве не холуем явиться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.

Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.

Ну видит солдат – дело не так плохо: вся королева в своем виде, одни пятки золотые. Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.

– Что ж, Дуняш, как, по-вашему, такое случилось?

– Бог знает. Может, она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась...

– Тэк-с. А что оне вчера кушать изволили?

– Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.

Повертел солдат тарелочку – чисто. Будто кот языком облизал. Не королева ж лизала.

– Кот тут прошедшую ночь околачивался?

– Что вы, солдатик! Кот королю вместо грелки, всегда с ним спит.

Посмотрел опять на тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая...

Задумался и говорит Дуне:

– Принеси-ка с кухни полную миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого штоф нераспечатанный. Покамест все.

– Что ж вы одну сладкую кашку кушать будете? Может, вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть.

– Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может, кашу и не я кушать буду.

Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:

– А теперь уходите, красавица, я лечить буду.

– Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.

– Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.

Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!

Спит королева. Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по-киргизски, да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.

Ждет-пождет. Только двенадцать часов на башне отщелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом поверху тянет, к миске направление держит.

Солдат за печку, – нет его, и шабаш.

Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все, да так на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши...

Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!

Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико, – пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом скрозь штаны двойным арестантским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.

Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало, и спать улегся, как в лагерьной палатке.

Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, нутужился старичок, покраснел рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит, – смех ее разбирает.

– Не извольте, – говорит солдат, – сомневаться. Мы с ним коммерцию в два счета кончим. Эй, – говорит, – господин золотарь, грузовичок свой остановите, разговаривать способнее будет! Вот.

Старичок, конечно, шипит:

– Чем ты меня, пес, с оберточной стороны приклеил?

– Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хоромы водить. Умел золотить, умеи и раззолачивать. Давай обратное средство, живо, не то так тут на кресле и иссохнешь.

Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупился и подает солдату: подавись.

Однако и солдат не из последних обалдуев был, – репертичку сделать решил.

– А ну-кась, давай сюда и первый золотильный состав.

Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба выудил, снял сапог, сунул ее в голенище. Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутристой сткляночки, враз все сошло.

– Ишь ты... Чтобы тебе ежа против шерсти родить!

Чуть он, можно сказать, вприсядку не пустился.

Честно-благородно драгву вокруг стариковых штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.

Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно, запунцовелась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все ж мужчина. На пятки ему пальчиком указывает.

Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, будто бутон с яблони райской, – теплотой наливается... С полпятки выправил, – сердце стучит, нет мочи.

– Дозвольте, Ваше Королевское Величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.

На эти слова повела она ласково бровью. А бровь словно колос пшеничный, прости господи...

* * *

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дите-королевич.

Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако потом ничего – обрадовался.

Пирование было, какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж порасстегнулись некоторые. Костей-пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королевиной поправки. Ароматами дворцовыми заведовал, должность ему такую придумали. Каждый день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десятков – «Пажеские». Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок-девушек интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.

В полпирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.

Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шепотом говорит:

– Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты, Дундуков, своевременно справил, золотые пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, бессрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг любезный, надо тебе чичас сундучок собирать, в путь-дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные – коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С богом, друг! Обмундирование свое второго срока не забудь. Дезинфекция сделана.

Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако спросить насмелился:

– Почему ж такое?

– Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе... Понял?

– Пятно я свести могу. Должно, опять домовой...

Сунул ему комендант бессловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.

Что ж сытого потчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.

– Так точно, – говорит, – понял...

Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул.

– Эх ты... С пухом, с духом, нос на вздержках... Не хвастай коноплястый – будешь рябенький!

Дуня вверху в окне стоит, мимо смотрит. Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздулся волдырь, да и лопнул!

Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо бы хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впротчем, что ж: может, еще кого подлечить придется, – в другом королевстве.

Антигной

Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с вестовым записку. Так и так, столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина плянец навести.

Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий почему не освободиться; работа легкая – своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.

Сидит это Бородулин на полу, лаком-сандаракон ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хочь патрет пиши: мускулы на плечах, руках под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж, что зря хаять, – родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, – в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то чтобы что...

Перевел Бородулин дух, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза, барыня в дверях стоит, – молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратненькая, личико тоже – не отвернешься. Ужли адъютант у корявой жить станет...

– Упрели, солдатик?

Скочил он на резвые ноги, – гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и притормозила:

– Нет, нет. Гимнастерку не трожьте!

Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела, и за портьеру медовым голосом бросила:

– Чисто Антигной... Энтот мне как есть подходит.

И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился.

Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете ляпнула... С жиру оне, барыни, перила грызут, да не на такого напала.

Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложил.

Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил: блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала.

– Ловко, – говорит, – насандалил, молодец, Бородулин!

– Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до завтра окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится... Работа деликатная. Разрешите иттить?

Наградил его адъютант, как следовало, а сам ухмыляется:

– Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыне ты очень понравился, барыня лепить тебя хочет, понял?

– Никак нет. Сумнительно чтой-то...

А сам думает: что ж меня лепить-то? Чай, уж вылеплен...

– Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.

И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал.

Только, стало быть, солдат за гимнастерку – портьерка – взык! – будто ветром ее вбок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь к косяку прислонила и опять за свое:

– Нет, нет. Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?

– Иван Бородулин. – Ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок устоялся.

Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.

– Вот, – говорит барыня, – обсмотрите. Все кругом, как есть, мои работы.

Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело: полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы... А промеж них бабы алебастровые. Которая лежит, которая стоит... Платья-белья и званья не видать, а лица, между прочим, строгие.

Барыня тут полное пояснение сделала:

– Вот вы, Бородулин, по красному дереву мастер, я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя – скульптура... В городе монументы, скажем, понаставлены, – те же самые идолы, только в окончательном виде...

Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, – он ей поперек и режет:

– Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду-племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкатишь?

Она ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:

– Ан вот и ошиблись. В Питере не бывали? То-то и оно. А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.

«Ишь, заливает! – думает солдат. – Чай, там в столичном саду, мамки княжеских ребят нянчат, начальство гуляет, – как же возможно погань такую меж деревьев ставить?»

Достает она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачовой лентой обшит, – подает солдату.

– Вот вам вместо крымской епанчи. Рубаху нательную прочь сымайте, мне она без надобности.

Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.

Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:

– Ну, что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса, – подумаешь, одуванчик какой монастырский... Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.

Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила... Вознесся солдат, будто кот на тумбе, – глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое...

Взяла она солдата на прицел из всех углов.

– В самый раз. Вот только стригут вас, солдат, низко, – мышшь зубом не схватит. Антигною беспрерывно кудерьки полагаются... Мне для полной фантазии завсегда с первого удара модель во всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить не трудно...

В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручем медным притиснула, – то ли для прочности, то ли для красоты.

Глянула она с трех шагов в кулачок:

– Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побелить да в замороженном виде на постамент поставить – и лепить не надо...

Посмотрел и Бородулин в зеркало, что наискось в простенке около козлоногого мужика висело... Будто черт его за губу дернул.

Ишь срамота... Мамка не мамка, банщик не банщик, – то есть до того барыня солдата расфасонила, что хочь в балаганах показывай. Слава тебе, господи, что окно высоко: окромя кошки, никто с улицы не увидит.

А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, вместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Спервоначалу она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое-как обломать.

Потеет солдат. И сплунуть хочется, и покурить охота смертная, а в зеркале плечо да полгруды, как на лотке, корнем торчат, вверху рыжим барашком пакля расплывается, – так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде в зеркале и шваркнул... Нипочем нельзя: барыня хочь и не военная, однако обидится, – через адъютанта так ушибет, что и не отдышишься. Упрела, однако ж, и она. Ручки об фартух вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается.

– Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желательно походить – походите, а то и так в вольной позиции посидите.

Чего ж ему ходить в балахоне-то энтот с обручем? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:

– А из каких он, Антигной энтот, будет? В богах басурманских числился либо на какой штатской должности?

– При крымском императоре Андреяне в домашних красавцах состоял.

Покрутил Бородулин головой. Скажет тоже... При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахаля такого в локонах содержать.

А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа не легкая: пуд глины месить – не утку доить.

Слышит солдат – за спиной писк-визг мышиный, портьерка на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга, чуть с табуретки не сковырнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого – денщик адъютантский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка, – фартуком

пасть закрывает... Повернулся к ним Бородулин полным патретом – так враз всех трех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили... Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.

Обернулась барыня от окна, Бородулина спрашивает:

– Вы что же это, солдатик, фырчите?

И ответить нечего... Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит. Обруч набок съехал, глаза как гвозди: так бы всех идолов в палисаднике вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжко, – Бог из глины Адама лепил, поди, Адам и не заметил, а тут барыня перед куфней на позор выставила...

Эх ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей... Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности первый в роте, и вот достиг – из-за адъютантской политуры в Антигной влип, и не вылезешь... Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заворачивает?

Видит барыня, что солдат совсем смяк. Полепила она еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:

– Ежели вам, например, неумоготу, чего ж зря сопеть-то... Энтот с простого звания людьми часто бывает, – от умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расшатает, будто воду на ем возили... Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик, в лагерь. А завтра с утра беспрременно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касемо ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.

И полтинничек новый Бородулину из портманетки презентовала. Барыня была справедливая, тоже она не любила, чтоб около ее даром потели...

* * *

Заявился Бородулин в лагерь, – около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду регочет.

– С легким паром. Отполировался?

– Так точно. Столик в полную форму произвел.

– Ты мне столиком не козыряй... Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не оберешься.

Взводные тут которые, – свои-чужие, – в руку похохатывают, земляки ухмыляются.

Сгорел Бородулин... Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло... В городе рубят, по посадкам щепки летят.

Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзади так и наддают:

– Ишь ты, доброхот! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.

– В карсет его засупонила. Лепись!

– Ен и сам вылепит... Ай да Бородулин, первую роту не посрамил.

Прибавил солдат ходу, – сколько ни брешут, еще и на завтра останется.

Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.

Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.

– Антигной?

– Он самый. Ну, что ж, Бородулин, потрафил?

– Не могу знать, ваше скородие.

Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.

– Ну ступай отдохни. Замаялся, поди. Ишь орел какой... Можно сказать, выбрала!

А уж какой там орел, – курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.

Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гу-гу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако фельдфебель пальцем его к себе поманил.

– Собирайся, гоголь. Адъютант вестового присылал, чтоб беспрерывно тебе каждое утро у барыни лепиться. Портянки-то свежие надень, либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я попляжу.

Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет:

– Ослобоните, господин фельдфебель... Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуменьи такой не найти.

– Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет... Потерпи, Бородулин, экой ты щекотливый. Солдат только на морозе да в бане краснеть должен. Однако ты там смотри, – в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся... Адъютант у нас серьезный. Ступай.

Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.

* * *

Помаршировал Бородулин к барыне, в каждом голенище словно по пуду песку, – до того идти неохота. Слободой проходил, слышит, из белошвейной мастерской звонкий голос его окликает:

– Эй, кавалер! Что ж паричок-то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили...

Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежит, пальцем на него указывают.

– Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брезгаете? Чай, мы не хуже барыни, – красоту бы свою нам показали...

– Плечики у вас, сказывают, пуховые... Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться.

Наддал солдат, щебень под каблуками так сахаром заскрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливаются:

– Цып-цып-цып!.. Солдатик!.. В случае, глины на вас не хватит, пришлите к нам, у нас на дворе свиньи свежей нарыли!..

Ишь, уксус каторжный!.. На всю слободу оскоромила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:

– Эвона! Монумент гиняный на занятия вышел... Что к чему обычно – брюхо к опояске, солдат к барыниной ласке.

– На соборной площади тебя, сказывали, поставят, – смотри не свались!

Развернулся было Бородулин, хотел одного, который более всех наседали, с катушек сбить, а тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил – показывает, как солдат на табурете в позиции сидит...

Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист... Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул. Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокли. Только мимо куфни проскочить нацелился: горничная за куфарку, куфарка за денщика, – трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин словно босыми ногами по битой посуде... Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны...

В два счета обрядила его по-вчерашнему, – локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окороком вперед.

– Как сомлеете, скажите... Я зря человека мучить не люблю.

Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила вместо Бородулина...

Мнет барыня глинку, миловидно дышит. Туловище кое-как обкорнала, на патрет перешла. Чиркуль со стены сняла и для проверки дистанции стала солдату между губой и носом да промеж глаз тыкать... Наизусть, значит, не умела, – а тоже берется...

Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче, – лапу отгрыз, и поминай как звали. А тут, отгрызи-ка! На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не регочут ли там энти гадюки домашние... Хорошо ему, денщику адъютантскому, – курносый да рябой, как наперсток, – в Антигнои-то не попал.

Встрепенулась тут барыня:

– Ах-ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается!.. Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки-ножки поразомните, а я

там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков ли пока не желаете погрызть, только на паркет не сорите.

С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, табурет под ним побрякивает. До орешков ли тут, кажись бы, самого себя с досады перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.

А за спиной фырк да фырк... Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.

Ан тут портьерка в сторону, – старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридор зычным голосом командует:

– Кыш, пошли прочь на куфню! Еще и чужих понавели смотреть, эка невидаль – с солдата мерку симают... Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.

И в монументную комнату коlobком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:

– Тьфу ты нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала...

Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:

– Что ж, бабушка, самому не сладко... По городу не пройти – так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься...

– А ты не гоноши... Какой роты?

– Первой, бабушка... Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда – из пяти пуль все пять выбиваю... Вот и дождался производства. Барыне б твоей полпуда мышей за пазуху!

Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.

– Внучек у меня в Галицком полку служит тоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык на вытянутой руке подымает... Ну, что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня у нас ничего, да вот блажь на нее накатывает, все норовит кобылу хвостом вперед запрячь...

– Да как же, бабушка, ослобониться-то?

– А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала...

Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула и вдруг – хлоп! – на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шепотом скворчит:

– Нашла, яхонт... Ей-богу, нашла! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу нипочем не сколупнешь, – адъютантом вертит, не то что солдатом на табуретке. Однако есть и на нее удавка: запахов она простых не переносит – субтильная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть что, чичас же из комнаты вон...

– Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?

– А ты, Скобелев, вперед не заскакивай... Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою идти, редьки скобленой поешь, сколько влезет, да еще полстолько... Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и под мышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыни, мухи на паркет попадают. Чу, идет... Пострадай уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.

И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.

Барыня взошла и опять за свою глинку. Воззрилась она раз-другой, сережками потрясла:

– Чудной вы, солдатик. То как сыч сидел, а теперь, вишь, веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли? Антигнои, они веселые не бывают.

А как тут сурьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и выиграло...

* * *

Далее что и рассказывать?... Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрывивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло, – барыня так и взвилась. Да еще на евонное счастье дождик шел, – окна не откроешь...

Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается...

К грудям ей подкатило, насилу успела выбежать, – можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт во всей форме произвел.

Ждет он, пождет, нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать... Да и совесть покалывать стала: барыня к нему «солдатик-солдатик», а он со шкурой ее от плины и оторвал. Что ж, сама виновата, – хочь бы, скажем, Ермака с него лепила либо генерала Кутузова, а то такую низменную вещь.

Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, ан тут нянька гимнастерку ему несет, глаза как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.

– Ну, милый, полный расчет. Облокайся да ступай в лагерь, нам ты боле не надобен... Ух, и начадил ты, однако, – сига закоптить можно...

Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежду сымал.

Затянул он поясок, обдернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподнес:

– Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили...

– Ах, свет мой! Глазастый-то какой, – вот уж угодил старухе... Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я бы тебя, ландыш, и не так отблагодарила. Однако ступай, – до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.

Встряхнулся Бородулин, налево кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул, – аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись...

Ослиный тормоз

Притаилась, стало быть, наша головная колонна в Альпах в непроходимом ущелье. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана Великого. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются, ни взад, ни вперед. Водопада с боку шумит. Чего ж ей, дуре, больше делать? Суворов-фельдмаршал, само собой, в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход небесным путем пошла, чтоб французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники-генералы, а он генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и займем...

Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костерки развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу энту проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи бог. А нам своей чечевицы подсунули, – час пыхтит, час кипит, – отшельник, к примеру, небрезгуший и тот есть не станет. Дерьмовый провиант.

Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет – «соси за мое здоровье». Кого по лядунке хлопнет, пошутит: «Знаешь меня, кто я таков?»

– Как же нам своего отца не знать! Вас, ваше сиятельство, по всей Расее последний черемис и тот знает...

– А может, я вражеский шпиен под Суворова подзаделался... Ась? Что же ты, – спорынья в квашне, сто рублей в мошне, – как зуй на болоте, нос вытянул? Стой не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!

– Разве ж шпиен так по-русски чесать может?... Да по глазам кто ж ваше сиятельство сразу не признает...

– Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за вас всех не спит.

– Такие глаза, будь здоров во веки веков, – отвечает чудо-богатырь, – что прикажи ты мне чичас, батюшка, чтоб я себя самого на шомпол насадил и на костре изжарил, – и глазом не моргну.

Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачок, трех свой поперек передвинул.

– Уж ты, сват, лучше не зажаривайся. Авось и живьем пригодишься.

Обошел линию, посты проверил, задумался. Адьютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: «Будьте здоровы-с!» Рассмеялся старик: «Покорнейше благодарим!» И спрашивает адъютанта: «Обоз в порядке?» – «Так точно, за вашим шатром расположившись».

А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул, над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адъютантову голову – «ступай спать, Христос с тобой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.

Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует:

– Зайчиху я тутошнюю в силоч поймал. Жирная, не укулупнешь. С каких харчей в горах раздобрела, господь ее знает.

– Ну что ж, – говорит князь Суворов. – И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.

– Никак невозможно, ваше сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой наштиговал. Окажите божескую милость, погрызьте хоть лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.

Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил.

– Смотри, Васька... Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что ж, поведения моего не знаешь? Турок ты, что ли?

– Лайтесь не лайтесь, ваше сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещите, только извольте скушать.

– Эх ты, Васька! Семь в тебе душ, да ни в одной пути нет. Даром что при мне состоишь... Когда ж я своих солдат по скуле хлестал?

Хочь в нитку избожись, не поверю. Порцию я свою солдатскую съел, чечевички, брат, сладкая пища. Австрийцы хвалят, – с нее они такие и храбрые... А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.

Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашлось. Вышел на мороз и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца, – «Жри, чтоб тебя адским огнем попалило!»

Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские...

Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, – храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят – заревут – зарыдают: будто пьяные черти на волынках наяривают... Да все гуще и пуще, – обозные собачки подхватили во весь голос, с переборами, все выше и выше забирают, словно кишки из них через плотку тянут.

Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику, летит Сундуков, в свечу вытягивается.

– Что там за светопредставление?! Ведьма, что ли, бешеного быка рожает?

– Никак нет... Ослы поют. Погонщик через переводчика рассказывает, будто они завсегда в полнолунную ночь в восторг приходят, кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, ваше сиятельство...

– Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двужильный. Дай-ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.

Покрутил Сундуков головой... Ах ты, царица небесная, ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать... Ишь как притомился.

Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.

Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц стал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы-стервы только в силу вошли, будто басы-геликоны кузнечными мехами раздувают, да с верхним подхватцем...

Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут – хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что ж тварь мучить, погонщика обижать... Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы, – ей наплевать. Соломы дадут – схряпает, не дадут – солдатскую пуговку пососет. Экая оказия!.. Спасибо Создателю, ветер над горой ревет, ослов заплушает. А то бы беда, враг близко...

Вынырнул тихим манером Сундуков из-за кошмы, стоит, искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.

– Не извольте, ваше сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.

– А ты что ж, с обоих концов их соломой заткнешь?

– Никак нет. Голос у них такой, никакая солома не удержит.

– Как же так они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли – ишь как наддают, хочь вприсядку пляши.

– Не извольте беспокоиться. Чичас полную тишину вашему сиятельству предоставлю.

Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям в одном конце закупорило, в другом... Чуть последний осел сверчком рипнул – и стоп.

Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гугу. Ухмыльнулся он, походную думку-подушку поправил, плащом ножки прикрыл и, как малое дите, ручку под голову, – засвистал-захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.

* * *

Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:

– Что ж, Василий Панкратыч, ослиный капельмейстер... Как же ты их, сват, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что ли?

– Никак нет. А как при лунном сиянии позицию их мне разглядеть потрафило, заметил я, что, ежели он, стерва-осел, рыдает, в восторг входит, чичас он хвост кверху штыком... Нипочем иначе не может. Такой у него, ваше сиятельство, стало быть, механизм... Ну, тут уж штука не хитрая, – по камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и примолкли...

Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.

– Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый ты человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть от зависти полопаются... Разве ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться? Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, понатужься, – ежели только власти моей хватит, честное слово, не откажу... Ну!

Вестовой Сундуков ослабил, а сам руку за спину завел.

– Так точно, ваше сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью второй заяц в силочку попался, – заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь. Будьте отцом родным, наградите вашего верного слугу, извольте откусать!

И зайца из-за спины вытаскивает.

Насупился было Суворов, – посмотрел на вестового и оттаял.

– Хитрый ты, Васька, до невозможности. У лисы ухо срежешь, да ей же и скормишь... Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку-ножик. Только, чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду... Согласен?

– Так точно, согласен.

Насупился было и Сундуков, да что ж поделаешь.

А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.

Кавказский черт

Читал у нас, землячки, на маневрах вольноопределяющий сказку про кавказского черта, поручика одного, Тенгинского полка, сочинение. Оченно всем пондравилось, фельдфебель Иван Лукич даже задумались. Круглым стишком вся как есть составлена, будто былина, однако ж сюжет более вольный. Садись, братцы, на сундучки, к окну поближе, а то Федор Калашников больно храпит, рассказывать невозможно...

* * *

Пирует грузинский князь Удал – на триста персон столы понаставлены, бык жареный на медном блюде лежит, в быке – жареные утки, в утках – жареные цыплята. С амбицией князь был... Вином хочь залейся, по всем углам кахетинское в бочках скворчит, обручи еле сдерживают. Кто мимо ни идет, вали к князю, пей, ешь, хочь облопайся. Потому Удал единственную дочку просватал, к вечеру милого жениха ждут, а пока что, не зря ж сидят, – песни, пляс, пирование. Под простыми гостями туркестанские ковры постланы, под княжеской родней – дагестанские.

Дочка Тамара меж подруг на собољем одеяльце сидит, ножки княжеские под себя поджавши, черные брови, как орлиные крылья, вразлет легли, белое личико, будто фарфоровое пасхальное яичко, скромные ручки на коленках держит, – девушка высокого рода, известно, стесняется.

Подходит к ней старший гость, дядя ейный по матери, князь Чагадаев, сивый ус за ухо закинул, чеканным кавказского серебра поясом поигрывает.

– Что ж, Тамара... Другие-прочие пляшут, а ты будто жар-птица привинченная. Уважь дядю, пройдишь, что ли, рыбкой...

Защелкал он мерно в ладони, словно деревянными ложками брякнул. Мужчины, стало быть, подхватили: раз-раз!.. Музыканты брызнули. Взмыла Тамара, господи твоя воля!

Летает это она пушинкой, шароварки легкими пузырями вздуло, косы полтинниками звякают, ножка ножке поклон отдает, ручка об ручку лебедем завивается. Слуги, которые гостей обносили с подносами, к земле приросли, а гости осатанели, суставами шевелят, каблуками землю роют... Сплясал бы который, да вино ножки спеленало.

Не выдержал тут дядя ейный, князь Чагадаев, даром что сивый: затянул пояс потуже, башлык за плечо, – бабку твою на шашлык! – пошел кренделять... Занозисто, братцы, разделявал, до того плавно, что хочь самовар горячий ему на папаху поставь, – нипочем не сронит...

Разожгло тут и Тамару. Стеснения своего окончательно лишилась, потому лезгинка танец такой – кровь от него в голову полыхает... По кругу плывет, глазами всех так без разбору и режет: старый ли, молодой, ей наплевать...

Щечки факелом, грудь облаком, носком вострым под себя подгребает, одним глазом приманивает, другим холодит, поясница пополам, косы ковер метут... То исть, бубен ей в душу, пронзительно девушка плясала... В остатний раз свободу свою вихрем заметала.

* * *

В тую пору одинокий кавказский черт по-за тучею пролетал, по сторонам поглядывал. Скука его взяла, прямо к сердцу так и подкатывается. Экая, думает, ведьме под хвост, жисть! Грешников энтих как собак нерезаных, никто сопротивления не оказывает, хочь на проволоку их сотнями нижи. Опять же, кругом никакого удовольствия: Терек ревет, будто верблюд голодный, гор наворочено до самого неба, а зачем – неизвестно... Облака в рог лезут, сырость да серость, – из одного вылетишь, ныряй в другое...

Сплюнул он с досады, ан тут в синюю дыру вниз глянул, на край тучи облокотился, туча его к самому княжескому замку подвезла. Покрутил черт головою: эх, благодать!

Пир у князя Удала только в полпирование вошел, музыка гремит, факелы блещут, гости с ковшами на карачках по двору разбрелись... А на крыше княжеская дочка Тамара, красота несказанная, лезгинку

чесет: месяц любитесь, звезды над тополями вниз подмигивают, ветер не шелохнет.

Обидно черту стало, хочь плачь, – да у чертей слез-то нету. На-кось, поди, у людей веселье, смех, душа к душе льнет, под ручку, дьяволы, пьяные ходят, а он, как шакал ночной, один да один по-над горами рыскать должен.

А как Тамару, пониже спустившись, со второго яруса поближе разглядел, так даже сомлел весь: отродясь таких миловидных не видывал, даром что весь Кавказ с Турцией-Персией наскрозь облетел. В сердце ему вступило, будто углей горячих плотнул, чуть кубарем сверху на княжеский двор не свалился. Сроду его к бабам не тянуло, – ан тут и заело...

Так вот, стало быть, к кому за Арагвой молодой Синодальный князь скачет, карабахского коня нагайкой ярит...

Ладно, думает. «Ты, брат, скорый, да и я не ползучий...» Не тот, мол, курку ест, кто к столу спешит, а тот, кто ее за крылышко держит.

* * *

Летит Синодальный князь, к луке пригнувшись, на брачный пир поспешает. Алый башлык за спиной ласточкой вьется, борзый конь хвостом версты отсчитывает. За князем верблюды свадебными подарками бренчат, свита коней нахлестывает... Ан, князя Удала замка все не видать, – давно бы, кажись, ему время за Арагвой светлыми окнами, брачными факелами блеснуть. Стало быть, черт через своих подручных бесов все повороты спутал, тропинки вбок отвел, сам карабахскому коню в морду из-за тучи дует, направление сбивает. Чистая беда!

Да еще часовенка древняя в ущелье стояла – отшельник ее один в стародавние времена склал, сам по обещанию камни снизу на спине таскал. Которые путешествующие беспрерывно перед ней шаг замедляли, шапки сымали, молитву читали – против ночного набега, против внезапной пули, против чеченца гололобого. Черт и тут постарался: скрыл часовню туманом, будто чадрой покрыл. Князь без внимания мимо и проехал...

Едут да едут. Стал молодой князь сомневаться. Попридержал коня, пену с черкески белой перчаткой смахнул, золотые часы вынул – время позднее.

Дал он тут приказ:

– Стой! Оправься. Слуги мои верные! Ночь пала, месяц за горы сгинул, карабахский конь задыхается. Не иначе, как нам на бивак до рассвета располагаться придется. Скидавай тюки, закусим по малости, утро вечера мудренее... Ночь холодная, жертвую по чарке на каждого, – боле не могу, потому вокруг небезопасно.

Легла свита вокруг князя кольцом на голом камне. Дозорных выставили. Прилег князь на бурку, плаза обшлагом прикрыл, мурчит, как кот: Тамара перед ним на софе в шароварках потягивается, сонный ветер плаза закрывает. Прижимает это он седло к грудям, тайные слова шепчет, – не четки ж ему во сне перебирать.

Верблюды посапывают. Всхрапнули и дозорные, против дьявола никакой караул не устоит. А тут, братцы мои, с обоих флангов не то чечня, не то осетины – во тьме и пес не разберет – пластунами подобралась, кинжалы в зубах, да как ахнут! «Халды-балды!» Черт им тут на самую малость месяц приоткрыл, чтоб способнее было жениха-князя найти!.. Лязг, свист, где тыл, где фронт, где свои, где чужие – ничего не известно, потому сражение кавказское, никакого плана, одна резня.

Проснулся князь, на коня неоседланного пал, звизганул шашкой – хрясь, брясь! – улочку себе сквозь неприятеля прорубил...

– За мной, – кричит, – ребята! Мы им хвост загнем...

А какие там ребята – почитай, вся свита без голов лежит, руки-ноги по утесам разбросаны. Так во сне в полном вооружении ни за понюшку и пропали. Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к седлу приторачивают...

(Эк, Калашников-то как расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь к чертям. Самое главное чичас начинается.)

Вынесся князь из сечи, борзый конь ко князю Удалу направление взял, ан и черт не дурак. В ночной мгле перехватил у чеченца с правого фланга винтовку, да князю в затылок с коленца не целясь, с дистанции шагов, братцы, на триста. Как в галку! Ахнул Синодальный князь, к гриве припал, – вот тебе, можно сказать, и женился. Ночь просватала, пуля венчала, частые звезды венец держали...

Влетает, стало быть, карабахский конь, верный товарищ, к князю Удалу на широкий двор, залиvisto ржет, серебряной подковой о кремень чешет: привез дорогого гостя, примайте! А пир, хоть час и поздний, в полном разгаре. Бросились гости навстречу, князь Удал с крыльца поспешает, широкие рукава закинул... Тамара на крыше белую ручку к вороту прижала, – не след княжеской невесте к жениху первой бежать, не такого она воспитания.

Что ж молодой жених с коня не сходит? Тестю поклона не отдает? Невесту не обнимет? Или порядков не знает?

Соскользнул он на мощенные плиты, кровь из-за бешмета черной рекой бежит, плаза, как у мертвого орла, темная мгла завела... Зашатался князь Удал, гостей словно ночной ветер закружил... Спешит с кровли Тамара, а белая ручка все крепче к вороту прижимается. Не успел дядя ейный, князь Чагадаев, на руку ее деликатно принять, – пала как свеча к жениховым ногам.

Повел дядя бровями, подняли ее служанки, понесли в прохладный покой, а у самих слезы так бисером по галунам-лентам бегут... Поди, каждому жалко на этакое смертоубийство смотреть-то.

А черт рад, конечно: в самую мишень попал. Из-за туч, гад, снизился, по пустому двору ходит, лапы потирает. Собака на цепу надрывается, а ему хоть бы что. Подкрался к угловой башне, мурло свое к стеклам прижал, – интересуется... Оттедова, изнутри-то, его не видать, конечно.

Лампочка на подоконнике горит, Тамара на тахте пластом лежит, полотенце с уксусом на лбу белеет, а сама с лица полотна белей. Омморок ее зашиб, значит.

Делать нечего, стала она кое-как в себя приходить. Руки заломила, рыдает в три ручья, – вещь не сладкая, братцы, жениха потерять, – всей жизни расстройство.

А тут в фортку черт голос подает, умильными словами поет-уговаривает:

– Ты, – говорит, – девушка, не плачь напрасно. Помер твой князь, в рай попал, там ему полный покой, об тебе и не вспомнит... Женихов в Грузии не оберешься, а ты по здешней стороне первая

красавица, да еще с во каким приданым, – есть об чем тужить... Все помер, а пока что жить надоть. В небе звезды ходят, хороводы водят, ни скуки, ни досады не знают, ты бы с них, девушка, пример брала. А я тебя, между прочим, каждую ночь до первых петухов утешать буду, пока утренняя пташка не стрепенется, – потому днем несподручно...

Вскочила княжна на резвые ноги, туда-сюда плянула. Кот под лавкой урчит – ходит, о подол трется, над головой князь Удал в расстройстве чувств шагает, а боле никого и не слышать. Выскочила она на крыльцо, – Терек под горой поигрывает, собачка на цепу хвостом машет, княжне голос подает: «Не сплю, мол, не тревожься»... Кто ж в фортку, однако, пел?

Караульный тут, который в доску для безопасности бил, подходит. Княжна к нему: «Не проходил ли кто незнакомый через двор, по какому случаю в поздний час пение?»

– Никак нет, – отвечает караульный. – Седьмой раз дом обхожу. В доме такое несчастье, как можно... Уж я б его, певца, чичас князю Удалу представил, он бы ему прописал!

С тем и ушла. Головку к шелковой думке приклонила, – к подушечке махонькой, – вздохнула, об судьбе своей горькой призадумалась, однако ж слеза не идет – черт свое дело сделал.

В лампочке керосин вышел, дрема ее стала клонить. Заснула она тихо-благородно, косы-змеи под себя подостлавши, ан тут черт ей в сонном видении и является.

И не то что в своем обнаковенном подлом виде, а во всей, можно сказать, неземной красоте. Кудри выются, глаз пронзительный, ус вертит, в бессловесной любви ей признается... Девушке много ль надо: испужалась она было спервоначалу, а потом огонь у нее по жилам пробежал, потянулась она к нему, как дите...

Да, видишь, черт времени не рассчитал: петух тут первый закурекал, – сгинул бес, как дым над болотом. Так на первый раз ничего и не вышло.

Терек шумит, время бежит, никакого княжне облегчения нету. Подруги ее уговаривают: «Пойдем, Тамара, хочь к речке, смуглые ножки помыть». Она упирается: «Нет мне покоя, – днем об женихе тоскую, по ночам тайный голос меня душит. Никуда не пойду».

Испужались подружки, пошли к князю Удалу. Так мол и так, неладное с Тамарой творится, надо меры предпринять. Князь чичас к

ней, дочка единственная, нельзя без внимания оставлять.

– Что ж, – говорит, – дите... Я мужчина, человек старый, слов настоящих не знаю. Кабы твоя мать покойная была жива, она бы тебя в минуту разговорила. Однако не тужи, достаток у нас, слава тебе господи, не малый, девичьи слезы вода. Надо себя в порядке содержать, а не то, чтобы по ночам неизвестные голоса слушать.

У Тамары, однако, характер твердый, грузинский.

– Я, папаша, резоны ваши понимаю. Совсем я от хозяйства отбилась, вас, старика, без попечения оставляю. Не могу с собой совладать... Пойду в монастырь, а то как бы чего не вышло. Девушка я, сам знаешь, горячая... Лучше вы меня и не отговаривайте.

Три дня хмурился князь, весь ковер протоптал шагнувши, – сына б приструнил, на милую дочку рука не подымается. Пускай, думает, идет. В монастыре хочь честь свою княжескую по крайности соблюдет, Бога за меня помолит... Поперек судьбы сам царь не пойдет.

Снарядил он ее богато, дары в монастырь на десяти верблюдах вперед послал. Дочку в горную обитель сам под конвоем предоставил, чтоб головорезы-чеченцы, не приведи бог, в горы ее в плен не угнали. Народ аховый, наживы своей не упустят.

Живет это она в келейке своей месяц-другой тихо, скромно, лучше и быть нельзя. На рассвете утренняя заря, – по-грузински Аврора, – в окошко всплывает, белую стенку над изголовьем румянит. Чинар сбоку шумит, светские мысли отгоняет; птички повадились крошки клевать. Горы вдали будто мелким сахаром посыпаны, снеговая прохлада от них идет, – в жару самое от них удовольствие. Знай одно: службы не пропускай, об остальном не твоя забота. Чистота, пища легкая, ясные мысли облаками плывут, пей себе чай с просфоркой, будто ангел бестелесный, смотри на горы, ручки сложивши, – боле и ничего.

Однако от черта и монастырь не крепость. Прознал он, само собой, что княжну Тамару в подоблачный монастырь укрыли, ан доступу ему туда нету, – сторож, отставной солдат, по ночам с молитвой ограду обходит. Княжна воску белей все молится да поклоны кладет, – в церкви ли, в келье ли своей глаз не подымает, об земном и не вспомнит.

Изловчился черт, стал ей с вечерним прохладным ветром шепоты свои да поклоны посылать...

– Очнись, княжна... От себя никуда не уйдешь. Ты месяца краше, миндаль-цвет перед тобой будто полынь-травка, – ужель красота в подземелье вянуть должна? Который месяц по тебе сохну, и все без последствий. Все свои дела через тебя забросил, должна ты меня на путь окончательно наставить, а то так закручу, что чертям тошно станет. Себя, девушка, спасаешь, а другого губишь, – это что ж такое выходит?

Стревожилась тут Тамара окончательно. На то ль она в подоблачный монастырь шла, чтоб невесть от кого такие слова слушать... Однако же и ее зацепило. Ева, братцы, тоже, может, по такому случаю погибель свою приняла.

Зажгла она восковую свечу, поклоны стала класть, душой воспарила, а ухом все прислушивается, не будет ли еще чего. А ветер сквозь решетку в темные глаза дышит, гордую грудь целует, – никуда ты от него не укроешься. Куст-барбарис за окном ласково об стенку скребется, звезды любовную подсказку насылают, фонтан монастырский звенит-уговаривает, ночной соловей сладкое кружево вьет... Со всех сторон ее черт оплел, – хочь молись, хочь не молись.

* * *

Видит черт, что полдела сделано, а далее окончательно затормозило. Не юнкер он какой, в самом деле, чтоб по ветру с девушкой перешептываться да во сне ей являться, об любви своей докладывать. Также и он гордость свою имел.

Пустился он, песья голова, на хитрости. Штоф кизлярки украл да отставному солдату, сторожу, который обитель в ночное время с молитвой обходил, – и подсунул. А ночь, милые мои, прохладная была, кавказские ночи известные. Отставному солдату, хочь он и при монастыре состоит, тоже выпить хочется, – не святой. Хлебнул он с устатку, намаялся которую ночь-то ходивши, хлебнул в другой, согрелся, – в кизлярке этой градусов, поди, с пятьдесят было, – к стенке притулился, да и захрапел, как жук в соломе. Слабосильный старичок был, да и от вина отвыкши.

Черту только того и надо. Без обходной молитвы ему чего ж бояться. В трубу втиснулся, к княжне в келью проник, об паркетный

пол вдарился и таким красавцем-ухарем объявился, что против него и покойный Синодальный князь ничего не стоил.

Княжна Тамара так ручками и всплеснула – удивляется:

– Кто вы такой есть и почему в неположенное время в келью мою тайно проникли? У нас этого не полагается.

Тут ей нечистый все как и есть и выложил.

– Я, – говорит, – тебе в сонном видении неоднократно являлся... Я тебе по ночному ветру чувства свои объяснял. Ты, девушка, однако, не сомневайся. Я не из простых чертей, а вроде как разжалованный херувим. Потому за гордость свою и поступки наказание понес. Однако как я теперь в тебя без памяти влюбившись, – все поведение свое переменю, добрей тихого младенца стану, только бы на красоту твою непрерывно любоваться. Тоже и мне пожить по-человечески хочется, – со скуки одинокой давно бы удавился, да черти смерти не подвержены... Сжался, княжна, я тебя во как возвеличу, по всему Кавказу слава трубой пройдет.

Принахмурила Тамара гордые брови, сердце у нее мотыльком бьется, а доверия полного нету.

– Сгинь, говорит, сатана, прахом рассыпся! Почему я тебе доверять должна, ежели вся ваша порода на лжи стоит, ложью сповита? Сызмальства я приучена чертей гнушаться, один от вас грех и погибельная отравка. Чем ты, пес, других лучше?.. Скройся с моих прекрасных глаз, не то в набат ударю, весь монастырь всполошу.

Побагровел черт, очень ему обидно стало, – за всю жизнь в первый раз на хорошую линию стал, а ему никакого доверия. Однако голос свой до тихой покорности умаслил и полную княжне присягу по всей форме принес:

– Клянусь своим страстным позором и твоим чернооком взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной чадрой, что от всей своей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем, и все твои капризы исполнять обещаю даже до невозможности...

Ахнула тут Тамара, видит, дело всерьез пошло, – самого плавного кавказского черта, шутка ли сказать, приручила.

Разожгло ее наскрозь, – в восемнадцать, братцы мои, лет печаль-горе, как майский дождь, недолго держится. Раскрыла она свои белые плечики, смуглые губки бесу подставляет, – и в ту же минуту, –

хлоп! С ног долой, брякнулась на ковер, аж келья задрожала. Разрыв сердца по всей форме, – будто огненное жало скрозь грудь прошло.

Закружился бес, копытом в печь вдарил, пол-угла отшиб. Вот тебе и попиrowал!.. Однако ж дела не поправишь. Душу из княжны скорым манером вынул да к окну, – решетку железную, будто платок носовой, в клочки разорвал. Да не тут-то было. Навстречу ему с надворной стороны княжны Тамары ангел-хранитель тут как тут. Так соколом и налетел:

– По какому такому праву ты, окаянный, сюда попал, почему душу ейнюю тащишь?

– По такому праву, что княжна со мной по своей воле обручилась. А ты где раньше был? Крепость сдалась, что ж ты не в свое дело суешься?

– Нипочем, – отвечает ангел-хранитель, – не сдалась. Она, Тамара, как птенчик глупый, за поступки свои не отвечает. Я за нее ответ держу!.. А с тобой разговор короткий...

Да как хватит его справа налево огненным мечом наотмашь, так во всю щеку шрам ему и сделал... Локтем отпихнул черта и воспарил с Тамариной светлой душой в кавказскую поднебесную высь.

Очнулся черт. Щека горит, смола в печенке клокочет... Двинул в сердцах отставного солдата, что под руку подвернулся, вдоль спины, так что с той поры на карачках солдат до конца жизни и ходил.

Взмыл к тучам и прочь с Кавказа навсегда отлетел, только молоньи хвостом за ним, будто фейерверк, сиганули...

В Персию, говорят, переселился, потому там народ более легкий, да и девушки не хуже грузинских. Может, и взаправду остепенился, какую хорошую за себя взял, ремесло свое подлое оставил и в люди в свое удовольствие вышел. Кто их там, чертей, разберет, братцы...

С колокольчиком

Папашу моего в нашем округе каждый козел знает: лабаз у него на выгоне, супротив больницы, первеющий на селе. Крыша с накатцем, гремучего железа. В бочке кот сибирский на пшене преет, – чистая попадья. Чуть праздник, – в хороводе королевича вертят, – беспрерывно все у нас рожки да подсолнухи берут.

По делам прилучится куда папаше смотаться, не то чтобы в телеге об грядку зад бил, мыша пузастого кнутовищем настегивал, – выезжал пофорсистее нашего батальонного. Таратаечка лаковая, передок расписной, – дуга в елочках, серый конек – вдоль спины желобок, хвост двухаршинный, селезенка с пружиной... Сиди да держись, чтобы армяк из-под облучка не ушел... Кати, поерзывай да вожжи подергивай. Колокольчик под дугой, будто голубь пьяненький, так и зайдется. С амбицией папаша ездил, не то чтобы как...

Покатил он как-то в уездный город соль-сахар закупать. Пыль пылит, колесо шипит, колокольчик захлебывается. Только в городок вплыл, ан тут на первом повороте у исправникова дома и заколодило. Ставни настезь, новый исправник, – бобровые подусники, глаза пупками, – до половины в окно высунулся, гремит-кричит:

– Стой! Язви твою душу... Аль ты, мужицкое твое гузно, не слышал, что я простого звания людям форменно воспретил по городу с колокольчиками раскатывать? Подвернуть ему струмент!.. На первый раз прощаю, на второй – самого в оглобли запрягу...

Выскочил тут стражник, холуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел, – смолкла пташка. Обидно стало родителю, аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь: поев крапивки, поскреби в загривке... Маленький начальник страшной сатаны. Повернул он с досады таратайку, ну ее, соль-сахар, к темной матери, – взгрел коня, вынесся за околицу... Скажи на милость! Что ж, папаша мой, Губарев, патенту за лабаз не платит, пар у него свинячий вместо души, зад у него липовый, что ли, чтобы он не смел по городу с легким колокольчиком проехать? Чай, и в Питере закону такого нету, – хочь соборный колокол к дуге подвяжи, ежели капитал тебе позволяет...

Летит папаша по столбовой дороге, коня шпандорит, направление к станции держит. Про село свое и думать забыл, до того его амбиция распирает. Докатил до водокачки, вожжи работнику бросил.

– Вертайся, Сема, домой! Лабаз на три дня замкнешь, пока я в Питер, туда-сюда, смахаю. Удавлюсь, а не поддамся.

* * *

Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, – и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так, не пивши, не евши, к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать: прямо от вокзалу разворот до Главного штабу идет, пьяный не собьется.

Взошел он в прихожую, старший городской, – медали от плеча к плечу так и прыщут, – спрашивает:

– Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?

– Губарев, братец. К военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный.

– Гу-ба-рев?! Не сынок ли ваш в пятой роте Галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет?

– Он самый. Стало быть, о нем и в Питере известно?

– Как же-с, помилуйте. Ах ты, господи...

Бросил тут городской и пост свой, веничком папашу почистил, да голопом за адъютантом, адъютант за флигель-адъютантом. Повели моего родителя под локти, будто сдобного архиерея, к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, только с досады отворачиваются.

Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает:

– Губарев?! С легким вас приездом... Как же, как же, слышали. Сынок ваш, можно сказать, по параллельным брусьям первый, по словесности первый, запевало знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет... В креслице не угодно ли... Да, может, вы с дороги, с устатку, не перекусите ли чего, пока до разговора дойдем?

Отчего же моему папаше и не перекусить. Харч генеральский, да в дороге он с амбицией, не пивши, не евши, аппетит-то нагулял.

Затрезвонил тут генерал во все кнопки, – денщику самовар заказал, – поворачивайся! Генеральша с закусками вкатывается.

– Ах, ах! Какого бог гостя послал! Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слыхала. Бычок ваш, черненький, поди, совсем в возраст вошел? Сынок-то ваш все отличается... Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, – отделенным назначат...

Известно, женщина интересуется.

Дочка генеральская тут, про сынка услышавши – про меня то есть, – из-за портьерки хрящики высунула, – сухопарая, питерская жилка:

– Ах, мамаша! Не прихватили ли они солдатику этого фотографию? Очинно интересно. Сказывали – чистый шантрет, рост гвардейский, взгляд злодейский... Петрушей зовут...

Ну, генерал тут на них зыкнул, бабий ихний департамент за дверь выставил.

Выпил он с родителем чашек по пяти с кизилевым вареньем, чашки перевернули, генерал и говорит:

– Вали, Губарев! В чем твоя до меня надобность? Кому же и услужить, как не тебе, голубю. По сыну и отцу честь.

Папаша ему доподлинно про исправника да про колокольчик и доложил. Разбульонился тут генерал, не знает, в какую кнопку и звонить...

– Ах он, воевода дырявый! Да что ж он – о двух головах? Тебе, Губареву, да колокольчики воспрещать?.. Который сына такого произвел, пятой роты Галицкого полка, Петра Губарева?.. По всей империи из всех солдат первый. Обдумай сам, гордый старик, – как исправника порешишь, так и будет. Хоть с места его долой, хоть в женский монастырь на покаяние. Воля твоя.

Папаша, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает:

– Мы, ваше превосходительство, не черкесы какие. Без молитвы и комара не убьем. Пусть он, ерыкала, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика.

Чтобы права свои определить. А то он мне завтра, серого звания человеку, и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю.

– Ладно, не воспретит. Как бы сам не расчихался.

Кликнул генерал старшего писаря, настрочил папаше орленую бумагу: хочь по всей империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду.

Папаша полой усы обтер, крест-накрест с генералом почмокался, да на ухо ему кой-чего и сказал: «приписку, мол, на обороте такую и такую нельзя ли сделать по энтому самому делу?»

Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал, – приписал. Выдали тут родителю обратный билет по первому классу, генеральша холодных каклет на дорогу выслала да мне шелковый платочек.

* * *

Доехал папаша благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел, – борода вперед, живот гоголем, – начальник в красной фуражке так глаза и вылупил. Не иначе, как Губарев подряд в Питере взял: на всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж экипажа на мягких рессорах ему не подано...

Зашкандыбал старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудет, а папаше наплевать. Отмахал пять верст, достиг до своей резиденции. Мамаша колобком с крыльца скатывается: ах да ох! Да куда же ты, орел, запропастился? Да чайку, соколику, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли?

Отстранил он мамашу категорически, – кака тут баня... Одно у него в думке: как бы ему скорей исправника выпарить, – а сам-то успеет.

Приказал работнику в тую же минуту Серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал два бубенца – глухаря, которые побасистее, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил. Для перебойного рокота, для густой политуры...

Покатил в уезд. Работник рядом на облучке кишки подобрал, удивляется: в игумны, что ли, хозяина произвели, – экое дело он

затеял. Однако молчит. Потому мой папаша поведения короткого – чуть на него не потрафишь, такую тебе выволочку задаст, что и фельдфебеля родной матерью назовешь.

Подъезжает он к городку, – бубенцы скворчат, колокольчик подзывает. Серый наш так пухом и стелется. Влетел с перезвоном в улочку, перед исправничьим домом чуть попридержался. Трах, – ставни настезь, – его скородие в архалуке весь фасад на улицу выставил, баки по ветру, глаза пьявками, клюквой весь так и залился.

– Стой! Трах-тах-тарарах... Ты что ж, шило тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в печень, – с тройным звоном едешь? Над начальником каланчу строишь? Приказаний не исполняешь? Эй, стражник!

Не успел служивый холуек штанцы подтянуть, из сарая выскочить, ан родитель мой к самой оконнице подкатил да исправнику в баки орленую бумагу и сунул:

– Не шуми, роща, – дубраву разбудишь... Теперь захочу, хочь Серому весь хвост бубенцами изукрашу. Читай, ваше скородие!

Глянул исправник в бумагу, архалук запахнул да кота любимого, который с подоконника лапкой его теребил, так о пол и шваркнул. На ком боле злость сорвать...

А папаша, умильный старик, тут пару и поддал:

– Переверни, господин, бумагу-то. Там для тебя самый смак-то и обозначен.

Обернул исправник папашин патент, а там и прописано – хвост Фоме залупили да репей прицепили:

«Исправнику имярек за то, что папашу рядового Губарева, пятой роты Галицкого полка, занапрасно избидел, – форменно воспрещается с колокольцами по своему городу-уезду раскатывать. Езжай, сукин кот, вглухую».

Съел он блин, даже и в маслице не омакнувши. Как у нас, братцы, говорится: приданое на грядке, а увечье на спине...

Засвистал папаша, покатыл с громом-звоном соль-сахар закупать. Население из окон смотрит, рты настезь, собачки из подворотен, – уши торчком, – удивляются, городовые-стражники в затылках скребут... А папаше с высокого облучка наплевать. Ишь, как колокольчик наяривает:

«Трень-брень, телепень, на нос валенку надень...»

Кабы я был царем...

Встал бы утречком, умылся, чаю с бубличком напился, кликнул бы нашего фельдфебеля:

– Здорово, Ипатыч. Чай пил?

– Так точно, ваше величество. Какой же русский человек утром чаю не пьет?

– А солдаты пили?

– Никак нет. По раскладке в армейских частях натурального чайного довольствия не полагается.

– Вишь ты, Ипатыч. А они, поди, тоже не венгерцы. Русские, не хуже тебя. Отдай чичас через старшего писаря приказ, чтобы каждому солдату утром-вечером чаю полную миску выдавали, хочь залейся. И сахару по четыре куска.

– И по одному хватит, ваше величество. Солдат и вприкуску попьет. А то вся армия в день пуда четыре схряпает, – расход-то какой!

– Эх ты, барабан пузатый. Тебе с ротного котла не то что внакладку, и на варенье с приплодом твоим хватает. А солдатские куски на весах прикидываешь? Сею ж минуту распорядись, чтоб парадный мой золотой портсигар в империалы перелить, – на чай-сахар солдатам, поди, на год хватит. Я в случае надобности и из серебряного покурю.

– Как же, ваше величество, возможно! Ежели к вам шах персидский в гости приедет, – у него портсигар весь червонного золота, алмаз на алмазе, а у вас простого серебра. Несоответственно выйдет.

– Не бубни, Ипатыч. Фазана, поди, видал: зад у него да хвост золотистый, аж солнце перешибает, а что он против русского серого орла может? Ась?

* * *

О полдень ко мне адъютант с докладом заявляется. Кого чином повесить, кого в отставку, какому полку шефские вензеля за отлично-

усердную службу презентовать.

– Ну, это дело не важное. Не горит. Морсу, ваше скородие, не угодно ли?

– Покорнейше благодарим.

– А вы стульчик возьмите. Я хочь и царь, однако обхождения простого... Хочу я, ваше скородие, распоряжение по всем войскам сделать, чтоб солдат под гребенку до голого места не стригли. Пущай каждый с фантазией себе прически делает, кому что по вкусу.

– Да ведь по уставу, ваше величество, не полагается. Другой себе такой дикий чуб отпустит, что всю линию строя испортит...

– А ты мне уставом плаза не коли. Как захочу, так устав твой и поверну. Завидно тебе, что ли? Сам небось паклю себе взбил, девушкам на погибель... Опять же казаки во какие чубы носят, однако ж империи от этого никакого убытка.

– Так то ж кавалерия, ваше величество. Казакам для форсу начес полагается. Для устрашения супротивника...

– А пехота, по-твоему, шиш собачий, что ли? Не перечь, а то прикажу тебя самого под нулевой номер обкорнать, вот тогда, сокол, и поговоришь...

Насупился мой адъютант, морсу не допил, вон вылетел. Ну что ж... Ужели я, царь, у адъютанта на поводу ходить буду?..

* * *

Только я его сбыл, в дверь специальный зауряд-военный чиновник вкатывается.

– Эстафета от шведского короля. Хочет он свою племянницу, природную принцессу, к вашему величеству в гости прислать. Как она себя во всей форме в девицах сохранивши, а вы человек холостой, желает король, надо полагать, вас на брак подбить. Ему лестно, да и нам не зазорно... Хочь мы шведов и били, однако ж держава не последняя.

– Пошли, – говорю, – ты шведского короля на легком катере к шведской матери... Ежели мне в голову вступит, на своей, русской, женюсь. Шведки ихние из себя голенастые, – разве с нашей пшеничной сравнить!

– Никак, ваше величество, невозможно. Министры вам воспретят. Потому им желательно по ходу политики со Швецией марьяжный интерес вести...

– Звание, – говорю, – у тебя полуофицерское, а в голове у тебя тараканы портянку сосут. Мои министры пушай хочь на венгерских козах женятся, а я патреот. Что ты мне политикой козыряешь? Сам-то небось на русской женат?

– Так точно. На Авдотье Кузьминишне. Дамочка из себя очень авантажная.

– Ну вот видишь... А сам ко мне с эстафетой суешься. Разжалую вот тебя в первобытное состояние, – и следа от тебя не останется...

– А может, ваше величество, шведскую-то хочь для просмотра пригласить? Чай, не слиняет? Не контракт же с ней заключать с одного маху... А вдруг она из себя антрекот с изюмом? На сливках вскормлена, обхождение специальное – одним словом, принцесса.

– Дадено, видно, тебе в ручку. Да как же я с ней без языка легкий любовный разговор вести буду?

– Переводчика к вам, ваше величество, из генералов приставят.

– Ну вот, братец, сразу и видать, что, кроме чернильницы да Авдотьи Кузьминишны, ты ни к одному женскому предмету и не прикасался. Какой в таких делах переводчик? Как же это я на гармонии через чужие руки играть буду... Проваливай к псам... Житья от вас царю нету. Ступай на конский завод, там и распоряжайся, – а я когда хочу, на ком хочу и сам обженюсь...

До того он меня, братцы, разбередил, что цельную бутылку мадеры я один без закуски выцедил, дверь на крючок замкнул, под царским балдахином распростерся и до самого обеда, как бугай, провалялся.

* * *

Просыпаюсь. Чего, думаю, закусить-выпить? А ты у меня, стало быть, Сидорчук, в денщиках. Чего ж ты, дурак, заржал? Не в фельдмаршалы же тебя, вахлака, сразу определять.

– Эй, – кричу, – Сидорчук! Индюшка у нас со вчерашнего дня осталась?

– Так точно, ваше величество... Лапки я, действительно, стгрыз, а около гузка еще сладкого мяса наскрести можно.

– Тащи сюды. Экой ты до лапок интересующийся. Да рябиновой новый штоф откупори. Садись супротив, хватим по лампадке. Спешить в летнее время некуда.

– Как же я, ваше величество, при вашей должности выпивать с вами буду? Сокол когда пьет – мелкие пташки за кустами трепещут.

– А я тебе повелеваю. Все, брат, теперь в моей власти. Сегодня ты денщик, а завтра, захочу, – хоть в бабы тебя произведу.

– Покорнейше благодарим.

– Само собой – лохань ты свою чичас настезь и мало что не с рюмкой рябиновую заглотал.

Выпили мы по второй. Две сестры милосердия над нами всерами для температуры машут.

– Что ж, Ваня, – спрашиваю я тебя. – Теперь я царь, пользуйся. Отчего ж для землячка не постараться. Только ты не очень загибай, линию свою помнить надо.

– Да вот, ваше величество, – отделенный, ефрейтор Барсуков, оченно уж себе дозволяет. Вчерась я бляху на поясе не до жару заворонил, так он меня бляхой, извините, в скулу.

– Своротил?

– Никак нет. Я завсегда назад поддаюсь. Да обидно уж очень – давно ли его самого хлестали...

– Ладно. Барсуков, говоришь. Назначаю я его при тебе в денщиках состоять. Вот и отыграешься... Чего регочешь-то? Шиш какой твой отделенный. Захочу, хочь в водовозную бочку его запрягу, ежели он моих солдат почем зря бляхой потчует.

Охватили мы с тобой штоф. Генералы в дежурной комнате покашливают. Да мне куды ж спешить? – чай, все с клязузами, друг под дружку подкапываются. Глянул я в фортку – а на дворе все та же хреновина: солдатики с разгону чучелу колют.

– Эй! – кричу. – Отставить. Будет вам, черти, соломенную кровь проливать. Распускаю всех на три дня, три ночи... Каждому по рублю, а кто из моей губернии, – четвертак прибавлю... Вали в город. Только чтоб без безобразий: кто упьется, веди себя честно, – в одну сторону качнись, в другую поправься.

Рота, само собой, довольна. Сгрудились земляки под окошком, морды красные, орут, аж дворец золотой трясется:

– Покорнейше благодарим, ваше величество! А уже насчет поведения, будьте покойны, – не подгадим... Только позвольте доложить, нельзя ли всем по рублю с четвертаком, а то обидно. Чай, и прочие губернии не хуже твоей...

Вышел я на малахитовый балкон, с ласковостью отвечаю:

– Пес с вами. Мне четвертаков не жалко, сколько захочу, столько и начеканю.

Грохнули землячки, аж железо на крыше загудело:

– Уррра!.. Сейчас тебя, ваше величество, качать придем.

– Нельзя, братцы, должность моя не позволяет... Смирно! В одну шеренгу стройся. На первый и второй рассчитайся. Какой там хлюст на правом фланге разговаривает? Я тебе поговорю! Ряды вдвой! Отставить. Чище делай!.. Сидорчук, вали с ротой за старшего. В случае чего я тебе голову отвинчу... Спасибо, орлы, за службу! С богом!.. Ать-два, ать-два... Дай ножку!..

Упарился я, в кабинет свой взошел. Сестер с веерами к лысой матери отпустил, – тоже и их, поди, женихи в городском саду дожидаются.

Вышел я к генералам, за ручку поздоровался:

– Эк вы, ваши превосходительства, бумаг нанесли, все на нашу солдатскую голову. Ведь вот турки без канцелярии живут, а войско у них знаменитое... На три дня вас распускаю, авось государство не треснет.

Генерал-майорам по два рубля раздал, генерал-лейтенантам – по трешке. Полным генералам, старичкам малокровным, – ни полушки: не пьют, не курят, барышню встретят, – губу на локоть, слюнка по сапогам. Футляр парадный, а скрипка без струн. Куды таким деньги?

– Валите, ваши превосходительства, а я опять сосну. Рябиновая водка нежная. Простой штоф раздавивши, «соловья-пташечку» петъ заставил... А теперь ничего. Счастливо оставаться.

К закату очухался. Изжога у меня, не приведи бог, – будто негашеной извести нажрался. В баню, что ль, сходить, либо для перебоя чувств цымлянского выпить? Однако ж сам себя и осадил: главные законы, думаю, писать надо, а цымлянское от нас не уйдет. Министры, – им что, абы жалованье получать да царю что ни попало подсовывать. Один, скажем, на своем посту находясь, на голой ладони волос бреет, другой, на его должность заступивши, – на той же ладони волос сеет. Только и разницы. А я что ж? Печать к пустой бочке, что ли?

Сел я за столик. Задумался. Перво-наперво, как я человек военный, об войске подумал. Срок службы решил вдвое урезать. В четыре года перебежкам да бегу на месте и верблюда обучить можно, – а русский солдат не идеот вяленный, и двух лет ему с горбушкой хватит... Пусть за сбавку службы население пополняют да землю пашут, чем зря казенными подметками хлопать.

Кавалерию, особливо легкую, – мыльное войско, – начисто срежу... Только пыль от них да горничные пухнут. Однако ж, для царских парадов, по случаю приезда афганских принцев, чтоб плац расцветить, – три легкоженских гусарских полка сформирую. Баба к лошади в линию фигуры вполне подходит, тыл у нее крутой... А ежели по всем швам бляшки да шнуручки, очень ей это соответствует. На войну брать их не буду, – по всему фронту пойдут крутить, ни один солдат в окопах не усидит.

Морячкам тоже фитилек вставлю: год во флоте, год в армейской пехоте. Чтоб, ежели придется, вровень с нами страдали. А то ленточки пораспустили, штаны с начесом, порция усиленная... Война грянет, – он кой-когда, пес, по пустой воде выпалит, а у нас, сухопутных, что ни день – полный урон...

Летчикам – первое место. Серебром обложу, золотом прикрою. В строю каждый гунявый – герой, – не откажешься. А он в одиночку на стальном жуке в неизвестном направлении орудует. Облака да бог, – сам бы Скобелев призадумался.

Насчет фельдфебелей по всем частям приказ отдам: чтобы, когда по ротным школам солдаты над грамотой преют, они бы, жеребцы стоялые, нижних чинов за уши не тянули. Вольноопределяющий только по картон-буквам слогам обучит, а фельдфебель за ухо: «Тяни, сукин кот, гласную букву, чтоб гласно выходило!...» Этак и ушей не

хватит. И чтобы библиотечки ротные везде заведены были. Для чего ж и грамота, ежели в шкапчике, окромя уставчика внутренней службы да жития преподобной Анфисы-девы, – ни боба. Что ж это за модель: печку завели, а топить воспрещается.

Опять же насчет солдатских жен... Я, скажем, холостой, сердце у меня вакантное. А другой, женатый, наплачется. Он тут прыжки да плавное на носках приседание делает, царскую службу несет, а жена евонная в деревне рассусоливает. То семинарист к батюшке на легкие каникулы припрет, – к кому ж ему, как не к солдатке, припасться? Сладкая водочка да стручки, – в рощу пойдут комаров считать, – ан плянь, ей теплым ветром и надуло. Снохачи тоже попадаются лакомые: днем поплавок в ланпадке поправляет, а ночью к рыбке по стенке подбирается. Альбо в город которая сама подастся в черные куфарки, – кто мимо ни пройдет, норовит ее за подол: почем аршин ситца? Как горох при дороге...

Занятие это, ребята, я форменно прекращу. Всех солдаток по уездам велю в одну фатеру сбить, правильных старушек к ним, на манер старших, приставлю. Шей, стряпай, дите свое качай, полный паек им всем от казны. Солдаты ихние в побывку раз в полгода заявляются. Честь честью. А какая против закона выверт сделает, в гречку прыгнет, – в специальный монастырь ее на усмирение откомандировать, чтоб солдатских чистых щей дегтем не забеливала...

В ротах прикажу для легкости прохождения службы всем желающим балалайки выдать либо гармонии, что кому по вкусу. Освещение удвою, что ж после поверки утопленниками по темным койкам сидеть... Дисциплина дисциплиной, а час в сутки и дятлы веселятся. По булке с маком каждому предоставляю, ужели в России пшеницы для нижних чинов не хватит?.. Струнки бренчат, чаек кишки греет, кто грамоте горазд – сонник читает, кто земляку на койке салазки загибает. Унтера в стороне за своим чайничком сидят, глазами зыркают, – а насчет замечаний ни-ни... Потому час не ихний.

А по праздникам я сам все роты самолично обойду. Да чтоб не тянулись, – смотри у меня! Поздоровкались – и будет. Понанесут мои лакеи и жареного и пареного, корзин со сто. За провизией не постою, – не таковский... Барышень городских пригласим, – Сидорчук у нас мастак... Да как грянем в шесть гармоний кудрявую польку, – аж

до офицерского собрания докатится. «Ти-ли, ти-ли, черта брили, завивали хохолок...»

Жалованье вам всем, само собой, утрою. На полтинник в месяц и мышь не разгуляется. Солдат, хочь и нижний чин, чай, из того же ребра сделан. Выпить да покурить и ему хочется, да и мылом-резедой в праздник умыться всякому антиресно. В орлянку опять же на пуговку от штанов не сыграешь...

Да еще вот. Ежели под ружье солдата ставят, полную выкладку на него навьючивают, – чтобы у чистого крыльца его на потеху фельдфебельским дочкам не выставляли! А на задворках. Чтоб тихомирно он наказание отбыл, чтоб в душу ему помету не подсыпали... Обязательно приказание отдам.

А по гражданской части уж я, братцы, и не знаю... Созову разных сословий старичков, – умственные из них попадаются. Так, мол, и так, отцы... Государство наше, поди, поболее Турции, а живем кисло. Голова в золоте, тело в коросте. Дворцы да парады, кумпола блещут, в тياتрах арфянки гремят, гостиные дворы финиками-пряниками завалены, – а у нас в деревне кругом шестнадцать. Леший в дырявом лапте катается, сороковкой погоняет, онучей слезы вытирает... Афганскому прынцу пирожок на золотом блюде показываем, а начинка тараканья. Я царь, мне это досадно. Ежели надо, жалованье мне урежьте, я из солдатского котла попытаюсь, – только полный порядок наведите.

Да засажу я их, чертей-старичков, в отдельный дворец, – пей-ешь, хочь пуговки напроць, – а кругом строгий караул поставлю. До той поры их, иродов сивоусых, не выпущу, пока до настоящей точки не дойдут... Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему ж эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?

* * *

Обдумал я все главные дела, ан тут и ночь накатила. Дежурные сестры перину взбили, горностаевое одеяльце отвернули:

– Пожалуйте, ваше величество. Простым солдатам редька с квасом снится, а вам пушай рябчик в сметане. Счастливо оставаться. Завтра чуть свет щиколладу мы вам миску принесем да сала полфунта. Рубашка ночная у вас под подушкой, потому цари в дневной не спят.

Фукнули они за дверь. Один я, как клоп, на одеяле остался. Тоска-скука меня распирает. Спать не хочется, – днем я нахрапелся, аж глаза набрякли. Под окном почетный караул: друг на дружку два гренадера буркулы лупят, – грудь колесом, усы шваброй. Дежурный поручик на тихих носках взад-вперед перепархивает. Паркет блестит... По всем углам пачками свечи горят, – чисто, как на панихиде. То ли я царь, то ли скворец в клетке...

Хлопнул я в ладони, – из задней дверки денщик Сидорчук появляется, сам, стерва, жует чтой-то. До царской куфни дорвался.

– Пойди в роту. Отдай чичас приказание, чтоб койку мою сюда приволокли. А энта бабья мякоть мне без надобности.

Горностаи за хвост на пол сдернул, перинку носком поддал.

– Неудобно, ваше величество. Фельдфебель и тот на мягком спит. А при вашей должности...

– Ты что ж это, присягу забыл? Без рассуждений! Как двину тебя по мордовской волости, так до самой роты и докатишься. Шарика с собой прихвати, развлекусь хочь с собачкой...

– Да как же, ваше величество, возможно? Разве ж дежурный поручик простого ротного пса пропустит?

– А я тебе свой перстень дам. Покажешь, – так и кобылу пропустит.

Через пять минут, слышу, волокут мою койку. Шарик, обормот, так козлом с радости на часовых и сигает. Вскочил в опочивальню да меня в губы. Эх ты, собачка, друг закадычный!

Расклали солдатики койку, – Курослеп да Соленый, нашего взвода. Столбами вытянулись, глазами меня так и едят.

– Садись, – говорю, – ребята. Чего там. Чичас нам Сидорчук белую головку откупорит. В остатний раз с вами выпью. Садись, не бойся. Я вам повелеваю.

Только это мы расположились, – Сидорчук нам моментальную закусочку соорудил, – сало поджарил, так на сковороде и скворчит... Глядь, из-за двери рука в галунах просовывается, пакет подает.

– Что такое?! Ни днем, ни ночью царю от вас передышки нет. Видишь, люди закусывают. Положь пакет на ларь в передней, авось не примерзнет.

Однако за рукой сам курьер так лапшой в щель и тянется.

– Спешно, секретно, в собственные руки, – прочитайте от скуки. Расписание занятий вашему величеству на завтрашний день.

Принял я бумагу, водку с досады пробкой заткнул, чтоб градус не выдыхался. Курьеру на чай гривенник дал, – человек подначальный: хочь бешеную собаку ему за обшлаг сунь, – обязан доставить.

Вскрыл я конверт, а там скоропишущей машинкой цельная колбаса отбита, лопатой не проворотишь:

«В семь утра – в манеж гусарскую фигурную езду смотреть; в восемь – дагестанскому шаху тяжелую артиллерию показывать; в девять – юнкарей с производством поздравлять; в десять – со старым конвоем прощаться; в одиннадцать – свежий конвой принимать; в двенадцать – нового образца пограничной стражи пуговицы утверждать; в час – с дворцовым министром расход проверять; в два – подводный крейсер спускать; в три – греческого короля племяннику ленту подносить...»

Да два парада гвардейских, да один армейский, да вечером бал, – бык с елки упал! – Турецкий посол за моего конвойного есаула троюродную внучку отдает... Анчутка вас задави! Дале я и читать не стал. Дрожки без колес, в оглоблях пес, – вертись, как юла, вокруг овсяного кола...

Подошел я к царскому телефону, шарманку повертел, снова зауряд-чиновника вызвал:

– Дзынь-дзынь. Царь говорит. Реестр я ихний получил, бабку их под каблук... А что мне будет, ежели я наряда этого не исполню?

– Никак невозможно, ваше величество. Солнце целый день по небу бродит, тоже много чего зря освещает. Не откажешься.

– Да когда ж при таком расписании я настоящее исполнять буду?

Слышу я, усмехается он, стрекулист, по проволоке, шершавым голосом с почтительностью отвечает:

– А может, энто по реестру – настоящее и есть? По всем странам один преysкурant. Поперек койки, ваше величество, не ложись, – а то ножки замлеют...

Плюнул я в трубку, к землякам отошел:

– Ну что ж, землячки, выпьем... Пошлины взяты, товар утонул. Дело энтó еще обмозговать надо.

Скука-тоска меня распирает, – аж сало горчит... Допили мы сороковку, не пропадать же царскому добру. Походил я по ковру, жука майского, что сдуру в царскую опочивальню залетел, в окно выпустил... Ан тут меня и осенило:

– Тащи, ребята, койку обратно. Простите, что зря потревожил.

«Что ж, – думаю, – власть моя еще при мне. Не все карты биты, один козырь остался. Авось отыграюсь...»

Сел за столик да и стал приказ писать: самого себя в рядовые приказал разжаловать, да в свою роту тую ж минуту откомандировать. А за беспокойство повелел себе из царского сундука сапоги на ранту выдать. И сразу ж, братцы, точно утюг отрыгнул, – легко мне стало прямо до невозможности...

Вот, можно сказать, и поцарствовал. Как у нас говорится: нашел леший клубок, а взять убоился...

Корнет-лунатик

Кому что, а нашему батальонному первое дело – тиатры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на Масленую представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников-плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие – смотри-любуйся, в чужой котел не суйся.

Само собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики коротки. И вообще, жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка...

* * *

Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-молнии горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями – солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают – интересно.

А на помосте – кипит... Вольноопределяющий – подсказчик из собачьей будки шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки назубок раздраконены, аж сам батальонный удивлялся. «Ах, – говорит, – и сволочи у меня, лучше и быть нельзя».

Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто служающим половым-шестеркой. Бабы рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно... Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки, год с ним отделенный бьется, – ни с места. А тут так райским перышком и летает, – ручку в бок, бровь в потолок, откуда взялось...

А всех чище вестовой батальонного командира, Алеша Гусаков, разделявал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли хрену ей с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила... Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж... Пожевать да выплюнуть. Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился – только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:

– Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно.

Чистая камедь... Как развязка-то развязалась, – барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, – прямо к полковому командиру рыло поворотил, – смелый-то какой, сукин кот... Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавеску с обеих сторон стянули, – плеск, грохот, полное удовольствие.

Ну, тут батальонный по-за сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:

– Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, чичас бы тебя на свой счет в Питербург на императорский театр отправил... В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили...

* * *

Камедь отваяли, вертисмент пошел. Каждый, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке «Коль славен» сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного первой роты кота показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается – благородство свое доказывает. А как в барабан Бородулин грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю ее, как есть, с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька влез, Бородулин перед ним церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, – парад принимает. Так все и легли...

Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышь попала... Полковница наша в первом ряду так киселем и разливается, только грудку рукой придерживает... Кнопки на ней все прочь отлетели, до того номер завлекательный был. Потом то да се, – хором спели с присвистом:

Отчего у вас, Авдотья,
Одеяльце в табачке?

Гусаков за Авдотью невинным фальшщетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще... С припеком.

Батальонный только за голову хватается, а некоторые барыни, – ничего, в полрукава закрываются, иначе не уходят...

Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись, окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал. «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете». И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный евоный через три квартала жил, – дома, не торопясь, из юбок вылезать способней...

* * *

Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет-похрустывает, снег под им так ласточкой и чирикает.

Глядь, из-за мутного угла наперерез – разлихой корнет, прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает... Откуль такой соболев в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает...

Разлет шагов мухобойный, – раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал, – а, между прочим, и не так уж склизко.

Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.

– Виноват. Напоролся. Куда ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас папаша-мамаша в такой час одну в невинном виде оглушают?

Ну, Алешка не сробел, в защитном дамском виде ему что ж.

– А что, – грит, – мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю театра... И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются...

Корнет, само собой, еще пуще взыграл.

– Ах, ландыш пунцовый! Да я что же. Сироту всякий военный защищать обязан... Грудью за вас лягу.

Алешка тут, конечно, поломался:

– Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая.

– Ах, боже ж мой... Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?

– За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой.

– Скажи, пожалуйста... В самый раз по дороге.

И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят.

Видит Алешка – дело мат. Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнет за плечами... Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.

Испужался солдат, плечом деликатно дверь придерживает.

– Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушедши. С минуты на минуту вернется, он с нас головы поснимает.

– Ничего. Старички, они долго парятся. А насчет головы, не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.

И в дверь, как штопор, ввинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит, зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце... А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако простой солдат, – корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь...

Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вяленный, разоблакаться стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул...

Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимопроходящих... Шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает:

– Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы бы рядом со мной присели. На всякий случай... У меня с вами разговор миловидный будет.

Пятится Алешка задом к дверям, будто кот от гадюки, за портьерку нырнул, – и на куфню. Дверь на крючок застебнул, юбку через голову, – будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется.

«Пронеси, господь, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хочь головой бейся...» Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.

А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в нем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках... Поди, плечики пошла надушить, дело женское.

Глянул он в уголок – видит на турецком столике чуть початая полбутылки шустровского коньяку... С колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. «Клю-клю-клю...» Тепло в кишки ароматным кипятком вступило, – какие уж там девушки. Да и давешний заряд немалый был.

Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет, – дело женское. Ну и хрен, думает, с ней. И не таких взнуздывали.

Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками посучил. Будто в коньячной бочке черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жернов – камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.

* * *

На крыльце калошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит середь ночи денщика будить... Да и без того Алешка сегодня в тياتре упарился.

Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет-покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал – лампу оставил. И храп этакий оттудова заливистый, должно, ветер в трубе играет.

Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер – отшатнулся... Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки, валяются... А на отомане под евойной буркой живое тело урчит... Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродясь не было... Что за гусь скрозь трубу в полночь ввалился?

Поднял он тишком край бурки, – личико неизвестное. А на корнета свежим духом пахнуло, – потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:

– Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчаса похраплю...

Но тут батальонный загремел:

– Какая такая я вам душечка?! По какому такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!

Да бурку с него на пол.

Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил... Равновесие поймал, ручки по швам и хриплым голосом в одних носках выражает:

– Извините, за-ради бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?

– Кому я, псу под хвост, дядя?.. Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава Создателю, подполковник Снегирев, еще по потолку пятками не хожу. Кто вы такой есть и почему я вас под своей буркой как подброшенного младенца нашел?

Зарумянился корнет, однако вылезать-то из невода надо.

– К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления. Все честь честью. Потому как на вокзале, по случаю заносов, застрял, – сразу к вам ввалившись, на отомане и заснул. А насчет намерений ничего у меня не было. Оне девушки хладнокровные, даже до невозможности.

Рассвирепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:

– Да вы что ж это, корнет, со мной в чехарду играете?.. Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких надсмешек не дозволю. Да, может, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу сбрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю... Эй, Алешка!..

Почернел гость залетный в лице, ан тут не взовьешься. Потерял голову – поиграй желвачком. Однако сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так, занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил, – наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.

Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:

– Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в этом разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Горниста за тобой спсылать, что ли?

* * *

Является, стало быть, Алешка. В темном углу у портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой.

Батальонный ему форменный допрос делает:

– Дома был все время?

– Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.

– Роба у тебя почему в саже?

– Самоварчик для вашего высокородия ставил... В трубу дул, а оттедева от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?

– Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?

– Так точно.

– Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.

– Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать?

– Не лезь, рукозуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?

– В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны либо каклетки со сладким горошком разогреть?

– Погоди греть, как бы я тебя сам не взгрел... А вот теперь я тебе расскажу. Дверь я ключом сам открыл, – была на запоре. Понял?

– Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.

– Так-с... Взошел в кабинет, ан у меня на отомане под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?

– Никак нет. Замочную дырку я завсегда с унутренней стороны бляшечкой прикрываю...

Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел, – сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.

– Так-так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешан. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком, – чудом тут пахнет.

– Не могу знать. Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвоьте разъяснение сделать.

– Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.

– Весной, ваше скородие, случай был: полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутились. Изволите помнить?

– Ну-с.

– Сняли их честь честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачения. Лунный свет в них играл.

– Ну-с?

– Может, и их благородию таким же манером паморки забило...

Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.

– Ну, это ты, ангел, – говорит корнет, – моей гнедой кобыле рассказывай. Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.

– Да, может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя...

Махнул тут батальонный рукой:

– Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястребя, а зачем неизвестно. Тащи-ка сюда каклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно...

Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава Тебе Господи. А батальонный ему в затылок:

– Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет...

– Виноват, ваше скорodie. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил... Папироски на подоконнике, не извольте искать.

Да поскорее от греха два шага назад и за дверь.

* * *

Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, каклеты на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой собачке руку потянул: гнездо цело, да птичка улетела...

– Однако... И здоровы ж энти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса... Эй, Алешка, гони-ка сюда зверобой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка... А между прочим, корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, допрежь того как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?

– Так точно. По случаю заносов, на вокзале флакона два-три пристроил.

– Конечно. Чего ж их жалеть... А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть? Я по службе вас старше... Сам кобелял в свое время. Валите...

– Так точно. Был грех.

– А в чем она, племянница, одевши-то была?

– В черной тальме. А может, и в белой. Снег в глаза бил, и я, признаться, на раскатах очень заносился... Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры...

Затоптал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.

– Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В тиа́тре она на комедь смотрела... Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку от двух бортов с разлета и попали... Ловко. Эй, Алешка! Что ж зверобой? Протодиакона за тобой спосылать, что ли?

А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервона́чалу так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, – взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими – душа на ладони – и дополнение светлым голосом сделал:

– Запомятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился, – черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет.

Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел, – военный начальник точность любит, а не то чтоб на чудесном помеле корнеты скрозь штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой-рюмке невинный вопрос задает:

– Ну что ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой.

– Так точно. Сужет приятный, да с крючка сорвалось... Руку только нацелился поцеловать, – чуть зубов не лишился. Огонь девка!

Батальонный так и покатился.

– Эх ты, выюнош скоропалительный. Да она ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел... Ручку? Ее ж потому одну доктор из тиа́тра отпустил, что все ее в городе знают... Кто ж на такую вилковатую березу окромя мухобойного залетного корнета и польстится?

Насупился корнет, губу щиплет. Досада... Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.

Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Скрозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто

Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает... Смех его разбирает – вот-вот по всем суставам взорвется...

Бестелесная команда

Шел солдат на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился: ни столба, ни надписи, – мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо аль влево? Видит, под сосной избушка притулилась, сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце, словно бельмо, дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул: ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла.

Наддал он плечом, взошел в горницу. Видит, на лавке старая старушка распространилась, коленки вздела, на полати смотрит, тяжело дышит. Из себя словно мурин, совсем почернела. В переднем углу заместо иконы сухая тыква висит, лапки в одну шеренгу прибиты.

– Здравствуй, бабушка... Куда на станцию поворот держать – вправо аль влево?

– Ох, сынок... На обгорелый дуб целиной-лугом ступай. Пешему не заказано... Да не подашь ли мне, старой, водицы испить. Совсем, сынок, помираю.

Зачерпнул солдат ковшиком, сам все на передний угол посматривает.

– Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?

– Тьфу-тьфу, служивый... Русская я, орловской породы, мценского завода. Да знахарством все промышляла по слабости здоровья. Рукоделье такое: бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать несподручно. Всухомятку молюсь, – на порог выйду, звездам поклонюсь, «Славу в вышних» пошепчу... Авось Господь Бог услышит.

– А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской аль по военной?

– По штатской, яхонт, по штатской. Остуду, скажем, между мужем-женой прекратить альбо от зубной скорби заговорить... Деток кому подсудобить, ежели потребуется. Худого не делала. А по военной что ж... В стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили. А ныне, сынок, сказывают, кулеметы

какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машинкой этакой...

Вздохнул солдатик.

– Ну, бабушка, ничего. На себе поснесем, да вас побережем. Кланяйся родителям в случае чего... В запрошлом году они скончавшись. Будь здорова, бабушка, помирай себе с богом...

Только встал, обернулся, – слышит, у ног тварь какая-то мяучит, о сапог мягкая шуба трется, а ничего не видит. Протер он обшлагом буркалы, – что за бес... Плошка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит-надрывается.

– Ох, – говорит, – бабка! Что же это за наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит...

– А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности с лавки не вставала. Голоден он, чай.

– Да где кот-то, бабушка?

– Плесни, плесни. Экой ты, солдат, надоеда...

Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит: молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки сбивает. Брызги во все стороны... Дрожит плошка, молоко убывает да убывает, глядь-поглядь – само в себя ушло, края подлизаны, даже до сухости...

Обалдел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка.

– На войне был, а пустякам удивляешься. Настой-зелье я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул, – вот и бестелесным стал. Да пусть он так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет.

Загорелась солдатская душа до чужого ковша, – по какой причине и сам не знает...

– Ох, родненькая... Дай-ка мне состава энтого, умора ведь какая... Солдатикам на позиции тошно, тоска смертная. А тут этакая забава... Уж я за тебя в варшавском соборе рублевую свечу поставлю: окопный солдат вроде как святой, – тебе это не без пользы будет.

Закашлялась старушка, зашла, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит:

– Экий ты младенец стоеросовый... Ну что ж, бери, – свои бросили, чужой пожалел, водой попоил. Только смотри, шути да откусывай... Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел: только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку-другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит...

Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку. Перелил, бабушке в пояс поклонился и за дверь – целиной-лугом на обгорелый дуб, к своей станции. Зелье на боку в баклажке булькает – аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь.

* * *

С этапа на этап – докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту появился. О ту пору полк ихний в ближний тыл на отдых-пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало, – винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай.

А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет, соломенное чучело колоть учат: штык по шейку всади, да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает, не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает:

– А что ж, Назарыч, Шарика нашего не видать?

– Не могу знать. Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, амуры, надо быть, тыловые завелись.

Повернулся ротный на подковках, Назарычу занятия предоставил, в канцелярию пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то подсвистывает, Шарика кличет, – в ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку: сидит это солдатик Каблуков, что намерен с отпуска вернулся, на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним, – господи, спаси-помилуй! – пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается.

Дрогнул ротный, а уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался. Дошел до порога, за косяк

ухватился... Стрепенулся Каблуков, вскочил, вытянулся, – а сапог округ него так впрыска и задувает, уши по голенищам треплются, а из голенища, будто из граммофонной дыры: «ряв-ряв!» Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату, – по коленке его хлопает, в руку подметкой тычется...

Побелел ротный, – на елку бы влезть, да елки нетути...

– Ох, – говорит, – Каблуков! Плохо мое дело... Прошлогодняя контузия, вот она когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорей в лазарет свезет... А то, пожалуй, оборони бог, кусаться начну.

Оробел Каблуков, к земле прирос. Однако кое-как губы расклеил:

– Не извольте, ваше высокородие, тревожиться. Сапог натуральный, интендантской кожи. А что он сам летает, будьте без сумленья, собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не заметил я, напужал только ваше высокородие занапрасно.

Выпучил ротный глаза.

– Что ты... окстись... Какая такая бестелесная собачка?

– Да наш Шарик. Я его, ваше высокородие, наскрозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло: виду нет, а в руку взять можно.

Ротный так на сундучок и опустился:

– Ну, Каблуков, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке везти. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Вишь, что война из людей делает.

Однако Каблуков, хоть и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело пахнет. Обсказал все, как есть, про помирающую старуху да про кошкино молоко.

– Я ж, ваше высокородие, против присяги не пошел. Мог в лучшем виде сам себя смыть, стеклянным студнем по всей Расее перекатываться... Поймай-ка у сокола на плече, у бабы под мышкой... Ан к окопной страде вернулся. Вы, ваше высокородие, извольте сундучок ослобонить, я вам чичас все наружу произведу, – от своего начальника какие ж секреты.

Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собачку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл.

– Ишь ты, ртуть кучерявая!.. Ротный армейский цуцик, а насчет водки отворачивается. За пальцы меня хватать? Своего отделенного начальника?! Готово, ваше высокородие, извольте получить.

И действительно... Бабушке твоей Хны-Хны, преподобной Печерице! Сапог сам собой наземь шмякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка Шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку мажет, винный дух соскребывает.

Ротный по сторонам глянул, воздух плотнул, Каблукову в самое ухо выпалил:

– Никому не показывал?

– Никак нет. Я, ваше высокородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярманке и за двугривенный такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнают, кто есть таков Егор Каблуков...

– Эх ты, – говорит ротный, – телятина с косточкой... Смотри ж, чтобы мышь не прознала, чтоб муха не догадалась... Чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы с тобой теперь разделаем... Наград в штабе не хватит.

И пошел к дверям, будто в мазурке поплыл, – один глаз лукавый, другой за-дум-чи-вый...

* * *

Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается: экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется, землячки рты порасстегнули, однако Каблуков ни гугу. Ноги шагают, а рука в затылке скребет: беспокойства-то сколько от старушки этой помирающей произошло.

Переступил он через штаб-крылечко, писаря за столами переглядываются, полковой адъютант, насупившись, ус теребит, – почему, мол, такая секретность? Через него же первого всякие тайности проходили, а тут на-кось, – серый солдат со сверхштатной собачкой, и хочь бы слово... Обидно.

Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на два поворота замкнул, вторую прикрыл, – ох,

милый друг, Егор Спиридонович, что-то будет... И ротный тут же: один глаз лукавый, другой и того лукавее.

Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему, Каблукову, промеж глаз, а ротного налево-кругом на гауптвахту, суток на десять, пока не очухается... Ан сначала-то проверить надо.

– Ну что ж, показывай, голубь. А уж потом и я тебе по-ка-жу...

И зубом золотым скрипнул.

Подтянулся Каблуков. Он что ж, худого не замышлял. Схватил Шарика поперек живота, баклажку вынул, да в пасть ему пропорцию и влил: сгинул Шарик, как дым разошелся.

Повеселел тут солдат совсем, а командира полка аж в малиновый румянец вдарило.

– Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу?

Насмелился Каблуков, снял со стола да бестелесной собачке в зубы. И пошла, братцы мои, командирова фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает...

Перекрестился командир мелкой щепотью.

– Тьфу-тьфу... Простая деревенская баба, кочерга ей под пятое ребро, а какую военную химию удумала...

Глаз у него, конечно, по-иному заиграл: та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал.

– С богом! Валите в мою голову. Только чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры-времени не услышал... Убью!

Обратил Каблуков Шарика в первобытное состояние, – шкалик-то с собой прихватил, – и за ротным на вольный воздух выкатился.

А ротный так и кипит. Чичас через фельдфебеля десять отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, – очень это по диспозиции способно было. Выстроились молодцы, один к одному – хочь в Семеновский полк в первую роту – и то не подгадят. Разведчики рьяные – блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят.

Про помирающую старушку ротный им, само собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять, – по нечистой линии сам Скобелев сдрейфит...

– Вот, – говорит, – львы, слыхали небось, – аэропланты теперь наши в краску-невидимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособлять начали. Глушители то исть. Фыркнет он в небо, – ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза... Ан теперь в главном штабе у нас новую вещь удумали... Состав такой безвредный один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит, – ни ногтей, ни пупка, будто столб воздушный на невидимых подметках. Поняли, львы?

– Так точно, поняли. А как же опосля, ваше высокородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены-дети. Неудобно по домашности...

Усмехнулся ротный.

– Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает, опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да и я ж с вами... Из приварочной экономии командир всем по десяти целковых обещал, кроме награды, – да и я от себя прибавлю... Подошвы войлоком все подшили?

– Так точно, подшили.

Повеселели львы. Да и Каблукова взмыло: ишь ты, с какой малости такое дело развернулось... А насчет доктора, может, ротный и правду сбрыхнул: доктор этот в мирное время, может, в орловском земстве служил, – старушка от него и позаимствовала.

– Ну, Каблуков, – говорит ротный, – действуй... Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам-гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель.

– Не извольте тревожиться. Обмундирование я, ваше высокородие, спрысну. Уж насчет этого сам призадумывался, – однако действует... На Шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь-дерево нипочем не поддается. Старушка-то недоглядела...

Сверкнул ротный глазом.

– На кой ляд нам винтовки! Не в них в этом деле сила... Только, ребята, друг дружку на аршине дистанции бечевками связать надо, а то разбредемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шепотом придется. Господи благослови! Действуй, Каблуков.

Выстроились десять охотников в ряд. Каждому Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему. Спрыснул всех, сам остатки хлебнул... Пронзительный состав...

Скрипнула дверь. В рощице за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, и с детское дыхание не было: на лугу спокой-тишина, пушинку оброни, сама наземь падет и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись, туман вечерний у моста всколыхнулся, – воздух сам с собой разговаривает:

– Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие...

– Я тебе покурю. Попролам перерву, да еще надвое...

– Кто там с правого фланга споткнулся?

– Ничего... Держалась кобыла за оглоблю, да упала. Вали, землячки, дальше...

* * *

Отмахали верст с десять. Притомились солдатики, потому хочь видимости в них не было, однако пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко шли, баба-полька, – из себя медь на рессорах, – руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила... «Иезус-Мария!» Плечо горит, будто медведь облапил, – а на улице никого... Затряслась, подол собрала – и ходу.

Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно:

– Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Востяков, как в тело войду, морду тебе за это самое набью окончательно. Зачем бабу обижаешь?

– Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват. Эх, горе, на веревочке идем, а то занятно уж очень, как в этом самом виде ежели бы подкатиться к ней по-настоящему...

– Я тебе подкачусь... Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере.

У крайних домов на взгорье спохватился ротный:

– А ну-кась, Каблуков. Веревочку я тебе приспущу. Смотайся-ка в лавочку, колбасы возьми конец, а то, кроме хлеба, провианту с собой не прихватили.

– Да как, ваше высокородие, брать-то? Колбаса по воздуху поплывет, купец с перепугу крик подымет, лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел в прорубь.

Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку.

– Порассуждай у меня! Ты, хлюст, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур-гусей слизываешь, ни одна бабка не встрепенется, – а тут учить тебя. Рупь смотри, в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать.

Слетал Каблуков тихо-благородно. Рупь за колбасу, конечно, многовато... Полтинник подкинул, семь гривен сдачи себе отсчитал. Пошли дальше. Собачки ко следам их принимают, воют. Растолкуй-ка им, в чем тут секрет... Камнями кое-как отогнали, – неудобно ж команде по такому делу со свитой идти.

К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи бог. Прожектор кой-где немецкий из речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь... Хоть ты телесный, хоть бестелесный, а ежели сам не видишь, – куда пойдешь.

Свернул ротный командир в бор.

– Ложись, братцы. Пожужим малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили?

– Так точно, – как приказано. Под гимнастерки подоткнули.

– То-то. Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. Верстах в двух от ихнего расположения, это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде скрадем – и не фукнет. Наделаем, львы, делов. Только смотри у меня – ни чихать, ни кашлять... К бабам ихним ни-ни, знаю я вас, бестелесных... Ежели у кого ненароком бечевка лопнет, помни: сигнал – пароль «Ах вы сени мои, сени!»... По свисту своих и найдешь... Из подвигов подвиг, господи благослови.

К сосне притулился, шинельку подтянул – и готов. На войне заснуть – люльки не надо, проснуться – и того легче.

.....

Только это серая мгла по низу по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул округ себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то чтобы львы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности...

Даже смотреть тошно. Веревочка между ими обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный.

Дернул бестелесный ротный за веревочку – хрясь!.. – от команды отделился да как загремит... Хоть и не видать, а слышно: лапа перед ним сосновая так и всколыхнулась. С пять минут поливал, все пехотноармейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает:

– Да как же это, Каблуков, сталося?! Стало быть, состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя...

И пошел опять старушку эту благословлять. Не удержишься, случай уж больно сурьезный.

Вскинул Каблуков глаза, кается-умоляет:

– Ваше высокородие! Без вины виноват. Хоть душу из меня на колючую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась, как колбасу покупал, штоф коньяку заодно спроворил. Старушка-то помирающая, оглобля ей в рот, явственно ж сказала: только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан вот грех какой вышел...

Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье.

– Эх ты, вареник с мочалкой... Что ж я теперь полковому командиру доложу. Зарезал ты меня...

– Не извольте, ваше высокородие, огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели, – состав наш и разошелся. Так и доложите...

Голос за сосной ничего, добрее стал:

– Ишь ты, дипломат голландский. Ладно уж. Только смотри, ребята, никому ни полслова. Ну что ж, давай и мне коньяку, надо и мне слюду бестелесную с себя смыть.

Смутился Каблуков, подал штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции, однако, не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел.

– Ах, ироды... Слетай, Каблуков, на перевязочный, спирту мне добудь хоть с чашечку. А то в этом виде как же ворочаться-то: начальник не начальник, студень не студень...

Благословил этак в полсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.

Солдат и русалка

Послал фельдфебель солдата в летнюю ночь раков за лагерем в речке половить, — оченно фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил лучину, искры так и сигают, — тухлое мяско на палке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, — мяском духовитым не каждую ночь полакомишься...

Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддеть, на вольный воздух выдрать, шасть — кто-то его из воды за сапог уцепил, тащит, стерва, изо всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухватил, — нога-то самому надобна... Мясо живое из сапога кое-как выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит: русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел... Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась.

— Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.

— Пондравился ты мне очень. Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог! Рыбья кровь... Лысого беса я там под водой не видал, — у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой залился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плач:

— Отдай сапог, мымра. На кой он тебе, один-то. А мне полуразутому хочь и на глаза взводному не показывайся... Съест без соли.

Зареготала она, сапог на хвост вздела, – и одного ей достаточно, – да еще и помахивает. Тоже у них, братцы, не без кокетства...

Что тут сделаешь. В воду прыгнешь, – залоскочет, просить не упросишь, – какое ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камушка повернувшись, кое-чего и надумала:

– Давай, солдатик, наперегонки гнаться. Я вплавь, по воде, а ты по берегу – вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то... Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавучую не одолеют?

– Идет, – говорит.

Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, – а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтоб бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустит солдат – трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце – колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и ракита недалече, – только впереди на воде, видит он, вода штопором забурилла и будто рыба чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал, – штык ей в спину! – плещется русалка супротив ракиты, серебряным голосом измывается:

– Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, – бежать бы легче было... Ну, что ж, давай повернем. Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, – в первый раз недолет, во второй перелет, – разницей подавишься!

Достиг до первоначального места, глянул в воду, – так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыба девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

– С легким паром. Что ж серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.

Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, – слышит, под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он

руку, – ах, бес. Да это ж губная гармония, – за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки вразнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя солдат к звонким скважинам,дохнул, слева-направо губами прошелся, – русалка так и стрепенулась.

– Ах, солдатик! Что за штука такая?

– Не штука, дура, а музыка... Русскую песню играю.

– Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду...

Ишь, студень холодный, чего выдумала. Чтоб землякам на погибель солдат же ей и способ предоставил... Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

– Сапог вернешь, тогда, может, и отдам...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.

– Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел... Добыл солдат из кармана леску, – не без запаса ходил, – сквозь гармонь продел, издаля русалке бросил.

– На, поиграй... Я тебе, – даром что чертовка, – полное доверие оказываю. Дуй в мою голову...

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, – глаза так светляками и загорелись. Ан вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела... Зря в одно место дует, – то в себя, то из себя слюнку тянет.

– В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?

– А потому, красава, что башка у тебя дырява. Соображения в тебе нет. Гармонь в воде набрякла, – я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камушку, гармонь в сапог, в самый носок, честно забила, – к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

– Так обучишь, солдатик?

– Обучу, рыбка. Козел у нас полковой дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить... Только что мне за выучку будет?

– Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна добуду?

– Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Мырнула она под кувшинки – круги так и пошли.

А солдат не дурак – леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать – гармонь поперек в сапоге стала... Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.

Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул... Эх, ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее...

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула – полон рот тины, в другой горсти земчуг белеет...

– Примай, кавалер, подарок...

Бросил он ей фуражку, не самому же подходить:

– Сыпь, милая... Да дуй полным ходом к камушку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал – вот он и с прибылью...

Доплыла она, шлендра полоротая, на камушек тюленем взлезла, да как завоет, – будто чайка подбитая:

– Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и...

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

– Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю. Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит... Счастливо оставаться, барышня. Раков, ваших подданных, тоже прихватил, – фельдфебель за ваше здоровье полускает...

Сплеснула русалка лунными руками, хотела было пронзительное слово загнуть – да какая ж у нее супротив солдата словесность.

Армейский спотыкач

Обсмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали, – однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст.

Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеновой винтом кору снял, – ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, – полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит... Окопы словно в темном сне снились, – русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочет, петух домашний штаны клювом долбит, – тоже, дурак, нашел себе власть.

Семейство у солдата было ничего – зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немереное, в праздник – убоина, каждый день чаек. Известно – воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день – со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не позволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердную из редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет – одно удовольствие.

А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжистые, – лапа во все концы, глазом не окинешь. Понизу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, – медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло... Одним словом – дубрава.

Сидит как-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся, – которая овца на солдатское голенище уставится, которая ясеневую палочку понюхает. Забава...

Подсела тут старушка одна знакомая, – черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.

– Что ж, бабушка, – говорит солдат, – внучки твои малинки лесной хучь бы кузовок принесли... С молоком – важная вещь. Уж я бы им пятак на косоцветки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы засушил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским сметкам соответствует.

Пожевала старушка конец платка, головой покачала.

– Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дите – и сам кузнец шагу теперь не ступит...

– Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?

– Эк сказал. На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Каки там медведи... И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной и тот не выдержал.

– Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемежные, – сам от себя не расплодишься...

– А ты говори, да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие... Допрежь того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сук сядет, чуб набок, да и прочь отлетит. Только и всего. Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтной полосы на нас накатило... Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, – покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пушают... Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит, – лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная, – тоже и ей дышать надо, – смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь по малинку...

– Да видал ли их кто, бабушка? Может, попритчилось с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил, да и ходу.

Обиделась бабка, лаптем пыль взбила, – натурально, старому человеку хрена в квас не клади.

– Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, што ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, – при церкви на должностях состоит, – в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Среди бела дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли... Он под куст, а лесовик его за штанцы, – он под другой, а там его невесть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли, гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.

– А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали...

– Тебя не спросился. Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило, – как шкалик называется, только на третий день вспомнил...

– Контузия, бабушка, по-военному это будет.

– Что пузо, что брюхо, – мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да, спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал да черным словом три раза навыворот выругался, – только тем его и отшиб... С неделю опосля того на пятку ступить не мог.

Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.

– Что ж, у вас меры какие принимали?

Заахала тут старушка, раскудахталась:

– Примали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, – чай, сам его знаешь, – уж чего не делал... Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолунье их и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, – да от семи осин, что на Лысой поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средство верное. Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, – говорит, – дело крепко припаяно, ни полшиша они мне беды не сделают...» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые, – военный крючок им не по мерке пришелся... Только это Ерофеич по бережку под ивой переобуваться стал, – глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему, да за жабы: «Ага, сват, сто

шипов тебе в зад, – тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, – так раки к ним со всего озера и выползли... «Эвона, – кричат, – вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит... Дня на три вам, поди, хватит!..» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы мозоль, – на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, – однако случай такой: на мягкой карете не выедешь... Дополз домой, все село сбегалось, – по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий... Вот и сунься. Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.

«Неладно, – думает солдат, – выходит. По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам и слухом о таких делах не слыхал. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распрелеший, в казенное место сунешься – шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут в коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось...»

– Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?

– Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, говорит, это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий – караул кричит. Серая брехня. Да и как вы к Ерофеичу обращались, пущай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил. Обиделся, значит... Да, вишь, брехня брехней, однако ни попадя, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось в былое время одной лесной малины в лето с куль насушивали... Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.

Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни скакал, а у девки дите... Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:

– А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?

– Наблюдалось, ох, наблюдалось... Чай, им в лесу, оголтелым, скучно. Озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет... То калитку с

погоста повивальной бабке на крыльцо приволокут. А намерении у учительши курица петухом пела, срам-то какой. Чай, тоже и у учительши амбиция своя есть... В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, – откуль их нанесло, – тоже осатанели. Чистые фулиганы... А вот еще случай был... Да ну тебя, сынок, к богу, – не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, невесть что померещится... А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пушают. Вот и дождались.

Доставил солдат божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в сам-деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?..

В пустую кадку постучи, пустота и отзовется, – ан солдатская голова не без начинки, братцы... На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке доказнице. Брякнул в оконце. Выснула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.

– Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено.

– А ты, мать, поищи, – найдется. Бочоночек самогону, ведра в два, уважь, выкати. За мной не пропадет.

Всполошилась она, пескариком затряслась, – один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:

– Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромя толочна да квасу, нет у меня и припасу.

Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:

– Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я. Для общества, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу... Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.

Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье, – бочоночек выволокла, – жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запищало. Час

ранний, ни на одного не наскочишь... Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать: суставы-то у него еще во как действовали...

Докатил до опушки, одежду с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал – свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому на голову, вместо фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.

Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда ж запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!

Покатил он бочонок в чащу, палочкой подпихивает, козлом подрыгивает, сам пьяную песню поет:

А кто там идет?
Леший бородач.
А что ен везет?
Чертов спотыкач...

Слышит – по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб невесть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.

Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает, – а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в доньшко – на весь лес дробь прокатилась.

С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить, – животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вокруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее, – старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, – хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, спрашивает:

– Ты, милачок, откудава прибыл?

– Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пуши... У вас сдесь погуще.

– А в бочонке у тебя что за узвар?

– Армейский спотыкач, ковшик выпил – дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил.

Леший рот растянул, а на животе у него глядь – второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.

«Ловко, – думает солдат, – энто у них приспособлено...»

– А почему от тебя, – спрашивает пузастый, – пехотным солдатом пахнет?

Лешие, конечно, не потеют, – солдатский-то букет ему в нос и бросился.

– Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах... Да вы не скулите. Вона у пнядохлый крот, вы ноздри натрите, – авось отшибет.

Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает, – так они кругом на хвостах и заелозили.

– Ну, что ж, подноси, – говорит старший. – Чего дразнишь? А то мы тебя и в компанию свою не примем...

Как гаркнет солдат:

– Встать! Становись в затылок... Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых...

Потянулись они к бражке, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет – кому в рот, кому в живот, або вошло.

И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до кончика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, – будто кошка на шомполе над костром надрывается...

А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет... Кто, в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует...

Назюзились они окончательно. В кучку сбились, друг с дружкой, как раки, посцеплялись – шерсть-то у них дремучая, – покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел.

«Запалить их, что ли? — думает солдат. — Спирт внутри, пакля наружу, — здорово затрещит». Однако ж не решился: ветер клочья огненные по всей дубраве разнесет, — что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод, леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскоряках, видимость одна, а настоящего весу нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.

Подбавил он в невод камней — для прочной загрузки — да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и захлюпало! Прощай, землячки, — пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса...

Обмыл с себя солдатик паклю да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамывает, душа вприсядку скачет... Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь, «Георгия» дают, а тут за этакий мирный подвиг и пуговкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам...

Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеновой палочкой:

— Сходись старый да малый! Бог радость послал: грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся...

Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, — дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются: солдат трезвый, а слова пьяные.

Однако как он про свою победу-одоление рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, сроду он не брехал, — не такого покроя.

— Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич на что мастак, и тот, как колючей проволоки наплотавшись, из лесу задом наперед еле выполз.

Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.

— Военный секрет, милые. Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете, — в ней главная суть.

Тронулось тут все население беглым маршем в лес, – и про обед забыли. Только платки да портки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.

* * *

Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались...

Покосился он тут вбок, – Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжело дышит, будто старшину в гору на закорках везет... Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:

– Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?

– Да я, папаша, не для-ради хлеба, – ради удовольствия. Хлеба у нас и своего хватит...

– Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет... Правил ты настоящих не знаешь...

– Никак нет. Умственности, действительно, за собой я не замечал.

– Да как же ты все-таки распорядился? – спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушми шевелит, – вот-вот солдату в рот вскочит.

– Очинно просто. Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили: кто такой да откуда?. А я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерье знахаря Ерофеича!» Перепугались они насмерть, имя-то твое услышавши, – да как припустят... Поди, верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.

Насупился Ерофеич, глазом косым повел – нож в сердце!

– Н-да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.

– Спасибо, папаша. Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю, да им же обратно и посылаю...

Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. Голос он переменил, да этак жалостливо к солдату и подсыпается.

– Ну да ладно... Натурально каждый свой секрет про себя держит. А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить, – уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средства у тебя нет ли какого, очень уж обидно.

Поиграл солдат сапогом, плечом передернул.

– Средства и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной непутем, сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу бог приведет невредимо с фронта воротиться, отполосует он тебя, рябого кота, кнутом – вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь.

Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил – аж портки у него затряслись. А солдату что ж. Чурбашку из-за пазухи вынул, да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким согласишься?

Муравьиная куча

I

Призывает король своего единственного сына.

– Что ж, Вася, девятнадцатый тебе год, а никаких поступков от тебя не видно. Либо зайцев травишь, либо на золотой балалайке играешь. Ни с чем несообразно. Проехался бы ты по чужеземным королевствам, посмотрел, как люди живут, где какие распорядки. Авось пригодится... Я уж сутулиться стал, твое время подходит. Поезжай в партикулярном виде, будто ты обыкновенный купеческий сын, по торговой части к делам принохиваешься. А то, если королевичем заявишься, прием известный: балы да охота – все та же позолота. Ничего настоящего и не увидишь... Слугу себе выбери из дворцовой стражи – там народ дошлый. А для направления ума дам тебе генерала. Есть у меня один на примете, до того умный, что и вакансии для него у меня в королевстве не нашлось. В штатской форме с тобой и поедет. Поди в баню, попарься перед дорогой, да и с богом...

Королевич отцу не перечит. В караульное помещение побежал, на ноге повернулся, солдата, который для забавы котенка в подсумок запихивал, в сад поманил.

– Глаза у тебя, Левонтий, с искрой... Я веселых очень обожаю. Папаша меня в заморские страны в вояж спсылает. Хочешь со мной?

– Так точно, Ваше Королевское Высочество. Как лист перед травой.

– Ты, – говорит королевич, – насчет листа брось. По службе передо мной не тянись, я тебе воспрещаю. Поедем мы в вольном платье, стало, и разговор промеж нас вольный должен быть. Я – будто купеческий сын, ты – слуга закадычный. И генерал при нас ученый будет состоять. Сбоку припека для умственного намеку. Кислый, черт, не приведи Бог, – один бы я с ним нипочем не поехал.

– Ничего, – отвечает солдат. – Они, как пожилые, по своей части орудовать будут. А мы свой интерес везде найдем, будьте покойны-с.

В коляске поедem альбо верхом?

– Верхом, само собой, веселее. Да, кажись, по купечеству все больше в колясках ездят. Ты уж там собери, что надо, а я пойду в баню помыться. Приходи после меня, я тебе полкотла оставлю...

Управились быстро. Смазал Левонтий колеса, чемоданы сзади прикрутил. Караульному начальнику доложил: еду, мол, в командировку по казенной надобности, заморских воробьев считать. Счастливо оставаться.

Выехали они под вечер потаенно, чтобы лишней огласки не было. Левонтий на козлах сидит, тройкой правит, кнутом над головой свищет – «эх вы, симпатичные!». Да тишком от генерала собачью ножку из рукава потягивает.

Выкатились они за приграничный шлагбаум. Генерал мягкий вяземский пряник покусывает, королевичу мораль читает.

– Первым делом, Ваше Высочество, насчет напитков – ни-ни. Потому в пьяном виде человек главную суть проморгает, весь мир ему вроде питейного заведения представляется, – с рюмкой спознаться, себя потерять. Напиться и в своем королевстве можно... Опять же и по женской части не очень озоруйте. Папаша вас для государственной выучки спосылает, а не то чтобы бабьи хвосты раздувать. Я уж давно с этой позиции отошедши, и ничего, ума прибавил, чего и вам желаю. Примечайте, что к чему надлежит: какое на войсках обмундирование, почем хлеб на базаре, какие ваши товары идут, какие зря по лавкам преют. Кажинный вечер в полевую книжку на постоялом дворе рапортчики свои заносите, я проверку сделаю. Опять же...

Прислушался генерал – храпит с правого боку королевич, аж кони шарахаются. Растолкал он его деликатно, замечание ему сделал:

– Я вам, Ваше Высочество, линию поведения разъясняю, а вы, например, храпите. Хоть я и в штатском, однако ж неудобно.

Извиняется королевич:

– Дорога тряская, слова усыпительные. Как не вздремнуть... Вином я, между прочим, не занимаюсь, бабами пока что не интересуюсь, млад еще, – что ж вы меня только зря растравляете...

Перемигнулся он тут с Левонтием:

– Гони, Левонтий! Что ты там на козлах вожжи доишь. Вишь, город чужеземный под горой показался... Во тьме ни лысого беса не увидим, – что ж я тогда в полевую книжку запишу?

Загремели колеса. Генералу и крышка: на полном ходу не больно поговоришь – либо язык прикусишь, либо слюной подавишься. Нутренности свои на толчках придерживает, в угол притулился, – вылетишь на косогоре, ложками не соберешь.

II

Покрутились в одном городе, завернули в другой. Пиявит генерал королевича, смотреть тошно. То на площадь водит для наблюдения, как казенного вора березовой лапшой кормят, то кирпичи на постройке колупает: снаружи красота, а в середке песок трухлявый, – «у нас не в пример чище». На парад из толпы глазели. Эка невидаль! Равнение держат, а смотреть скучно. Девушки тут некоторые на королевича в вольном платье засматриваться стали, – генерал его плечом заслонил. В полевую книжку и записать нечего.

А Левонтий все при конях да при коляске. С лица посерел – ни уйти, ни напиться, – потому неизвестно, когда генерал с королевичем на постоянный двор с проходки вернутся. Вот тебе и заморские края, – будто с завязанной мордой в тياتре сидишь...

В третье королевство переметнулись. Проснулся это генерал ни свет ни заря, – двужильный пес был, – кликнул Левонтия: «Подавай кофий». А королевич из своего номера знак сделал – «затормозись на минутку».

Задержался Левонтий около койки, смотрит на королевича, а у того голубые невинные глаза в синий стальной цвет ударяют, до того у него сердце кипит.

– Что ж, Левонтий... Так с им тут и возжаться, кирпичи да парады, тетку его в негашеную известь! Придумай, брат, чего-нибудь, как бы нам хочь один день без него позаняться.

– Дело не хитрое, – отвечает солдат, – разрешите безвредный сонный порошок им в кофий бухнуть. В сон их ударит, хочь все бакенбарды по волоску выщипи, до самой полночи не прочухается. Будто судак литаргический!..

– Сыпь! Ты мне подчинен, я тебе приказываю. А то, ежели без передышки терпеть, как бы я его всурьез не ухлопал.

Раз-два, вваливается Левонтий к генералу, чашка на отлете, пар штопором.

Хлебнул тот, по лицу легкий туман прошел. «Горчит чтой-то...»

– Никак нет. Кофий самый генеральский, казанского размолу. Извольте выкушать.

Опростал генерал чашку, хотел было губу обшлагом утереть, да так на диван и запрокинулся. Хрюкнул – и готов. Хоть на блюдо клади...

Стрепенулся королевич:

– Куда ж мы с тобой, Левонтий, закатимся?

– Перво-наперво в лес. Двустволки прихватим, пташек постреляем. В речке искупаемся, умственность-то эту надо вам с себя смыть. Да генеральскую фляжку дозвоьте в ягдташ сунуть. Они хоть и пожилые, а насчет рому мастаки. Выпьем, закусим, а там – что Бог пошлет.

Прикрыли они генерала скатеркой, чтоб мухи его не заели, – и ходу. Лесная плушь тут за постоянным двором и простиралась.

* * *

Шли они, шли, зеленая мгла глаза застилает, дух ядреный. Ни пташки, ни зверя. Заместо зайцев друг за дружкой гоняли, кровь в них взыграла, – из-под генеральской опеки на целый день ушли. Сполоснулись в ручье, выпили, закусили, тронулись дальше. В какую сторону ни сунутся, конца-краю лесу не видно. Стали они сумлеваться, откуль пришли, куда на постоянный двор направление держать? Плутали, плутали, ан тут и лес оборвался, вдалеке в два яруса голубые холмы маячат, по скату то ли туман белеет, то ли овцы пасутся. Глянул королевич в подзор-трубу: по углам, будто сахарные головы, башни стоят, промеж их стена в зубцах белой змеей вьется.

– Эва! Никак крепость, Левонтий? Авось там и дорогу укажут, и коней дадут... Чего зря кружить... Время не раннее. Айда!

Сказать просто, да не так-то и шагнешь. Кругом топь, на зеленый мох ступишь, так по брюхо в болото, как в простоквашу, и влипнешь. Выдрались они на пенек, пообсохли. Экая досада. Ни тропы, ни дорожки. Что ж за крепость такая без подходу?

Воззрился это Левонтий из-под ладони, наземь пал, королевича к себе пригнул: «Нишкни! Вишь там, справа, лиса по кочкам сигает».

Только было королевич за двустволку схватился, чтобы с колена зверя срезать, а Левонтий рукой дуло отвел:

– Не извольте стрелять. Лиса в крепость продирается, должно, у ей там нора под горой... Валите за ее хвостом, ишь, так вымпелом и горит, – авось и мы доберемся...

Стали они с кочки на кочку перепархивать, крепость все явственней обозначается. Только к башне подтянулись, на твердую землю ступили, шась – из ворот бабий взвод с ухватами наперевес налетел, локти незваным гостям прикрутил.

Резонов никаких не принимают, волоком волокут, упирайся не упирайся, – здоровенные бабы были, чистые медведицы. Притащили их к парадной избе, сидит на крыльце строгая девушка – бровь шнурком, грудь ананасом, глаза – лед бирюзовый. Вроде как ихняя царица. Обсказала ей старшая взводная баба, в чем суть. «Заявились людишки, пол мужеский, собой слабосильные. Бают, будто с дороги сбились, а как скрозь топь прошли, и сами не знают».

Усмехнулась царица, видит – враг неопасный. Приказала Левонтия пока что в баню посадить, караульную девушку к нему приставить. А королевича на крыльце против себя посадила мотать шерсть. Куда ж его, такого сахарного, сторожить, и сама управится. Сидит Левонтий в бане в полной прохладе, с отчаянной скуки палочку строгают, досада его грызет, аж в глазах рябит. Ишь ты, дело какое! В бабий полон попали, хочь никому и не сказывай.

Караульная девушка на пороге рукавицу вяжет, ухват к лавке прислонила. Из себя кубастенькая, личико просфоркой, плечики – одно беспокойство...

– Эй ты, караул почетный! Как тебя звать-то?

– Таней зовут. А тебе ни к чему. Сиди, коли посадили.

– Да что ж зря сидеть? Не цыпят высиживать? Где у вас, Таня, мужики-то? Грудных ребят кормят, что ли?.. Почему бабы в караул заступают?

– Отродясь у нас мужиков не было. Этого добра не держим. Бабье у нас царство. Сами собой управляемся.

– Ишь ты! А как же у вас, например, насчет пополнения населения?

– Штука какая. Старушки у нас специальные к этому приспособлены... В чужие земли их потаенно спосылаем, они нам малолеток, девочек-сироток, приставляют...

– Ловко! Стало быть, чужими трудами подпираетесь. А как же старушки через топь пробираются? На лягушках верхом, что ли?..

– Зачем через топь. Она непролазная. Подземный ход у нас тайный есть... Да тебе знать-то не полагается. Бес вас поймет, зачем вы к нам припожаловали. Сиди и не вякай.

– Это точно. Государственный секрет проходим выдавать не полагается. Ты, вижу, девушка натуральная... А как у вас, например, насчет пищи?

– Черники поешь. Вон, полная плошка стоит.

– Шут с ей, с черникой... С нее только язык лубенеет. В полон берете, а продовольствие воробьиное. Тоже государство... Ватрушку бы хочь поднесла.

– Какие тебе ватрушки! Творогу да яиц у нас и в заводе нет. Потому мы ничего мужского, тьфу-тьфу, ни быков, ни петухов не держим. А без них куры не несутся, коровы пустые ходят... Овощами обходимся, ягоды у нас да мед, грибов не оберешься. Пожуй вот корочку. Ишь, гладкий какой, авось до утра не помрешь...

Встал Левонтий, палочку в угол швырнул, подошел к Тане, рядом на лавку сел.

– Ты ухвата-то не трожь, арестованному не дозволяется.

– Тоже оружие!.. Ведьмам пятки чесать. А ты, девушка, смотри: видишь над баней гнездо – ласточка живет, птенцов воспитывает. Чай, не одна живет – с мужчиной. Без мужчины с этим делом не справишься.

– Мне-то что. Не я распорядки здешние заводила. Зато без командиров живем. Вот сменюсь, да пойду с бабами в чехарду играть... Тебя как звать-то? Что скучный сидишь?

Подсыпается солдат поближе.

– Левонтием зовут. Некоторые девушки понимающие и Лешей звали... Жук у вас, Танюша, между прочим, по плечу ползет. Дозвольте снять.

– Не замай, черт! И жука-то никакого нет, все врешь. Ишь, как от тебя мужчиной несет.

– Не козлом же пахнуть. Зря хайшь. Рому, Таня, не хотите ли?

– Что за ром такой?

– От бешеного бычка штоф молочка... Хлебните. Вишь, закашлялась, розан какой изумрудный. Да ты что ж отодвигаешься? Я тебе добра желаю.

– Не приставай, охальник! Еще кто мимо пройдет, ненароком в дверь заглянет.

А сама нет-нет, да к Левонтию и приклонится. В новинку ей, стало быть.

– Да ты в уголок пересядь. Здесь в тени способнее. Эх, Таня, Танюша... Глазки у вас, можно сказать, знаменитые. По всем королевствам ездил, таких не видал. Натуральные плазки.

– Да ты все врешь...

– Лопни моя утроба. А ручки... Откуль что берется. Чисто лен бархатный. Ты когда с караула-то сменяешься?

– К закату. Рябая Алена заступит. Злая она, нос конопатый. Ты к ей, смотри, не подольщайся. О полночь мой черед. Зайца тебе принесу жареного.

– Зайцы разве у вас плодятся?

– Да они так, самотеком... Вроде ласточек. Мы тому не причинны... Рубашку мне потом дашь, я тебе стираю... Вот бабы наши баяли, будто все вы, мужчины, хуже чертей. А ты ничего, приятный.

Ухмыляется Левонтий. А сам все жучка на круглом плечике шарит. И шут его знает, куда он, жук энтот, уполз...

* * *

В прочих королевствах время колесом бежит, а тут застопорило: будто в подводном царстве на дне песок пересыпаешь.

Осlobонили Левонтия из банной кутузки, – должности никакой. Хочешь – раков под раковой лови, хочешь – канву из девичьих узоров выдергивай... Пробовал было он баб ратному строю обучать, рукой махнул. Команды не слушают, регочут, кобылы, да и с ухватами какой же строй! Одна срамота. Скомандует «стрельба с колена», – а они крутые бока почесывают да Левонтию миловидные намеки подадут. С поста-то их давно на скоромное потянуло, – держи ухо востро.

Однако он не интересуется. Не такой был солдат... Чего тут дождешься? Капустным комендантом назначат, косу отпусти, да на девок покрикивай. Кабы не Таня, магнит румяный, да не королевич, – давно бы он по лисьим кочкам домой подался: своя дверь – как гусли скрипит, чужая – собакой рычит.

Опять же с королевичем неладно. Пришила его к себе царица, ни на шаг не отпускает. В капоты свои парчовы рядит, кудри помадит. Совсем обабился, хочь в лукошко сажай. Что хорошего. Сам себя разжаловал, из парадных королевичей к бабьей царице в игрушки определился, блох ейных на перине кормит. При таком и состоять обидно.

Чистил как-то Левонтий около парадной избы двустволку, засвистал солдатский походный марш своего королевства... Услыхал королевич, по лицу словно облако прошло, задумался. Ключнуло, стало быть, – вспомнил. Царица к нему с теплыми словами, плечом греет, глазами кипятит, а он ей досадный знак сделал, не мешай, мол, слушать... С той поры Левонтия и близко к крыльцу не подпускали. Определили его за две версты в караульное помещение, дежурным бабам постные щи варить. Свисти, соловей, сколько хочешь...

Три дня варил, словом ни с кем не перекинулся. Бабам досадно, а ему наплевать. Все планы свои раскидывал, – солдатская голова его сто поворток знает. Да все за кухонный порог с отчаянной скуки поглядывает, как дохлую галку муравьи обглаживали.

На четвертый день к вечеру вызывает он через Танюшу королевича на черно крыльцо, манит его в сад, в беседку. Брови принахмурил и страшные слова говорит:

– Беда, Ваше Высочество. Нынче утром я в бурьяне, под караульной башней, штаны латал, бабий разговор ненароком подслушал. Бунтуются они, идолицы, хотят вас на муравьиную кучу в натуральном виде посадить.

Испужался королевич, за поясок схватился: «Как так? За что, про что?»

– За то, про то, что вы ихнюю царицу из седла выбили, все ихние правила порушили. У них устав твердый.

– Да разве ж я ее из седла выбивал?

– Ну, кто кого, где им разбирать. Муха ли к меду липнет, мед ли к мухе. А чтобы вам не обидно было, порешили и ее с вами, спинку к

спинке привязавши, таким же манером остудить... Муравей у них крупный, в три дня и ногтей не останется.

– Вот так поднес! Как быть-то, Левонтий?

– Так и быть. Звание свое природное вспомните, и, между прочим, вы есть мужчина. Капот ноги путает... Знайте, сударь, честь: погрелись, да и вон. Подземельный выход мне через одну девушку известен, костюм ваш штатский я в ихнем чейхаузе выкрал. Надо нам беспрерывно в эту же ночь и бежать.

– Неблагодарно, Левонтий, выходит. Женщину я зря растревожил, а сам в кусты.

– Не извольте огорчаться, мед ваш мы с собой прихватим. Потолкуйте с царицей, что ей слаще: здесь без вас бело тело муравьям скормить либо с вами на воле на королевскую вакансию выйти... Генерал, поди, заждался, землю под собой роет. Папаша без вестей истосковался. Час сроку даю, обдумайте. Тоже и я не безногий, тони, кому охота, а мы на песочек...

Пала темная ночь, все в аккурат по Левонтьеву расписанию и вышло. Объявилась у подземельного хода царица, королевич за ей, в затылок. И Левонтий тут как тут, а сбоку девушка, личность закутана, с узелком.

Всмотрелась царица, всполошилась:

– Ты-то куда, Танюша?

Девушка, само собой, разъясняет:

– Чем я других хуже... Устав и я нарушила, Левонтий подтвердить может. Ужели мне одной за вас всех на муравьиной куче сидеть?

Засмеялась царица тихо-тихо, будто мелкий жемчуг на серебряное блюдо просыпала. Раздвинула на горе куст ежевики, взяла королевича за теплую ручку. Таня огарок зажгла – сгинули. Левонтий за ими вроде прикрытия тыл защищает.

Идет и все петли свои в голове плетет. Теперь, стало быть, королевич главную науку произошел – невесту себе выбрал, не станет, поди, по заморским краям больше трепаться. А генерал, что он супротив может? Его для умственности послали, а не то чтобы после кофия весь день до вечера на диване дрыхнуть. За такое поведение король не похвалит...

Подтянулся он к Тане поближе, на ухо ей разъясняет: «Ты, Танюша, смотри. У нас тоже в королевстве устав строгий. Кто из вашей сестры с кем одним спознался, того и держись. А не то чичас на муравьиную кучу посадят. Поняла?»

Двинула она его локтем под пятое ребро, осерчала: «Отвяжись, леший. И так я, как в тебя, дурака, врезалась, дни-ночи не спала, аппетиту лишилась. Ужель снова из-за вашего брата беспокойство такое принимать?»

Мирная война

За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять – не более двух тамбовских уездов.

Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинке толочно хлебали.

Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак: парад на лужке принять, да кой-когда, – министры ежели промеж собой повздорят, – чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало.

Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.

Сидят они так-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шашки играют, каждый на свою землю поплевывает.

Стража на полянке гурьбой собравшись, – кто в рюхи играет, кто на поясах борется. Над приграничным столбом жучки выются, – какой из какого королевства, и сам не знает.

Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос, – затрубил протяжно, – спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.

– Не ладно, Ваше Королевское Величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке... Ась?

Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.

– Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий крылом сбил, али сам проиграл. Гони дальше...

– Гусь? А энтó что?.. – И с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял. – Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизываешь.

– Я каптенармус?..

– Ты самый. Ставь шашку на место.

– Я каптенармус?! От каптенармуса слышу! – скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул.

Побагровел старик, за левый бок хватился, а там вместо меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, каки там мечи.

Хлопнул он в ладони:

– Эй, стража!

Русый тоже распетушился, кликнул своих.

Набежали, туда-сюда смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем, – бердышей-пищалей давно не носили, потому очень безопасная жизнь была.

Постояли друг против друга короли, – глаза, как у котов в марте, – и пошли каждый к себе подбоченься. Стража за ими: у кого синие штаны – за сивым королем, у кого желтые – за русым.

* * *

Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы – пики куют, мечи правят. Старики из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов моль веничком выбивают, мундиры штопают, – слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.

Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет... Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосья волокут, кому фельшпер прутлом ногу пилит. Забава.

Призадумались короли, однако по ночам не спят, ворочаются, – война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время весеннее, бороться-сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строят, ниток одних на амуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступить никак невозможно: амбицию свою поддержать каждому хочется.

Докладает тем часом седому королю любимый его адъютант: так-то и так, Ваше Величество, солдатишка такой есть у нас завалящий в швальне, солдатские фуражки шьет. Молоканского толку, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный

доклад Вашему Величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никому секрета не открывает. Как, мол, прикажете?

– Гони его сюда. Молокане они умные бывают.

Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом, – даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза, как у кролика, – ан смотрит весело, не сморгнет.

– Как звать-то тебя?

– Лукашкой, ваша милость. «Трынчиком» тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.

– Фуражки шьешь?

– Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу.

– Какую еще лечебницу?

– Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу...

– Скажи пожалуйста... Добрый какой.

– Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утишаешь.

Повел король бровью.

– Ишь ты, Чудак Иванович. А каким манером, ты вот похвалялся, бескровно и безденежно войну вести можно?

– Будьте благонадежны. Только дозвоьте до поры до времени секрет при мне содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.

– Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают... Чего ж ждать-то?

– Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет: в энтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали, – наши, мол, тоже не возьмут... И королевскую большую печать для правильности слова приложите, только всего и расходов.

– Ладно. Однако смотри, Лукашка... Ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут, – лучше бы тебе и на свет не родиться.

– Не изволь пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать...

С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.

Стянулись к приграничной меже войска, – кто пешой, кто конный. Оружия, действительно, как условились, не взяли. Построились стеной строй против строя. Шепот по рядам, как ветер, перекачивается. Не зубами ж друг друга грызть будут... Ждут, чего дальше будет.

Короли, насупившись, каждый на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.

Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.

Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки, круг за кругом, толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены.

Стал Лукашка на пень, ладони лодочкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал:

– Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пушай каждое войско, на своей стороне в затылок стамши, за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку... Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем, и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто... Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пушай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему то есть населению... Ежели господа короли согласны, нехай каждый со своей стороны батист-платочком взмахнет – и валяйте! А чтоб веселей было тянуть, пушай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют. Усе.

Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, осклабились ротные, у солдат – рот до ушей. Пондравилось. Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздухе взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достигают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали... А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: «Не сдавай, ироды, наявивай! Еще наддай!.. Наддай, родненькие, так вас перетак...»

Лукашка клячу свою отпряг, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает, – чтоб обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: «Отставить! Воюешь, так воюй по правилу...»

Вспотели кавалеры, дух над шеренгой – будто портянки в воздухе поразвесили, птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, каждый в свою сторону наддаёт-тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обеих фронтов потрескивают.

Короли и те не выдержали. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился... Музыканты трубы покидали и туда же...

И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке: так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом. Отдышались, озираются... Как быть?

Кличет седой король Лукашку:

– Эй, ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?

А Лукашка громким голосом на всю окрестность, плазом не сморгнувши, объявляет:

– Ничья взяла. Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Каждый король суседское войско угощает. А на завтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.

Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе козлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильоне за свои шашки сели, честно и благородно.

Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, – шаровары-брючки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издаля смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у каждой бабы в подоле нитка-иголка припасена.

Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.

– Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить альбо дом с точеным крыльцом построить?

Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:

— Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соблаговолите лучше, Ваше Здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разоряли. Боле ни о чем не прошу.

Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем...

* * *

Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буеракам разбрелись, — портки полопавшие на воинах пострадавших чинить, — мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число.

Скоропостижный помещик

Случай такой был на осенних вольных работах. Копали солдаты у помещика бураки. Вот, стало быть, в один распрекрасный вечер ворочался солдат Кучерявый на своем топчане в хозяйской риге. Невтерпеж ему стало, надышали солдаты густо, – цельная рота, нет никакой возможности. Дневальный, к нему спиной повернувшись, устав внутренней службы долбит. Ночничок коптит. Чего же зевать? Скочил он тихим манером с койки, шинельку и вещевой мешок прихватил, пошел себе искать покою. Ходил-бродил и забрался в людскую баню, что на задворках стояла. Соломки в угол подбросил, уместился кое-как, притих и дремлет. Блохи огнем калят, да что ж, ужели из-за такой сволоты не спать...

Однако слышит, кто-то в вещевом мешке копается, – мышь не мышь, будто пес лапами скубет. Лунный дым пол заливает. Приклонил солдат голову, видит – зверь вроде древесной обезьяны. Откуль такому в Волынской губернии взяться? Глянул в другой раз, аж сердце зашлось: сверху рожки, снизу копытца, на пупке зеленый глаз горит. Подтянулся Кучерявый, – солдат не кошка, некогда ему пугаться. Левую ладонь мелким крестом закрестил, изловчился и хват за мохнатый загривок. Черт и есть, только мелкой масти, – надо полагать, из нестроевой чертовой роты самый ледащий.

– Ты чего, гад, в мешке шарил?

– Нитки, – говорит, – вощенной искал. Прости, служивый, дьявола ради.

– Зачем тебе, псу, нитки?

– Мышей летучих наловил, взводному бесу на уху. А нанизать, дяденька, не на что.

– Вот я тебе чичас нанижу.

Выудил из кармана трынчик, сыромятный шинельный ремешок, и, ладони не снимая, скрутил бесу лапки, как петуху на базаре. Встряхнул и сел сверху.

– Ндравится?

– Чему ндравиться? Дурак стоеросовый. Пользы своей не понимаешь.

И захныкал.

– Кака така польза? Чего врешь?

– Солдат врет, а черт как стеклышко. Ты б меня отпустил, я б тебе за это исполнение желания, как полагается, сделал.

– Надуешь, кишка тараканья.

– Ну, жди до свету. Может, я днем дымом растекусь, будешь, дурак, с прибылью. Чертово слово – как штык. Не гнется. Ты где ж слышал, чтоб наш брат обещанья не сполнял. Ась?.. А, между прочим, зад у тебя, солдат, чижолый. Чтоб ты сдох.

И опять захныкал.

Задумался Кучерявый. Чего ж пожелать? Сыт, здоров, рожа как репа. Однако машинка у него заиграла, а черт тем часом перемогся, дремать стал, – глаз на пупке, как у курицы, пленкой завело.

– Ладно. Что дрыхнешь-то? Тут тебе не спальный вагон. Сполняй желание: желаю быть здешним помещиком. Поживу всласть, мозговых косточек пососу... Хоть на час, да вскачь. Делай!

Черт лапой пасть прикрыл: смешно ему, да обнаруживать нельзя.

– Что ж, – говорит, – вали... Удалось картавому крикнуть. Это ты, солдат, здорово удумал.

– А куда ж ты настоящего помещика определишь?

– Не твоя забота месить чужое болото. Подземелье у нас за дубняком есть: там и переспит, очумевши. А когда тебе надоест...

– Чего ж тогда делать-то?

– Волос у меня выдери да припрячь. Подпалишь его на свечке – помещик опять на своем отоман-диване зеньки протрет, а ты прямо к вечерней поверке на свое место встрянешь. Понял?

– И козел поймет. Только как бы мне за самовольную отлучку не нагорело. Фельдфебель у нас, брат... шутник.

– Эх ты, мозоль армейский. В помещики лезет, а наказаниев боится. Ну, и сиди до утра, дави мои кости, – хрен сухой и получишь.

Привстал Кучерявый, ладонь с загровка снял. Плюнул ему черт промеж ясных глаз. Слово такое волшебное завинтил, – аж по углам зашипело: «Чур-чура, ни пуха, ни пера... Солдатская ложка узка, таскает по три куска; распяль пошире – вытащит и четыре». Зареготал черт и сгинул.

И смыло солдата, как пар со щей, а куда – неизвестно.

Наутро протирает тугие глаза – под ребрами диван-отоман, офицерским сукном крытый, на стене ковер – пастух пастушку деликатно уговаривает; в окне розовый куст торчит. Глянул он наискосок в зеркало: борода чернявая, волос на голове завитой, помещицкий, на грудях аграмантовая запонка. Вот тебе и бес. Аккуратный, хлюст, попался. Крякнул Кучерявый. Взошел малый, в дверях стал, замечание ему чичас сделал:

– Поздно, сударь, дрыхнуть изволите. Барыня кипит, – третий кофий на столе перепревши.

– Ты ж с кем, – отвечает солдат, – разговариваешь? Каблуки вместе, живот подбери.

– Некогда, – говорит, – мне с животами возжаться. Барыня серчает. Приказала вас сею минуту взбудить. Все дела проспали.

– Как барыню зовут-то?

Шарахнулся малый:

– Аграфеной Петровной. Шутить изволите?

– А тебя как кличут?

– Ильей пятый десяток величают. Каждая курица во дворе знает.

Спугался слуга. Помещик у них тихий, непьющий, – барыня строгая, винного духу не допускала. С чего бы такое затмение?

Влез солдат в поддевку, плисовые шаровары подтянул, сам себе перед зеркалом рапортует:

– Честь имею явиться. Вас черти взяли, а меня на ваше место предоставили. Мурло только у вас не очень чтобы выдающее...

Умываться стал, Илья пуще глаз таращит. Где ж видано, чтобы благородный господин, в рот воды набирамши, себе на руки прыскал и по роже размазывал... Однако стерпел. Видит, характер у помещика за ночь как будто посурьезнее стал.

– Зубки изволили забыть почистить.

– Я тебе почищу, будешь доволен. Полуоборот напра-во! Показывай, хлюст, дорогу, забыл я чегой-то.

Одним словом, взошел он в столовую комнату. Помещение вроде полкового собрания, убранство, как следует: в углу плевательная миска, из кадки растение выпирает, к костылю мочалкой прикручено,

под потолком снегири насвистывают, помет лапками разгребают. Жисть!

За кофием грозная барыня сидит – по столу зорю выбивает. Насупилась. Собой красавица: у полкового командира мамка разве что чуть пополнее...

– Заспался? Заместо кофию сухарь погрызешь песочный. Требуха ползучая. Забыл, что ли, какой ноне день?

– Не могу знать. День обнакновенный, воскресный. Дозвольте вас, Аграфена Петровна, в сахарное плечико... того-с...

Вскипела барыня, плечом в зубы тюкнула, так пулеметным огнем и кроет... Откудова ж Кучерявому знать, что у них вечером парад-бал назначен, батальонный адъютант дочке предложение нацелился сделать. Упаси Господи, хоть из дому удирай, да некуда. А барыня дочку из бильярдной кличет, полюбуюсь, мол, на папашу. Забыть изволил – «жирафлемонпасье»! Может, оно по-французски и хорошее что обозначает, а может, француз за такие слова чайный прибор разбить должен...

Дочка ничего, из себя хлипкая, жимолость на цыплячьих ножках. Покрутила скорбно головой, солдата в темя чмокнула. Нашла тоже, дура, куда целовать.

Одним словом, отрядила барыня солдата перед крыльцом дорожки полоть, песком посыпать. Как ни артачился, евонное ли, бариново, дело в воскресный день белые ручки о лопух зеленить, никаких резонов не принимает. Как в приказе: отдано – баста. Слуги все в город за вяземскими пряниками усланы. Илья-холуй на полу сидит, медь-серебро красной помадой чистит. Полез было солдат в буфет, травнику хватить, чтобы сердце утишить. Ан буфет на запоре, а ключи у барыни на крутом боку гремят. Сунься-ка.

Ползал он, ерзал до обеда, упарился, китайского шелка рубашка пятнами пошла. Домашний пес, медеянский пудель, за ним, стерва, следом ходит. Чуть Кучерявый присядет корешков покурить, тянет его за поддевку, рычит. «Работай, мол, солдатская кость, – знаем мы, какой ты есть барин!»

С пол-урока отмахал, дочка ему в форточку веером знак подает: папаша, обедать. Взыграл солдат, – в брюхе-то, ползавши, аппетит нагуляешь. Взошел перышком. Смотрит, перед барыней гусь с яблоками, перед им – суп-сельдерей из мушиных костей, две крупки

впереди плывут, две сзади нагоняют. Почему, говорит, такое? – Почки у тебя гнилые, мясного тебе нельзя. Супу не хочешь, – моркови сырой погрызи, очень от почек это помогает.

Встал солдат из-за стола, – будто на сонной картинке пирожок лизнул. В плевательную миску сплюнул. «Покорнейше благодарим». Поманил Илью глазом. Стоит, гад, чурбан чурбаном, с барыниной шеи муху сдувает. Сам небось потом все потроха-крылышки один стрескает. Пошел горький помещик с пустой ложкой на кухню. Котлы кипят, поросенок на сковородке скворчит, к бал-параду румянится.

Фельдфебель, кот лысый, расстегнувши пояс, у окна сидит, студень с хреном хряпает, желвак на скуле так и ходит. Посматривает Кучерявый издали на фельдфебеля с опаской; переминается, а сам стряпуху в сени манит: «Выдь-ка, мать, разговор будет». Вышла она к нему, ничего. Женщина пожилая, почему и не выйти.

– Ужели, – говорит солдат, – для-ради своего барина и студня не найдется? Оголодал, мочи моей нет, – кишка кишку грызет.

Не на такую, однако, наскочил.

– И не просите, ваше здоровье. Барыня меня пополам перервет, потому – почки у вас заблуждающие.

Послал он стряпуху, куда по армейскому расписанию полагается, – с тем и ушел. Фельдфебельскую казенную горбушку на кадке нашел, сгрыз до крошки. А за окном солдаты, ротные дружки, в ригу гуськом спешат, котелки со щами несут, лавровый дух до самого сердца достигает, мясные порции на палочках несут. Променял быка на комариную ляжку.

Вертается он мимо барыниной спальни. Слышит, спружины под барыней ходят, крехтит барыня, гуска ее распирает. Поиграть, что ли? Остановился, в дверь мизинным пальцем деликатно брякнул. «Дозвольте взойти? В «акульку» перекинуться, либо так орешков погрызть. Оченно тошно одному по дому слоны слонять. А вы, между прочим, из себя кисель с молоком, хоть серебряной ложкой хлебай. Душенька форменная...» – «Пошел, – говорит, – прочь, моль дождевая. Чтоб я таких слов солдатских больше не слышала!» К дочке в стенку изумрудным кольцом тюкнула и опять слова свои по-французски: «жирафлемонпасье»... Хрен их знает, что они обозначают.

Стащил Кучерявый с коридорного ларя лакейскую гармонь. Обрадовался ей, словно ротному котлу. Пошел к себе в кабинет, на отомане уместился, ноги воздел и только было грянул любимую полковую:

Дело было за Дунаем
В семьдесят шастом году... —

ан летят со всех ног Илья-холуй да стряпуха Фекла, руками машут, гармонь из рук выворачивают. «Барыня взбеленившись, у них только послеобеденный сон в храп развернулся, а вы ее таким простонародным струментом сбудили. Приказано сей же час прекратить!» Загнул солдат некоторое солдатское присловье, Феклу так к стене и шатнуло. Однако подчинился. Видит — барыня в доме в полных генеральских чинах, а помещик вроде сверхштатного обозного козла, — ротной собачке племянник.

Задержал он в дверях Илью, спрашивает:

— Что ж это, друг, барыня у вас такая норовистая? До себя не допускает, никакой веселости ходу не дает. В чем причина?

Лакей форменно удивляется:

— Рази ж вам неизвестно, что имение на ихнее, барынино, имя записано. Характер у вас по этой причине подчиненный. Туфельки на бесшумной подошве надеть извольте-с. Барыня сердает, почему скрип.

— Дал бы я твоей барыне леща промеж лопаток... Давай туфлю-то, рабья душа.

Скидает он с тихим шумом штиблетки на самаркандский ковер. Нагнулся, — слышит от Ильи умильный дух — перегаром несет.

— Что ж, Илья, этак не годится. Я ведь тоже вроде человек. Тащи сюда сладкой водочки да огурцов котелок. Ухнем в тишине, — тетку твою за правую ногу.

— Никак нет, сударь. Барыня меня должности решит. Я потаенно, извините, вкушаю. А вам они нипочем не позволяют. Капли свои почечные извольте принять.

Схватил солдат Илью за белоколенкоровые грудки, потряс и в коридор высадил. Пал на отоман, бородку в горсть сгреб и до самой

вечерней зари, как бугай, пластом пролежал. Авось, думает, на бал-параде отыграюсь...

* * *

Вечеру снарядили солдата по всей форме. Сапожки лаковые на ранту, поддевка новая, царского сукна, кисть на рубашке алая, полтинник, не меньше, стоит. Набрался он духу, сунулся было в дверях с ротного командира шинельку стаскивать. Однако барыня зашипела: «Ты что ж, денщик, что ли? Фамилию свою срамишь. С дам скидавай, а с господами офицерами и Илья управится». Ротный ему лапу сует, здоровкается, а солдат-дурак руки по швам, глаза пучит, тянется. Кое-как обошлось. Идут в зальцу. Начальства этого самого, как в полковой праздник. К закускам табуном двинулись, графины один другого пузастее, разноцветным зельем отливают.

Насмелился солдат, – в суете да с обиды и мышь храбра, – дернул рюмку-другую. С полковым батюшкой чокнулся, хоть он и не офицерской линии, однако вроде вольного человека. Хватил по третьей, – барыне за адъютантовой спиной подмигнул: сторонись, душа, оболью. Четвертую грибком осадил. От пятой еле его Илья отодрал, – не жаль себя, да жаль водочки... Кругом народ исподтишка удивляется: ай да помещик, ужели барыня на его имя имение отписала? Ишь хлещет, будто винокуренный завод пропивает.

Однако укорот ему тут барыня сделала. Посадила с собой рядом за стол, по другую руку – ротный. Прикрытила малого на короткую цепочку. Сама его в бок локтем, каблуком на мозоль давит, глаза зеленые, того и гляди пополам перекусит. Ротный его про здоровье спрашивает, насчет заблуждающей почки, а он, словно за чуб его бес поднял, вскочил да гаркнул по-солдатски:

– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие.

Гости, известно, ухмыляются: разнесло, мол, помещика, – рот нараспашку, язык на плече...

Осадила его барыня на задние ноги, аж шароварный хлястик лопнул. Кругом пьют-едят, сосед соседке кренделяет. Один солдат как пес на аркане. Только во вкус вошел, робость монопольным винтом вышибать стало, ан тут и точка.

Меж тем господин полуротный супротив сидел, догадался: «Воды, – говорит, – не угодно ли? Потому у вас на лице сердечная бледность».

Накапал ему с полстакана. Поднес Кучерявый к усам: хлебной слезой так в душу и шибануло. Опрокинул на лоб, корочку черную понюхал, сразу головой будто выше стал. Барыне сам на мозоль наступил, в бок ее локтем двинул... Песню играть стал, с присвистом ложками себе по тарелке подщелкивает:

На полянке блестит лужа,
Воробьи купаются...
Наша барыня от мужа
В полдень запирается.

Катавасия тут пошла, грохот. Барыня авантажной ручкой до солдатской морды добирается: оконфузил, гунявый, при всех, да и дочке карьеру того и гляди перешибет. Ротный ее оттаскивает, полковой доктор сонными каплями прыщет. Еле угомонилась. А тут дочка для перебоя на фортепьянной музыке танец вальц ударила, завертелись кто с кем. Солдат не зевает, полынной в суматохе в проходном закоулке хватил, – хмельной клин в голову себе вбил. Ротного матушку, полнокровную, сырую старушку, обхватил и давай ее почем зря буреломом вертеть, как жернов вокруг пушки. Солдатские вальцы ломают пальцы... Насилу отодрали.

Разбушевался Кучерявый. По ломбардному карточному столику ляпнул – доска пополам.

– Кто здесь хозяин! Я! Построиться всем в одну шеренгу. На первый-второй рассчитайсь!.. Ряды вздвой! Желаю всем приказание объявить...

Ну, тут некоторые военные насупились: простой помещик, вольная личность – офицерским составом командовать вздумал...

Собрались кольцом, дым ему в глаза пускают, пофыркивают. А он как рывкнет:

– Желаю, чтобы всю роту чичас же сюда предоставить! Всем солдатам полное угощение! И чтоб жена моя, барыня, при полном параде русскую перед ими сплясала. Живо!

Тут его окончательно и пришили. Справа и слева под ручки, как свинью на убой, поволокли. Елозит он ногами, упирается, а барыня сзади разливательной ложкой по ушам да по темени. Насилу полковой доктор уговорил, чтоб полегче стучала, потому при блудящей почке большой вред, ежели по ушам-темени бить.

Вдвинули его в кабинет, наддали пару, так до самого дивана на собственных салазках прокатился. Вот тебе и помещик. И дверь на двойной поворот: дзынь. Здравствуй, стаканчик; прощай, винцо.

Отдышался он, вокруг себя проверку сделал: вверху пол, внизу – потолок. Правильно. В отдалении гости гудят, вальц доплясывают. Поддевка царского сукна под мышкой пасть раскрыла – продрали, дьяволы. Правильно. Сплюнул он на самаркандский ковер – кислота винная ему поперек плотки стала. Глянул в угол – икнул: на шканделябре черт, банный приятель, сидит и, щучий сын, ножки узлом завязывает-развязывает. Ах ты, отопок драный, куда забрался.

– Что ж, господин помещик, весело погуляли, мозговых косточек пососавши?

– Не твое, гнус, дело. Слезай чичас с моей шканделябры.

– Слез один такой... Говори с дивана, я и отсюда слышу.

– Желание мое второе сполнить можешь?

– Уговор об одном был. Разлакомился?

– Барыню мою сократи, сделай милость. Я тебе воцеленных ниток целый моток у каптенармуса добуду.

– Ишь, сирота! За одну минуту кости давил, а теперь – моток. Шиш получишь, а второй тебе барыня завтра к обеду выставит. С мозговой косточкой...

Рванул было Кучерявый с дивана, да хмель его назад навзничь бросил... На пустой желудок полынная, известно, хуже негашеной известки.

– Эфиоп тухлый! Сдерну вот пицаль с ковра, глаз тебе на пупке прострелю, как копеечку...

– Вали, вали! Пицаль, брат, с турецкой кампании не заряжена. Мишень-то готова.

Рыбьей спиной повернулся и хвост задрал.

– Пали, ваше благородие. Может, ручки подсобить вам поднять?

И серный дух по всему кабинету пустил. Прямо до невозможности.

Икнул солдат, язык пососал и головку набок.

* * *

Прочухался солдат через некоторое время – в окне вечерняя заря полыхает. Пошарил кругом, от помещицкого обмундирования одна пуговица на ковре валяется. Дверь на запоре. Под окном медевянский пудель, домашняя собачка, на цепи скачет, пленника стережет. Дожил Кучерявый. Ротный не сажал, а тут партикулярная баба строгим арестом наградила. Илья, поди, в замочную щель смотрит, в кулак, стервец, регочет. Опохмелиться нечем... Слюнку проплоти, да языком закуси. Потряс он дверь изо всех солдатских сил, барыня из бильярдной так и рывкнула: «Цыц, гунявый! Не то и белье отберу. Жалобу губернатору подам, что ты меня тиранишь. Я евонная дальняя тетка. Он тебя, окаянного, в дисциплинарный монастырь сошлет...»

Хлопнул себя солдат по исподним, – попал, как блоха в тесто. И пяток теперь не отдерешь. А за окном солдатики у колодца весело пофыркивают, белые личики умывают. Жисть!

Сунулся он было в кiset, дымом перегар перешибить. Ан в кисете пусто: только и всего – дратва не дратва, вроде свиной щетинки волосок свернувшись.

Вспомнил он, в чем суть, от радости на весь дом засвистал, аж в шканделябрах хрусталики закачались. Теперь можно. Шваркнул серничком о пол, запалил волосок, – и смыло солдата, как пар со щей...

А перекличка тем часом идет, до его фамилии добираются.

– Кучерявый!

– Я!

– Ты где ж это, легавый, бродил? Куда самовольно отлучался?

– Не могу знать, господин фельдфебель.

Не успел фельдфебель на него зыкнуть, распоряжение сделать, чтобы наутро солдата при полной выкладке под ружье у риги поставить, – ан в дверях Илья-холуй с ножки на ножку деликатно переступает.

Подошел фельдфебель, ручку ему потряс.

– Барыня прислали, нельзя ли к им завтра утречком солдатику прислать. По случаю бал-парада столик ломбардный пополам хрястнул.

– Что ж, – говорит фельдфебель. – Кучерявый у нас столяр выдающий. Завтра утром и пойдешь. Барыня тебя за работу гуской покормит. Мозговых косточек пососешь.

У солдата аж в грудях засвербело. Не иначе, как черт это его опять сосватал. Ишь, зеленый пупок в углу над бревном помигивает. Закрестил он себе мелким крестом ладонь, руку сжал, черту исподтишка кулак показывает.

И фельдфебель, – точно его, лысого кота, ветер на оси в другую сторону завернул, – задумался...

– Никак нет... Запомню. Завтра утром ротный приказал Кучерявого в город командировать. В полковой канцелярии шкаф разохши...

Вздыхнул Кучерявый. Будто сто пудов с плеч сбросил... Да, пожалуй, барыня не меньше того и весила.

Сумбур-трава

Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое: пуля на излете зад ему с краю прошила, – курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись...

А у него, Лушникова, под самым Псковом, – верст тридцать, не боле, – семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уйдешь, – военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься...

Подкатился он было на обходе к зауряд-подлекарю, – человек свежий, личность у него была сожалеющая.

– Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет... А пока жив, явите божескую милость, дозвольте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому не причинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан мотается... А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться. Вылез на короткую минутку, только нацелился – цоп. Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все ж таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?

Вздыхнул подлекарь, глазки в очки спрятал. «Я, – говорит, – голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет». Добрая душа, известно, – на хромой лошадке да в кустики.

Сунулся Лушников к главному, ан кремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в

чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.

– Энто, – говорит, – пистолет, ты не ладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто же воевать до победного конца будет? Я, что ли, со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство некупленное... Однако ж терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешен. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган махоркой...

Утешил солдата, нечего сказать, – по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, тетерев шалфейный... Жена к нему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается, сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисельному озеру волокут...

Сестрица тут востроглазая у койки затормозилась. Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула, да из ароматной трубки вокруг попрыскала. Прыскай, не прыскай, – ароматы от мух не избавят.

Вечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает – храпит, аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась, – петухов доить, что ли... Тоже и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадкой горит, вентиляция в фортке жужжит – солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними... Хоть бы вполглаза посмотреть, что там дома... Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно...

Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке щуплые ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка ровно пробочник ржавый. Как ему, пьявке, не молиться... Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась – печень вокруг сердца бродит, – дали ему чистую отставку... Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. И с

блуждающей поживешь, абы дома... Ишь какое, гунявому, счастье привалило!

Отмолился мордвин; грудь заскреб. Смотрит Лушников – на грудке у Буракова какой-то поросячий сушеный хвост на красной нитке болтается.

– Энто что ж у тебя, землячок, за снасть?

– Корешок, – говорит, – такой, сумбур-трава.

– А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?

Осклабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам, – тишина, солдатики мирно посапывают, хру да хру, – известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:

– Сумбур-трава. На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед какой тебе не по вкусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичас корешок водой зальешь и водой энттой самой избу в потаенный час и взбрызнешь. В тую же минуту по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок.

Сел Лушников на койку – не во сне ли с лучшим разговаривает. Ан нет, мордвин самый настоящий – подштанники казенные, лазаретное клеймо сбоку, все честь честью.

– А выводной корешок-то у тебя есть?

– Какой выводной... Из воды его ж и вынешь, – просуши, да на черной свечке подпали, – все и сгинут. Таракан не натуральный.

Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Буракова, дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтное снадобье. Ты, мол, домой вертаешься, у тебя на болоте сколько хошь – найдешь, а мне на войне, почем знать, во как пригодится.

Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.

– Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящими часами отдашь – корешок твой.

Принахмурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял: ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе

впотьмах сразу известно, который час. А тут, на-кось, сопливой редьке часы отдай.

– Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми – подавись. Серебряный рубль, чижелый.

Однако уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.

Посидел-посидел Лушников, не выдержал. Что ж, часики дело наживное: авось и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе... Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.

– На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок...

* * *

Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали, койку его освежили-оправили, – шась-верть, – влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.

– Ужаси какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелинную смазь съели. По всем столам чисто как чернослив, блестят... У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает, Господи помилуй. За смотрителем побежали...

Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернул, шашка куцая по голенищам ляскает.

– Смотритель где?.. Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хоть дежурную комнату закрывай...

Только прогремел, глядь – дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:

– Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перо-бумагу требуют, рапорт писать хотят... В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись. Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть...

И в канцелярии шум-грохот. Стенные часы стали, сволочи, а почему – неизвестно. Полез письмоводитель на стол, в нутро им

глянул, так со стола и шваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке – вокруг колес цапаются.

Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкатывается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:

– Да это что же?! С какой такой стати в ночных шкапчиках тараканы?! Да этак они и за пазуху заползут... Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь.

Матушки мои... Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дите, ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это и не касающее.

А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум-голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?..

Смотритель к нему на рысях подлетает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил... Он за все отвечает, как не обробеть. К тому ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к им собирается: госпиталь уж больно образцовый.

Заверещал главный врач, – солдатики на койках промеж себя тихо удивляются: тыловой начальник, доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель трясется-вякает, толстая сестра насаждает, а дневальный из офицерской палаты знай свое лопочет про рапорт да подполковничье молоко.

Первым делом бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил, пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане завез, он сдуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу мимо их окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губить...

Шуршание тут пошло, чистка. Окна порасстегнули, койки во двор, тараканов по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних, однако, не видно... Хрен их знает, откуда они такие годовалые завелись сразу. А их все боле и боле: буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием, – хоть бы что.

А из кухни кашевар с ложкой вскачь: «Ваше скородие, весь лук в тараканах... Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут».

Обробел тут и главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканье по случаю войны из губернии в губернию началось? Приказал пока что к офицерской палате дневального сверхштатного поставить, чтобы какой таракан под дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит.

Скребут-чистят. Кое-как пообедали, каждый солдат, прежде чем рот разявит, в ложку себе смотрит: нет ли в кашке изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, – тараканьей пятки нигде не увидишь.

К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по коридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель, пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к нему на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конечно, без внимания, своя у него думка.

Так и так, – докладывает Лушников. Не извольте, мол, ваше благородие, грустить. Бог дал, Бог и взял.

– Вприсядку мне, что ли, плясать, чудака-человек. Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры энтой тараканьей самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются.

– Куды ж спешить. Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допрежь того я вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.

Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты... Да не жестко ли ему, Лушникову, спать, да не охоч ли он до приватной водочки?

Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, – хочь гласно, хочь негласно, – семейство свое повидать.

– Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит... Ослобони, а там и разговоров не будет.

Лушникову что ж... В каком, говорит, помещении у вас главный завод?

Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там – как майские жуки под тополями, – так черная сила живым

ключом и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком... Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгнули, – мордвин не какой-нибудь оказался.

В ту же минуту у зрителя на личности желток румянцем так и заиграл.

– Ах ты, орел! – говорит. – Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные русские, не подведешь, вернешься.

Сует на радостях Лушникову сала да чаю, тот, конечно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Приздумался, однако, зритель:

– Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присоветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил... А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.

Усмехается Лушников.

– Зачем же этакое злодейство. Жилы каждому человеку нужны... Есть у меня в Острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, – должно, предвидел, – чтобы на войну не брали... Вы уж, как знаете, его в Псков предоставьте, – вместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа...

Взвился зритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки... Ночь знает, никому не скажет.

* * *

Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хоть бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатерке поигрывает,

на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются...

Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли, от такой тараканьей язвы госпиталь избавился. Дошел до Лушников, приостановился...

– Ты в какое место, сокол, ранен? Запомню я.

Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:

– По хлебной, – говорит, – части...

– Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?

Сестра востроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:

– Не извольте, господин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.

– А, энто тот, что на три дня на побывку просился... Заговаривайся, друг, да не очень...

Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит – ничего нет, прямо как яичко облупленное.

– Ловко, говорит, у меня в госпитале работают. Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.

Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу-соль подписывать.

Работа меж тем кипит. Смотритель с лица как подгорелый солод стал. В команду новые медные чайники из цейхгауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части чистой тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, – красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема энтого не

заходило, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как полотенце на отлете держать.

Три дня пролетело – нет санитарного генерала: не извозчик псковской, к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовь вторую. Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, – пустой котел блестит, полный – коптится.

Про Лушников смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж он в обещанный срок, как лук из земли, в вечерний час перед смотрителем черным крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, – и каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет – улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.

Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные двери хлоп-хлоп. Махальный, сквозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром подсыпает. Ведут... А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтоб лазаретный настой перешибить.

Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.

Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намастит, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает.

– Случай, ваше превосходительство, необыкновенный... Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха и та не усидит. Изволите взглянуть.

Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушников, оголили ему Нижний-Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать... Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.

Вот тебе и намастил... Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним, – только кулак за

спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяновую пробку нюхает... Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать...

Что там дальше было – Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход этот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный врач за ним халатную тесемку покусывает, – сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, – будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут...

Обедать, однако ж, надо, – и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом: «Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить, – нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат».

Встряхнулся солдат, ему что ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчизна – своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать... Веселый такой, пирожок свой с луком – почитай, восьмой – доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на резвые ноги встал.

– Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать... Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь...

Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как так солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти?

Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.

– Ничего, – говорит, – денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает...

Антошина беда

Пала ночь на город... Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, кроме тех, кто в карауле да по дневальству занят. Собрались солдатские ангелы-хранители в городском саду, за старым валом. Подначальники ихние, по койкам свернувшись, глаза завели, – не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних... Ходят ангелы по дорожкам, мирно беседуют, – лунный свет сквозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кой-где над кустом загорится – и опять в темных кустах погаснет.

Каждый ангел со своим солдатом схож, – который солдат в плечах широк, лицом ядрен, – и ангел у него бравый; который замухрышка незадачливый, – ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет... Однако все между собой в светлом согласии, в ладу, – не по ранжиру же им, ангелам, равняться, звание не такое.

Все боле поротно они собирались, кругами. Потому каждый своей частью интересуется, все солдатики своей роты до доньшка им известны, – беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, авось чего и придумают.

Шестой роты ангелы коло пруда расположились. Ангела первовзводного командира обступили, ласково ему выговаривают: что-де твой воин-унтер разбушевался – спокойя от него нет, молодых солдат сверх пропорции жучит... Какой-де овод укусил? Начальник был справедливый, а теперь – будто козел на бочку, так на всех дуром и насакивает.

Смутился ангел, поясок шелковый подергивает. «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил, – невеста евонная за волостного писаря замуж вышла, – вот он с досады и озорует. Уж я его как-никак успокою... Свое горе сам и перетерпи, на подчиненных не перекладывай...»

Про инспекторский смотр поговорили, – кажись, в роте все исправно, без боя, без крика репертички идут... Сойдет гладко, солдатам облегчение.

Помолчали ангелы, стали камушки в лунный пруд метать. С чего же им печалиться: войны не предвидится, в роте штрафованных нет, каждый солдат себя соблюдает, – кажись, у ангелов-хранителей и забот-то никаких нет.

Затянул было с правого фланга светлокрылый один любимую их солдатскую:

Раным-рано на рассвете
Господь солнышко послал,
Чтоб на ротное ученье
Солдат жаворонком встал...

Подхватили ангелы бестелесными соловьиными голосами, – от ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг к дружке для угрева, покачиваются. Ан тут ктой-то из них и спрашивает:

– А что ж это Антошкиного голоса не слышать? Он всех знаменитей поет, куда ж он сподевался? Кажись, солдат его не в наряде...

Переглянулись они справа-налево, – нет Антоши. А звали они так ангела одного хранителя, – потому имена у них каждому по своему солдату идут.

Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали: нет ангела и следа, будто облако растаял.

Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой Антоша, плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, навзрыд рыдает.

– Что с тобой, лебедь? Кажись, твой и здоров и не на замечанье... С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь?

– Ах, братцы, беда... Поди, сами знаете, – мой-от в роте всех тише, всех безответнее... В иноки б ему, а не в солдаты... Портняжил он все между делом, по малости. То вольноопределяющему шинельку пригонит, то подпрапорщику шароварки сошьет... То да се, – десять целковых и набежало... Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе под Уманью живет, только тем и дышит, что от сына кой-когда перепадает. Ан вот сегодня и прилучилось; скрали у моего солдата всю выручку, и звания не осталось...

Всполошились тут ангелы, кругом обступили, крылами, как листочки в грозу, так и шелестят...

– Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из роты-то и не отлучался? Что говоришь-то, подумай...

Опустил ангел еще ниже голову, тихо ответ подает:

– В роте и скрали. Простите на горьком слове, – да что же и скрывать-то...

Насупились хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы у своего брата-солдата воровским манером последнее огребать.

Спрашивает тут первовзводного командира ангел:

– Доложил твой, что ль, по начальству?

Антошин ангел резонно ему докладывает:

– Не таковский мой, чтобы жалиться... Да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту на шест вывешивать. Шестая наша рота как орешек, ужели мы же ее под каблук... Честь не десять целковых стоит, а ежели бы на кого мой солдатик подозрение и имел, уши бы себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли да распатронили...

Ведь вот какой ангел понимающий оказался.

Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились... Отличилась шестая рота, что и говорить...

Выступает тут из-за темного дуба чернявый ангелок, из себя не ахти какой, щуплый да хмурый. Коло Антоши наземь сел, к плечу его прикоснулся:

– Не кручинься, голубь. Узел крепко завязан, да авось я развяжу. Деньги-то ведь мой скрал, – Брудастый...

Антоша так на него крылами и замахал:

– Что ты, что ты! Ветер слышал, ночь унесла... Снежок подпал и следок застлал. Чего же зря расковыриваешь?

Однако ж ангелок свою ниточку разматывает:

– Хочешь не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Тебя мне и надобно. Сраму и на воробыный клюв не будет... Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего в смягчение приведу... Тоже и я препорученную мне черную душу выполоскать-то должен.

Так строго сказал, что встал Антошин ангел, низко чернявому поклонился и со смирением ручки скрестил.

– Делай, что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит...

* * *

Не спит Брудастый. На локоть облокотился, все на Антошку посматривает, что супротив на койке в носовую жилейку высвистывал, – в печени у него, Брудастого, так и саднит.

– Ишь, дрыхнет, – будто и не у него украли... Дите стоеросовое. А тут сдуру в чужой сундучок раскатился, – благо открыт был. Вот теперь сам себя на вертеле и поворачивай. И зачем крал, бес его кривой знает! Ни светило, ни горело, да вдруг и припекло... Попросить у Антошки, как следовало, – он тебе рубашку последнюю с крестом отдаст, лампадная душа... Не пожалился ведь никому, Чистоплюй Иванович. Молчан-травку проглотил, только с лица побурел. Поди, и не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял, – на убогое солдатское добро позарился. Ведь вот этакая-то вещь более всего и пронзает...

Не спит Брудастый, поворачивается. А над ним будто темное крыло ходит, слова острые навевает:

– Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балалайку ко дню ангела сшил? Антошка. Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Антошка... А он ведь и сам как лучинка... Кто за тебя, темного, письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный? Кого ограбил?.. Антошка простит-стерпит, да тебе же еще штаны задарма залатает, – а что же ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова? Хоть бы откомандировали к другому, – тошно мне с тобой, нет никакой возможности...

Скрипнул Брудастый зубом. И не спит будто, – откуда ж голос такой занозистый.

– Вставай, вставай... Чего кряхтишь-то, как святой в бане... Умел в яму лезть, умей и выкарабкиваться.

Не видно пылинки, а глаза выедаёт... Терпел он, терпел, однако ж не чугунный, – долго ли вытерпишь? Видит, дневальный, к нему

спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скосил солдат на пол. По-за койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выудил, да тихим маневром, подобравшись к Антошиной койке, под подушку ему и сунул.

Сразу ему полегчало, будто чирый, братцы, вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул, — ан и во сне хвостик-то остался. «Деньги-то я, — думает, — отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спокаяться. Срам перед ним приму, — он добрый, ничего... А то уж больно дешево отделался: украл, — воробей не видал, назад сунул, — будто наземь сплюнул...»

Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами да в широкой одежде, как небесному воину полагается... Топнул он на Брудастого ножкой:

— И думать не смей!.. Очень Антошке твое покаяние нужно. Только смутишь его, тихого, занапрасно... Я тебе форменно воспрещаю.

Оробел Брудастый, в струнку вытянулся:

— Да как же так?.. Хоть наказание какое на меня для легкости души наложите...

— А ты без покаяния походи, вот это тебе настоящее наказание и будет.

Задумался тут чернявый ангелок и начальственно прибавляет:

— Да еще, ежели пострадать хочешь, — воспрещаю я тебе с этого часа солдатскими словами ругаться. Понял?

Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего ангела:

— На время или окончательно воспрещаете?

— Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается. Стало быть, можно...

— Да ему ж без надобности... Вздохом из него всякая досада выходит. А обнаковенному солдату, посудите сами. Скажем, я винтовку чищу. Паклю на шомпол навертел, смазкой пропитал, в дуло сгоряча загнал, — а назад шомпол-то и не лезет... Как тут, ваше светлородие, не загнуть? Дверь рывком дернешь — и то она скрипит, а солдат...

— Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заест... А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу.

Вздохнул тут Брудастый, на голенища свои покосился.

– Ладно. Попробую... Только, в случае чего, ежели осечку дам, – уж вы того, не прогневайтесь.

Улыбнулся ангел. «Ничего, – говорит, – главное, чтобы прицел был правильный, а осечку бог простит».

* * *

Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке – возврат имущества, Брудастому – епитимья, шестой роте – ни суда, ни позора, ангелам-хранителям – беспечный покой.

«Лебединая прохлада»

Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромы на солнце лупился.

Дом крепкий, просторный. Прежде всего в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился, — мышам раздолье.

Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы поразвешивали — живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, жилым духом пахнуло.

С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда, помимо своей порции, еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хоть человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, — вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал, «Лебединая прохлада» — на одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь...

А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал — прямо перина. В новые хоромы не переехал, — старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать... Да и домовые, они вроде кошек — к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.

Харч был готовый — на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога испод подгорелый добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовый еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спускали.

В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоем похаживает, мутным баском рявкает, — стекла по всем концам так и

отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по-мышиному поцыкивать... Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком – пехота, которые на крысах верхом – кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку – знак подает, – пошла война. Грызутся, кувырком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад – по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит... Удовольствие.

Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, – ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу, да и выскочил.

Да и на крыше ему, кудластому, лафа... Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет... Дура ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовый снежок да в зад ей пальнет, – лети, милая, не загащивайся!.. И летом неплохо: звезды, божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовый из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по желобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, – не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла... В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовый свою порцию свистнет, с руки на руку перекидывает и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить...

Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада того густо наплывает, что не то что домовый – бревно разомлеет. Вытащит он из-за водосточной трубы своей работы жилейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится...

И вот тут, неожиданно-негаданно, – загнали ему под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь, – а когда ж и соснуть домовому, как не днем... Почитай, с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хоть башку в стружки зарой, хоть паклей из-под бревна уши законопать, нипочем

тишины не добьешься. Марши да польки – будто медные козлы через стеклянный забор скачут... Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовый с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается...

Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, – мундирчик с шеvronами над койкой повесит, – сейчас кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок... Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут – всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали... Сирень снопами рвут, – на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!

Нырнет домовый, как солнце сядет, под жимолость, на помойке своей серым катышком продернется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-Пистон, все как есть приест, – хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи... На чердак вернется, – портки музыкантские на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.

Даже мыши и те сгинули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, – приказал в мышинные щели толченого стекла насыпать. Тварь божия ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои – не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь хлуп гусиный, – на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.

Вылез как-то домовый о полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж со стародавнего гнезда сниматься... Хоть дом сожги, – в золе под порогом ямку выкопает, никуда не подастся. Кой-чего и придумал. Начал он тихо,

вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.

* * *

Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, – все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:

– Ох ты, гусь с яблоками! Глянь-ка, братцы... Никак черт на нашем белье трепака плясал.

Сбежались музыканты, – вот так постирушка. По всем порткам, рубашам жирной сажей следки понатопаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала...

Подкатился тут старший унтер-офицер, подковами затоптал:

– Что ж энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так недоглядели? Почему такое?

Догляди-ка тут, – не часовых же к подштанникам ставить... Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Сквозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, – ведь эдак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо...

Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стены геликонбасы, – самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, – как прыснет из всех раструбов мелкой пылью керосин, – так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он завсегда перед командой, палочкой своей выкомаривает...

Затрясся он, раскрыл было рот, чтобы всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило... Выплюнул он с пол-ложки, – с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный

прудок набегает. Залопотал он тут, как скворец, – и слов других не нашлось:

– Что значит? Что значит?! Что значит?!

Ничего не значит. Помет на полу, а птички и видом не видать.

Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснушчатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчера была полная ведь была, – вот в чем суть!

Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, – хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как на белье, только керосином смоченные, на чердак вели... Заскучили тут многие...

Однако ж опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтоб чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с 5 охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик «наган» свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали, – хоть бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, – как кегли были расставлены. Да вместо шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох ты, господи! То-то вчера ночью над головами гудело-перекачивалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.

Делать нечего, стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:

– Ку-ку! Шиш съели?..

Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.

– Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу...

Обнакновенно немец, – и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:

– Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фатогеном провонялся. Фитиль в меня вставить – и лампы не надо...

* * *

Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, супризный вальс играть. Проверили они инструменты да заместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали, – при лампочке да при дневальном никакой сукин бес не накеросинит.

Сели в кружок, – кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит... И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем – ни дудка, ни окарина, невесть кто «Лебединую прохладу» высвистывает...

Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает... Кому ж играть? Все на местах. Экое ведь дело!

Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, – место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, – тьфу, тьфу, – облапишь, что и рот набок сведет... Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали – уснула команда.

Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не управисься... Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся – так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встряхнул, – не блин армейский, своя собственная, – края пирожком загнул. Соколом на голове сидит... Полосатые оплечья слюной освежил. Эх вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке... Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют...

Музыканты – они, черти фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне

над публикой гремят – каждый сапог на виду, то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и позволяли – адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такая команда, хочь в Париж посылай.

Обдернулся солдатик, – кажись, все. А как шароварки свои просмотрел, видит, пуговики подтянуть надо, – нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую выправку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и летит...

Прихватил он все, как следует, шука зубами не отгрызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал... Музыканты, они ремешками не затягиваются – и форс не допускает, и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из груди в подвздошную скважину шла.

Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся, – ан почудилось ему, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на него во все глаза смотрит... Прикрыл солдат бровки ладонью, воззрился в темную ночь, – так вдоль стены и метнулось чтой-то... Да еще фыркнуло, шершавое зелье, – по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.

Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый, кларнет с переливом, не то чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопал, а она к тебе так всем арсеналом и поворачивается...

Кто ж, лярва, сквозь окно подсматривал?.. Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышь... Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижиком безвинным забился. Ишь как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и в полколебания нет... Спаси, господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!

Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жужелицу по нотам пальцем подталкивает, чтобы

правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые флаги дуют. Не в лесу сидит, – наплевать!

Сквозь форточку оркестр соловьиный достигает, – вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!

Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить, – а он слышит, будто дверь скрипнула... А может, и не скрипнула, – солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль косяк бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел, – и жуть на него наплывает, и ночная муть по рукам-ногам пеленает. Вздремнул не вздремнул, – бык его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепкое слово вырезывать.

Сменился дневальный, другой заступил. А он тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.

* * *

Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить – слышит, насупротив в команде крик, старший унтер-офицер истошным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещение заскочил. Хоть и вольнонаемный начальник, скомандовал ему навстречу дневальный: «Встать, смирно!» Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит... Что такое?

Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на нем нет.

– Ох, ваше скородие... Пропали мы все с потрохами. Как к командирше команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны?!. Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать, – совместить никак невозможно!..

Началась тут, братцы, завирушка... Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, – знаками показывает, что ни сном ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком

виде, – через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?

Послал капельмейстер утреннего дневального – на одном ем брюки в полной исправности были – к командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:

– Беги четвериком! По сторонам не смотри... На чужой кровать рот не раздевать. Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин...

Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на всякий случай все сундучки, на всю команду пять запасных пуговиц набрали – музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь ненадежная: духовой инструмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.

Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает... Слышат они – конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварками вскачь примчалась? Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает, – у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, – тут засуетишься!..

– Почему, – кричит, – Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собравшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?.. Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете.

Капельмейстера аж в фальцет вдарило:

– Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают... Сначала казните, потом выслушайте.

И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. Притих адъютант, – видит, дело цинковое... А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш-маршем к командирской фатере.

Хочь и с запозданием, однако вальс «Лебединую прохладу» пронзительно сыграли, – будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейстеру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить... Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.

Командир полка между тем нет-нет да и насупится: моментальность любил, не приведи бог, – а тут против расписания на

двадцать минут оркестр согрешил.

Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все, как есть, и доложил: нечистую силу под арест не посадишь... И про портки со следами, и про керосин, и про пуговики... Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает...

А капельмейстер, судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:

– Или я, или черт... Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю.

Ну, тут полковой батюшка его и причесал:

– Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговики с мясом вырезал, чтобы казенное добро дотла изничтожить... А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует... Уж вы и не супротивляйтесь, – он вас доест. А молебен никакой не поможет... А ежели желаете доброго совета послушать, попросите через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ремонт идет, – другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают...

Городской голова тут же насупротив сидел. С капельмейстером чокнулся и говорит:

– Ладно, рижский бальзам... Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне «Лебединую прохладу» на громких нотах сыграешь... Тихая музыка меня не берет... а я уж по тебе, как помрешь, панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?

Безгласное королевство

В прикарпатском царстве, в лесном государстве, – хочь с Ивана Великого в подзорную трубу смотри, от нас не увидишь, – соскучился какой-то молодой король. Кликнул свиту, на крутозадого аргамака сел, полетел в лес на охоту. Отмахали верст с пяток... Время жаркое, – орешник на полянке, на что куст крепкий, и тот от зноя сомлел, ветви приклонил, лист будто каменный, никакого шевеления.

Привязала свита коней к орешнику, король широкой походкой вперед идет, камыш раздвигает, ручья ищет. Ан был, да весь высох... Всмотрелся король в чащобу, видит – незнакомая малая хатка под дубом стоит, дым не дымит, пес не скулит, будто и нет никого. Махнул он перчаткой, свита да стража за им пошла. Видят – дверь в сенях пасть раззявила, хочь свисти, хочь стучи, никто, девкин сын, не откликается.

Ну что ж, не в рюхи с хозяином играть: главное-то и без него в сенцах нашлось... Выкатили бочоночек на свет, втулку выбили, – стоялый квас шибанул в глаз, все так и повеселели. Выпили они по липовому ковшику, от короля до королевского денщика, в затылок по чинам ставши. Хоть болотной бражкой и припахивает, однако ж около хвоста меду не ищут. В лесной плуши и на том спасибо...

Тут-то вот, милые мои, король дуба и дал: ему бы по званию своему империал-другой неведомому хозяину на лавке оставить надо, – запас, вишь, весь вылакали. Однако ж он, по веселости лет, запомывал, дежурный генерал не доложил, адъютант икнул, не подсказал, денщик не насмелился. Так и укатили.

Только трава улеглась, тихий шорох по кустам растаял, копыта вдали по корням вперебой захлопали, – вылезает это из-за вереска дремучая борода, кудлатая голова, колючие глаза – лесной колдунок, который, значит, в хатке этой обосновался.

Приполз он к сеням, – ножки-то у него были с младых лет сдрюченные, – в материнской утробе не так повернулся, осечка и вышла... Принагнул кадушку, ан в ней одна нахальная муха пищит, которая за остатной каплей забралась. Благословил он незваных гостей начерно: квас-то был ядреный, в подполье моренный, на семи

травках настоящий... Весь лес, почитай, задом обьелозил, пока до настоящего букета добрался. Вот тебе и запасся... Пошарил он по лавке, по подлавочью, – хоть бы алтын ему король за выпитое бросил. Чин королевский, а поступки цыганские...

Почервонел колдун, черной слюной харкнул. Ладно, думает, квасок-то хорош, да как-то он еще отрыгнется...

Ступил он на порог, кротовью костку из-под половицы добыл, спрыснул ее из баночки папоротниковой, на жабьих глазах, настойкой, повернулся к востоку, где королевский город за лесом лежал, и стал над косткой причитать:

– Кто мой квас пил, рыло омочил, всем им со сродственниками, соседями-подсоседями, со слугами-стражей, со всем приплодом, всему их роду на все королевство уста запечатываю... Бабам не галдеть, колесу не скрипеть, кишкам не бурчать, наяву не чихнуть... Ты взойди тишина, как над озером луна! Одним птицам-сестрицам, косматым зверям да насекомой твари уста отмыкаю. Слово мое крепко, дело мое цепко, – ни черту расколдовать, ни ангелу расковать. Тьфу-тьфу, ехал шиш в Уфу, голова в кустах, хвост на плечах, печать на устах...

Отпономарил он все, как следует, косым каблуком прихлопнул, заржал да и уполз в вереск семь трав для нового кваса собирать. Нельзя ж ему, сволочи, без квасу-то...

* * *

Летит король на аргамаче, стремяна пружинит, плащ за спиной ласточкой. Чтой-то свиты не слышно, – ни свиста, ни топота? Обернулся: все за ним веером скачут, только чудно как-то – галопом дуют, будто ветер по воде стелется, уздечка не звякнет, копыто не цокнет. Попридержал король коня, портсигар вынул, у дежурного генерала серничка хотел было спросить, раскрыл жаркие уста, – ан, кроме дыхания, ни полслова... Затормозило, значит. Нахохлился король, безмолвной плетью лист с дуба сбил. Свита да стража кольцом обступила. Которые поближе дали королю прикурить, а он папироску наземь, – как рыба в садке, рот раскрывает, приказание какое сделать

хочет, что ли... Да как прикажешь, ежели в словесной машинке завод соскочивши?

Повернулись тут и прочие, друг к дружке с седла тянутся, спросить хотят, что с королем приключилось, – рты настежь, языки мельницей. Да что ж с одним языком сделаешь, ежели колокол черти унесли?

Смятение тут пошло, коней вальсом вертят, лесной воздух плотают, пальцами слова подпихивают, – хочь бы хны... Пропала вся словесность, как есть, даже и чертыхнуться нечем.

А тут и собачки подбавили. Натянула вся свора сыромятные ремешки, зады дрожат, плаза свечками, да как заголосят:

– Что ж это за охота, сукины вы дети?! Вон там за кустом лис огненным хвостом прочертил, – а нас не спускают!

Шарахнулась тут свита, завертелись охотнички... Слыханное ли дело, чтобы людям молчать, псам разговаривать? А псы так и надсаживаются. Лопнули ремешки, собачки по осиннику так и брызнули... Ан король ни с места. Лоб перчаткой утер да гневный знак доезжающему сделал: труби, мол, в рог, сзывай их, вислозадых, назад, – какая, мол, теперь охота...

Приложил охотничек гнутую завитушку к устам, надул щеки арбузом, ан из рога, как из караса, одна безгласная тишина кольцом вьется.

Испужался король, свита фуражки долой, – лбы крестят да поводья почем зря туды-сюды дергают... Надоело коням в карусели вертеться, повернули к седокам головы, зубки оскалили да как заржут:

– И-го-го! Матерям вашим – кобылам сто плетей в зад! Задержали нас совсем... Чего, дружки, на них, обалделых, смотреть – гони в королевские стойла... Видно, нынче дело – табак, завертят они нам головы окончательно...

Прикусили мундштуки, задами друг на дружку нажали, выстроились по четверо в ряд, да как дернут марш-маршем к золотым королевским кровлям, что над холмом светлым маревом горели, – аж седоков к луке будто ветер пригнул. Ни топота, ни хруста: облака над лесной полянкой вперегонку плывут, – поди-ка услышь-ка...

Осадил бессловесный король коня у парадного крыльца, – королева к нему, как подбитая лебедь, скатывается, белые руки

ломает: беда во дворце стряслась, она доложить-то без слов и не может. Сыночек королевский с нянькой в палисаднике играл, журчал, как ручей, да вдруг с нянькой его и закупорило, – знаки подают, а разговора не слышно, одни пузырьки на губах играют... Кинулась королева к челяди, да и тут неладно: повар судомойку, лакей горничную за пуговку держат, белыми губами шевелят, – хоть в рот к ним вскочи, не услышишь... В окно короля заприметила, с лестницы катышком скатилась, да сама и онемела.

Король королеву по круглой головке погладил, свите рукой махнул – расходишь, мол, братцы, что ж нам карасями пучеглазыми друг на дружку смотреть-то... Королевича на руки подхватил, к широкой груди притулил, – ни ответу, ни привету. Так втроем в опочивальню и ушли в тишину, как под лед нырнувши...

А в королевской резиденции и невесть что завертелось. Бабы у колодца судачили – первое их дело соседские кишки полоскать, – да вдруг как тихим громом их ударило... Тужатся, тужатся, ан выстрелить-то и нечем. До того им обидно стало, аж за ушами засвербело. А тут козел с вала по-над колодцем, потная шерсть, морду повернул, да как фыркнет:

– Наговорились, гладкие... Будя! Дайте-козь теперь нашему брату словесного козла подоить...

Да как начал их отчитывать, – почему в хлеву навоз горбом; почему козы не доены, – чай, пастух давно их из-за яра пригнал; почему козлу ни одна баба черного хлебца с солью не поднесет, самито, шкурехи, небось булку трескают... Ишь вымя-то как раздуло!

Освирепели тут бабочки, стали в него камнями пулять. До чего удивительно: который камень в самое пузо угодит, – ни гула, ни треска, будто ангел крылом одуванчик сшиб. Однако ж больно, мать их в пуп боднуть, копытом прихлопнуть! Терпел козел, терпел, да как стал их поперечными словами вентилировать, – тоже и он кой-чему около королевских казарм научился. Перепужались бабы тут окончательно, да так неслышным галопом по домам и брызнули... Что ж за жизнь пошла, ежели все слова, чистые да нечистые, к козлу перешли, а бабам и огрызнуться-то нечем!..

Пьяненький тут один по забору пробирался, – мастеровой алкогольного цеха. Только хайло расстегнул, нацелился песню петь, ан из него один пьяный пар в голом виде. Икнуть и то не может...

С какой стати такое беззаконие? Даже остановился он, ручкой сам себе щелкнул, а щелчка-то и не слышно. Вот так пробка! А мухи над ним столбом в винном чаду завились да зубы скалят... Обрадовались, сроду не говоривши:

– Ах, мухобой какой! Милые, гляньте-ка, как его от двух бортов качает... И кто ж это ему ноги передвигает? Чай, давно ему время с копыт слететь. Вали, дядя, лужа-то мягонькая...

Шлепнулся мастеровой беззвучным тюфячком в канаву, ножки задрал, – досада его калит: последняя тварь, муха, выражается, а он всего, как есть, разворота лишился. Дела...

Ребятенки тут поодаль в бабки играли. Меткий удар – легким словом подстегнуть первое дело... Ан и их зацепило: руками машут, голоса черт унес. Испужались они, вздумали было зареветь, да и рева-то нет... Прыснули они тихими воробьями по хатам к матерям. Какая уж тут, без крика, без визга, игра.

Мужик с бабой на завалинке супротив винной лавки сидели. Только было пристроился по случаю вечерней прохлады с бабой поругаться, – словом занозистым зарядился, да порошок-то и отсырел... Уж он и квасу плотнул, и табачку понюхал, – ни на полслова силы не хватило... Двинул он с досады бабу локтем в бок, – так она и взвилась, чтобы раскатной дробью его осадить. Да вместо того только и смогла, что между глаз ему плюнула... Даже и драться не стали, до того им обидно стало. Что ж драться, ежели и взвинтить друг дружку нечем.

Кот ихний, Гришка, драная голова, с забора так и залился:

– Ну и камедь, мышь вам во щи!.. Сроду таких делов не видал. Мы на что коты, и то сперва пофырчим-пофырчим, а потом плюемся да цапаемся. А тут, слова не сказавши, он ее в бок, а она в него обратной почтой – харкает...

Раскипятился мужик, хватил в кота поленом, да, спасибо, не попал. Пошел с бабой в избу, да так, и не ужинавши, огня не вздувши, и взобрались на полати... Спиной друг к дружке, двуглавым орлом сонные пузыри пускать.

Опять же кузнец за пустырем на отлете борону клепал. Свистал, свистал, что ж за работа без свиста, – ан свист-то с губ вдруг и сдуло... Подивился он, – что за пес, кто ж губы заклеил? Да и удивляться-то не успеешь: молотом по железу стучит – ни стука, ни

гука... Поддувало не скрипит, огонь не трещит... Что за наваждение?.. Поскреб он в затылке, задом из кузницы выкатился, сел на старую наковальню. Час не поздний, а тишина вокруг, – будто город периной накрыли. Одни псы – спаси и помилуй! – на свалке кости грызут да друг дружку, как нищие на ярмарке, собачьими словами облаивают.

«Пойди, сволочь, с моего места!» – «От сволочи слышу...» – «Да дайте же ей, сукиной дочке, тяф, бычьим ребром по зубам, – что ж она на мою падаль распространилась...»

Охнул кузнец, побежал к королевскому фельдшеру по соседству, авось тот ему какое разъяснение даст либо пиявки к разговорной жиле поставит. Да и с фельдшера-то взятки гладки: сидит на полу, телескопы выпучив, сам себя за язык тянет, а выдоить-то и нечего.

Словом, пошла тут жисть по всему королевству. Судья не судит, купец не зазывает, трактиры паутиной заплело, свадеб не играют, ребят не крестят, именин не справляют, в гости не ходят... В пустую молчанку только тараканов на стене бить интересно.

А скотину домашнюю да прочую живность, всю как есть, в лес прогнали, – ну их к анчутке, с разговорами ихними бесовскими. Умней людей хотят быть, пусть в лесу и подохнут. Не коровам баб доить, не коровам и разговаривать.

* * *

Особливо военных подрезало, – хочь все войско распускай по задворкам в бессловесной одури подсолнухи грызть. Часовых у дворца и то сменить нельзя, пароля не передавши... Стой хочь до седой бороды, пока квашней наземь не осядешь. Сам король караулы и похерил, своей властью пищали у часовых поотобрал, – расходись, мол, по казармам слонов слонять, а немного короля тишина укараулит... Ученье начисто отменил. Без раскатной команды, без барабанного боя, без песен да марша одни лягушки по отделениям скачут, да и те квакают. Вздумали было спервоначалу батальонное учение по знакам производить, да воробьи засмеяли: «Первая рота пьяным серпом развернулась, вторая – себе на штаны наступает...» Так и бросили.

Заскучали тут генералы, распечь некого, – самовар, и тот громогласно бурлит, когда жар его проймет. Офицеры да фельдфебеля бесшумно орехи грызут, в дурачки, будто утопленники под водой, тихим манером дуются. Ни сока, ни сладости. Солдатики по углам хлеб да кашу жуют, – что и собираться-то вместе, ежели за обедом ни шутки сшутить, ни легким словом перекинуться. Да и насчет прочего, скажем, с миловидным предметом в королевской роще прогуляться... Нельзя же девушку сразу за банты брать, разговор-то хочь махонький нужен.

А король и совсем скис. Приемы прекратил, не глазами же друг дружку облизывать. Всех иноземных заезжих гостей отвадил, границу закрыл, – срамота ведь, братцы: гость разговорчивый из другого правильного государства приедет, – ужели кобылу к нему для беседы рядом за королевский стол сажать? Мораль по всем странам пойдет...

Королева с сынком безгласным все в почивальне сидит, безмолвные слезы плотает. По всему дворцу ребяенок, словно чиж, трещал, а тут до того измолчался, что на пальцах разговаривать стал. Сердце надорвешь смотревши.

Сидит как-то король у окна, на закат смотрит, сладкий пирог вилкой расковыривает. Власть ему не в власть, еда не в еду... Только видит – вдали пыль закурилась, народ ко дворцу волной валит, немой громадой накатывает. А впереди отставной солдат Федька, малый еще не старый, которого в запрошлом году громом-молоньей на часах оглушило, – с той поры он и онемел. Подошли поближе, король аж в окно перегнулся... Экая вещь: лопочет что-то Федька, руками размахивает, а вокруг его бессловесным стадом народ рты поразинул, слушает, не наслушается. Немой заговорил, языкатые онемели, видно, и впрямь деревья-то скоро корнями кверху расти начнут...

Взошел тут адъютант, на пальцах показал, что, мол, Федька к Вашему Величеству достигнуть желает, – как, мол, прикажете?

Король и чин свой на подоконнике забыл, отстранил чубуком адъютанта да вприпрыжку сам к крыльцу и побежал.

Перекрестился Федька, поклон королю до самой пряжки отдал, да как заговорит, аж теплый ветер по толпе прошел, до того человечью речь слушать любо.

– Не тужи, Ваше Величество! Дело еще может на поправку пойти. А покуль что разреши с глазу на глаз потаенный доклад

сделать, – вещь первой важности. Секрет при всех как снег на базаре: по каблукам грязью разойдется...

Хватает его король ласково под локоть, ведет дорогого гостя в кабинет; дверь замкнул, во второй кабинет провел, опять замкнул. Посреде покоя стульчик ему придвинул, сам рядом сел, ухо приклонил. Чтобы не подслушивали, значит.

Федька-то тут и выпотрошился:

– Как я, Ваше Величество, после немоты своей заговорил, заодно с бессловесной тварью в обратную линию попавши, – тут собачка моя, миловидный Шарик, с разговором ко мне и прилетает. Однако ж она пес не нахальный, не возгордилась... «Так и так, – говорит, – хозяин... Я это дело обследовала. По следам королевской свиты в лес смахала. Меж кустов и трав на хатку эту под дубом и я напала. Вижу, сова, круглый глаз, на цепи на загнетке сидит, колдуна своего драгунскими словами ругает. «Почему, – спрашиваю, – дура, ругаешься?» – «А почему же он, злыдень, ушел семь трав собирать, а мне хочь бы корочку оставил, на цепь замкнул...» Собачка моя, натурально, зверь башковатый, в лес смахала, зайчонка сове принесла, – трескай, стерва, а как наешься, рассказывай дальше. Ну, сова косточку последнюю обглодала, да Шарiku все и выложила. Честная, дрянь, оказалась... Как, мол, король со свитой квас выдули да как колдунок с отчаянной злости наговор на кротовьей костке сделал, все королевство речи лишил... Дал я Шарiku за умственность молока похлебать, да и надоумил его: сова к вечеру опять оголодает, стащи-ка ей куренка, да сразу не давай – подразни. Авось она, на цепи сидя, со злости на колдуна и проговорится, хохлатая шкура, насчет средствия, как язык-то во всем королевстве опять разговорным концом обернуть... Как по писаному, Ваше Величество, и вышло. Сымайте с вашего королевского пальца кольцо с печатью, дайте мне его на малое время. Завтра к обеду все загалдят, а пока более ни об чем докладывать не могу.

Обнял король Федьку, в небритую скулу его безмолвно чмокнул, кольцо с пальца снял, сам Федьке сладкий пирог на вилке подносит... Полное, стало быть, доверие оказал.

Ранним-рано обскакал Шарик, обрыскал все королевство: «Сходись все на базарную площадь, хозяин Федька вас лечить будет». Слетелся народ, как мухи на патоку, – голова к голове, будто маковки. Король с семейством да первые чины за ними кольцом. А Федька старается: под котлом посередь базара костер развел, разварил кротовую костку. Потом огонь загасил, дал воде остынуть маленько, на бочку стал, печать показал да как гаркнет:

– Королевской властью приказываю, чтобы на короткий срок предоставили мне самую болтливую во всем королевстве допрежь беды бабу! Вреда ей не будет, одно удовольствие... Только правильно, голуби, выбирайте, чтоб ошибки не вышло.

Вскипел тут бесшумно народ, стали то одну, то другую выпихивать, – бабы упираются, галки с крыш смеются, толку ни на грош. Взяли тут бабы дело в свои руки, пальцами туда-сюда потыкали, выхватили перекупку одну базарную, сырую бабеху в полтора колеса в обхвате... Подтащили к Федьке, головами показывают: честно, мол, выбрали, – болтливей ее ни одной сороки не было...

– Ну, мать, – говорит Федька, – скидавай лишнее, лезь в котел. Да не бойся, не щи из тебя варить буду, только попаришься.

Перекупка туда-сюда метнулась, да не уйдешь. Подхватили ее бабы под рукоятки, тыквы у нее от волнения разболтались... Смехота.

– Да ладно уж, – смиловившись Федька. – Сорочку на ей оставьте, и в сорочке искупается. Что ж нам на ее вдовый балык любоваться...

Бухнули ее в теплый котел, аж до колокольни брызги долетели. Окунул ее Федька раза три, выудил, крикнул да на спине вон и выволок. Сушись, ласточка, – навар в котле, подол на земле.

Размешал он варево, скомандовал всему населению – от короля до лохматого нищего – к котлу подходить, да каждому по чарке бабьей настойки – на кротовой костке – и поднес... Морщились некоторые, – скус-то не курочкой отдает, однако говорить хочешь – не откажешься.

И вот враз, чуть последнему грудному младенцу последнюю чарку хлебнуть дали, весь базар заголосил-загалдел, аж до неба докатилось. А из лесу скотина да прочая живность откликается, – домой идут. Разговор-то у них, всех скотов, сразу и замкнулся: корова мычит, петух кукарекает, как по расписанию Божьему полагается.

Обступил тут народ Федьку кучей, король ему десятку сует, королева – поясок, с себя снявши, презентует. А Федька-то тут, братцы, и онемел, опять вровень с бессловесной тварью в свое состояние вернулся...

Королева заахала, народ соболезнует: всех спас, а сам назад подался... Спрашивают его – нет ли для него, Федьки, особого средства? А он, шут, только смеется да на знаках что-то показывает.

Тут-то молодой королевич и пригодился, – на пальцах-то он очень хорошо понимать стал.

– Вещь в том, – говорит, – что ежели эта баба, которую он искупал, с первого новолунья ради него трое суток добровольно молчать согласится, тогда и к Федьке словесность навсегда вернется.

Подтащили тут мокрую перекупку, просят ее, умоляют, а она как раскатилась:

– Бабку его под пятое ребро!.. Чтоб я?! Да ради него?! Ради срамника-то этого, который меня, стародавнюю вдову, в натуральном виде при всех разбандеролил? Ни минуты не помолчу, ни полминуточки, ни вот на столечко...

И пошла кудахтать... Так весь базар и грохнул. Рассмеялся Федька, русой башкой тряхнул, через королевича объяснил: и без речи, мол, обойдусь, не привыкать стать. Королевское семейство да весь народ вызволил, – на королевскую десятку с товарищами выпью... А баба эта пусть мою разговорную порцию себе берет... Авось не лопнет.

Штабс-капитанская сласть

Проживал в Полтавской губернии, в Роменском уезде, штабс-капитан Овчинников. Человек еще не старый, голосом целое поле покрывал, чин не генеральский, – служить бы ему да служить. Однако ж пришлось ему в запас на покой податься, потому пил без всякой пропорции: одну неделю он ротой командует, другую – водка им командует.

В хутор свой, как в винный монастырь, забрался, чересполосицу монопольную бросил, каждый день стал прикладываться. Русская водочка дешевая, огурцы свои, дела не спешные, – хочешь умывайся, хочешь и так ходи. Утром в тужурку влезет, по зальцу походит, – в одном углу столик с рябиновой, в другом с полынной... Так в прослойку и пил, а уж как очень со зла побуреет, подойдет к окну да по стеклу зорю начнет выбивать, пока пальцы не вспухнут.

Компании себе никакой, однако, не составил. Батюшка по соседству трезвенный оказался; даже отворачивался, когда мимо проезжал, потому на всех подоконниках у господина Овчинникова наливки так и играли. Прочие тоже опасались, – штабс-капитан пил беглым маршем, интервалы короткие. Который гость отстанет, догонять должен, а не то коленом в мяготь, – поди подавай рапорт румынскому королю. Сидит это он как-то летом один, скворца хромого пьяным хлебом кормит, – оммакнет в рюмку, да птичке и поднесет. Все ж веселее, будто и не один пьешь. Скворец у него крепкий оказался; гусей пьяными вишнями споил, – облопались, в одночасье подохли... Собака благородной масти, Штопор по прозвищу, сбежала. Каждый сбежит, не только благородный, ежели ему в плотку чистый спирт без закуски капать.

Сидит это господин Овчинников, а время около полуночи было. Сам с собой в зеркале чокается: «Будь здоров, сукин племянник! – Покорнейше благодарю!» и рюмку себе на лоб... Вгонит ее в нутро, будто карасином давится, а сам новую цедит. Уж и зорю по стеклу не выбивал, пальцы набрякли. Только нацелился по двенадцатой, а может, и по шешнадцатой пройтись, глядь, из бутылки малиновая

жилка ползет. Жилка за жилкой, сустав за суставом, все на свое место встали, – цельная погань на край горлышка села, на штабс-капитана смотрит, хвостом в носу ковыряет. Как есть бесенок, масть вот только неподходящая: обнакновенно они в черноту ударяют, а спиртная нечисть в зелень.

Штабс-капитан ничего, – не удивляется. Даже обрадовался, не с мухами же тихий разговор вести.

– Наконец, – говорит, – появились. Давно вас жаждался! Почему ж ты, однако, малиновый?

Соскочил бес поближе, на чернильницу сел, потягивается.

– Потому, – отвечает, – форму у нас переменили. Которые по купечеству приставлены, по запойной, значит, части, – обмундирование у них, действительно, старое оставлено, зеленое. А какие к военным прикомандированы, особливо к запасным, – те теперь малиновые.

Пондравилось штабс-капитану, что такое к военным внимание. Ус пожевал, рюмку об штанину вытер, наточил водки, гостю подвигает.

– Пей, адъютант. Экой ты мозгляк, однако... Поди, водка из тебя так в чистом виде с исподу и вытечет...

– Не извольте беспокоиться. Не пью-с.

Ну, господин Овчинников не таковский, чтоб в своем доме такие слова слышать.

– А я тебе приказываю. Пей, клоп малиновый! Не то туфлей по головизне тюкну, и икнуть не успеешь.

Бес копытцем мух отогнал и дерзким голосом выражает:

– Не пью. Пять раз вам повторять? Службы не понимаете, а еще военный. Ежели бы бесы, которые к пьяницам приставлены, сами пить стали, что бы это было...

Обиделся штабс-капитан, пальцем с амбицией помахал:

– Обалдуй ты корявый, разницы не знаешь. Пьяницы – это из нижних чинов, а из офицерского звания – алкоголики.

– Хоть алкоголик, хоть католик, – мне без надобности. Своего не упустим...

– А ты при мне бессменно, что ли?

– Само собой. Когда спите, я отдыхаю. Не взвод же к вам приставлять. Жирно будет.

– Давно при мне?

– Как вы еще в подпрапорщиках состояли, с той самой поры... Скучно мне с вами, господин Овчинников, не приведи черт!

– Какого же хрена тебе от меня надо? Чтоб я вокруг дома со шваброй промеж ног ползал?

– Зачем же-с. При вашем чине неподходяще. Пьете вы скучно. Ни веселости, ни поступков. При кузнеце я раньше болтался, так тот хоть с фантазией был. Напьется, я ему в глаза с потолка плюну, а он лестницу возьмет, да по ней задом наперед начнет лезть, пока в портках не запутается. Свалится, из носа клюква течет, а сам песни поет, собачка подтягивает... Интересно.

Фукнул штабс-капитан. Рюмку отставил, усы сапожной щеткой расчесал и говорит:

– Дурак ты серый. Тебе повышение дали, ко мне назначили, а ты об кузнеце вспомнил. Плюнь-ка в меня, попробуй, я тебя, гниду, вместе с домом спалю!

– Зачем же мне в вас плевать-то? Тоже я разницу понимаю. А дом спалите, сами и сгорите. Преждевременно это, потому разворот вашей судьбы еще не определен.

– Какой такой мой разворот?

– Не могу знать. Это от водки да от старших чертей зависит.

– А ты-то сам из каких будешь? Какие еще там у вас старшие?

– Как же. Примерно как у вас, военных. Сатана вроде полного генерала. Дьяволы да обер-черти на манер полковников. Прочие черти глядя по должности: однако все на офицерских вакансиях состоят. Ну, а мы – легкие бесы, крупа – на посылках. Наш чин – головой об тын...

Взъерепенился тут штабс-капитан, как индюк на лягушку. Как вскочит, как загремит, аж выюшки задрезбужали:

– Так ты, шпингалет, стало быть, вроде нижнего чина?! Да как же ты, глιστα малиновая, при мне сидеть насмелился! Встать по форме, копыта вместе!..

И словами его натуральными покрыл вдоль и поперек до того круто, что стряпуха на кухне с перепугу с топчана свалилась.

Однако бес не сробел. Не то чтоб встать, лег на край стола, языком, будто жалом тонким, поиграл и господина Овчинникова с позиции так и срезал:

– Первое дело, как вы есть в запасе, не извольте и фасониться. Где гром, там и молния, а вы, можно сказать, при одном голом громе

остались. Второе дело: не я вам, а вы мне, хочь я и рядового звания, подчинены... Счастливо оставаться, ваше высокородие, а ежели не сытно, дохлым тараканом закусите, – здорово на зубах хрустит...

Да с этим напутствием под стол скользнул, будто уж в подполье.

Крякнул хозяин, бутылку-матушку, чтоб обиду запить, перевернул, – ан в бутылке одно лунное сияние. В сухом виде предмет бесполезный.

* * *

Чуть вторая полночь из сада сквозь окна плянула, бес тут как тут. А уж Овчинников испугался было, не обиделся ли нечистый, – алкогольная моль, – за вчерашнее.

Вылез бес из бутылки, над лампой малиновые лапки посушил, спирт так болотным языком и вспыхнул.

– Ну, что ж, – спрашивает, – опять филимониться будете либо умственный разговор поведем честь честью?

– Черт с тобой! Трезвый я б тебе морду хреном натер, а в натуральном своем виде не могу без разговора. Зовут-то тебя как?

– Имени еще у меня нету. Очередь не дошла. Который черт у нас черные святцы составляет, седьмой год болен лежит, – ведьма ему за прыткий характер хвост с корнем вырвала. А фамилия моя Овчинников.

– Как Овчинников?! Ах ты, козел беспаспортный! Да это ж моя прирожденная фамилия...

– Так точно. Ваша и есть, – не ворона, не улетит. Мы завсегда по своим выпивающим для удобства фамилии носим. А ежели вам обидно, буду я рапорта Овчинниковым-младшим подмахивать...

– Рапорта подаешь?

– А как же. Да вы не тревожьтесь. Я честно. Вы вот счет путаете. Я рюмки лишней не прибавлю. Однако ж у вас послужной список подмок густо...

– Что так?

– Животных спаиваете. Да и не я вас подбивал, – хочь и бес, а до такой азиатчины не дошел... Позавчерась невинной козе картофельную шелуху перцовкой вспрыснули... А у нее дите.

Нехорошо, сударь, поступаете. Лучше уждохлых мук в табачке настаивать да в гитару с ложечки лить. Оченно против пьяной одури развлекает.

Нахмурился штабс-капитан, засопел. Ишь ты, сволота, еще и нотации читает... Губернантка безмордая.

Видит бес, что разговор в землю уходит, а ему тоже скучно за зеркалом с пауком в прятки играть. Перевел он стрелку, невинным голосом выражается:

– Извините, господин, давно я спросить вас собирался. Что энто за круглая снасть на главном подоконнике у вас стоит?

Штабс-капитан мутным глазом окно обшарил, перегар проплотил и обстоятельно бесу отвечает:

– Энто, друг, не снасть, а «штабс-капитанская сласть». Когда, стало быть, арбуз дойдет, в руках хрустит и хвостик у него вялым стручком завьется, – чичас я дырочку в нем проколупаю и скрозь воронку спирта волюю, сколько влезет. Дырочку воском залеплю да глиной кругом арбуз густо и обмажу. Недели три его на солнышке на окне выдержу, спирт всю медовую мякоть съест, сахар в себя впитает... А потом, душечка ты моя, глину я оскробу, пробочку восковую к черту и сок, стало быть, скрозь чистый носок процежу... Так аромат по всей комнате и завьется. Деликатная вещь, – другая попадья хлебнет, так вся шиповником и зарозовеет. Однако ж я только на именины свои и потребляю, потому меня это дамское пойло не берет... Я, брат, теперь на перцовку с полынной окончательно перешел, да и то слабо. Хоть на колючей проволоке настаивай...

Заинтересовался бес до чрезвычайности. Да как же он рукоделие энто овчинниковское проморгал? Пристал, как денщик к мамке, скулит-умоляет: дай ему хоть с полчашечки «штабс-капитанской сласти» попробовать. И про устав свой забыл, до того губы зачесались.

Ан хозяин уперся. Повеселел даже, глаза заиграли. Ишь, ржавчина, чистой водки не пьет, подай ему сладенькую! Сложил четыре шиша, бесу поднес и для уверенности восковой свечой глину на арбузе крест-накрест со всех сторон закапал. Будто печать к денежному ящику приложил... Расколупай теперь. Гитарку взял: трень-брень, словно никакого беса и в глаза не видал.

– Угобзился, – говорит бес, – очень вас за угощение благодарим. Уж когда вы, господин, на теплую фатеру в преисподнюю в особое отделение попадете, угощу и я вас тогда! Будьте благонадежны.

Удивился штабс-капитан, даже тужурку застегнул.

– А разве... там... для нас особое отделение есть?

– Как не быть. Ублаготворят вас по самые ушки...

Ну, тут уж хозяин взмолился: расскажи да расскажи, какое там обзаведение... Само собой интересно, – душа своя, некупленная. Как ей там, голубушке, опохмеляться придется.

Однако и бес язык узелком завязал.

– Не скажу, лучше, господин, и не мыльтесь. Присягу через вас не нарушу... Давно ли у вас арбуз-то на окне стоит?

– Недели две с гаком. Поди, совсем настоялся. Да ты брось про арбуз-то.

– Зачем бросать, подымать некому... А вот ежели вы, господин, завтра о полночь печать с арбуза снимете, так и быть, нонче душу из вас в сонном естестве выну и на часок ее туда контрабандой доставлю. Насчет этого присяги не принимал. По рукам, что ли?

А сам на арбуз косится, кишка в нем главная, наскрозь видно, так и играет...

– По рукам, – говорит штабс-капитан. – погоди, последнюю для храбрости пропущу...

Минуты не прошло, отвалился Овчинников от бутылки, на пол сполз. Лампа погасла. Поковырялся бес около поднадзорного своего, в лапе чтой-то зажал – вроде паутинки голубенькой, – спиртом так от нее и шибануло... Вихрем на копытце закружился и скрозь пол угрем ушел. Только половицы заскрипели.

* * *

Очухалась штабс-капитанская душа в алкогольном отделении, в самом пекле, притулилась в угол, во все бестелесные глаза смотрит. В пару да в дыму ее не видать, народу прорва, словно блох в цыганской кибитке...

Грешник тут один навстречу попался: штопор каленый в него ввинчен был по самую ручку, из пупка кончик торчал.

– А что здесь, – спрашивает Овчинников, – и военный отдел есть либо все вперемешку?

– Ох, есть, – говорит грешник. – Новичок вы, надо полагать. Сейчас вами займутся...

Испужался Овчинников, руками замахал.

– Да мне не к спеху! Не извольте беспокоиться... А вы сами из каких будете?

– Акцизный чиновник. На земле в пьяном виде подрался, пробочник в меня собутыльник и всадил. Вот теперь он во мне наскрозь и пророс, мочи моей нет... Плюньте на кончик, остудите хоть малость, слюнка у вас еще свежая.

Плюнул Овчинников, зашипел штопор, грешник пот со лба вытер.

– Ох, спасибо! Ежели интересуетесь, пройдите вона туда за русскую печь, там военных мучат. Дела по горло, черти с копыт сбились, авось вас не скоро приметят.

– А нижние чины, извините, отдельно или с офицерским составом вместе?

– Ох, не могу знать... Матросы, кажись, есть. А солдаты не очень-то прикладывались, в казарме не загуляешь... Однако ж не ручаюсь... Ох, ирод мой ко мне направляется, мочи моей нет.

Так от него Овчинников и прыснул. Обогнул русскую печь, видит, бильярды понаставлены, черти вместо шаров головы катают. Эва! Признал. Вон подполковник Сидоров, капитан Кончаковский... Страсти-то какие! Оба в запрошлую Масленицу в бильярдной скончались, – на пари друг дружку перепивали...

Дальше – больше. Из водки пруд налит; берега шкаликовые, – голые моряки руками в лодках гребут, языками до водки дотягиваются... А она, матушка, от них так и уходит, так и отшатывается... Мука-то какая!

За прудом в беседочке огромная бутыль стоит, ведер, поди, на сто, вся как есть спиртом налита... А в спирту знакомые кавалеристы настаиваются: которые ротмистры, которые чином повыше. Одни совсем готовы – ручки-ножки макаронами пораспустили, другие еще переворачиваются, пузыри пускают.

Потупил штабс-капитан глаза, дух перевел. Слышит – музыка гремит... Черти на армейских разгуляях верхом едут, за плечами, вместо винтовок, шпринцовки торчат. Шпорами раскаленными в

бока грешников бьют, на дыбки поднимают. Многих он тут признал, даром что без мундиров, в одних ремешках поперек брюха. С левой стороны покойный воинский начальник Мухобоев удила грызет, пена так мылом на пол и валит. Во второй колонне командир нестроевой роты, который по весне в бане горчишным спиртом опился, – черт его по ушам сороковкой бьет, а он задом, как кобыла на параде, так во все стороны и порскает... В хвост полковой адъютант Востросаблин, – тоже, стало быть, скапустился. А уж на что пить был горазд: бывало, в холодный самовар зубровки нальет, черешневый чубук опустит, да и сосет, как дите. А теперь дослужился, – ведьма на нем козлозадая сидит, друшлаком под брюхо взбадривает, – срам-то какой...

Гремит музыка, – бесы на пригорке в пустые кости свистят, будто в гвардейские сопелки... Дьявол эскадронный команду подает:

– Слезай! Жеребцам морды открыть! Шпринцовки на руку! Вали!

Враз черти, каждый своему грешнику, в нутро полный шприц водки вогнали. Только, значит, те проглотили, облизнуться не успели, а черти назад по команде всю водку и выкачали... Мука-то, мука-то какая!

Бросился Овчинников промеж чертовых ног, чтобы, не дай бог, нечистым на глаза не попасться. По темному коридорчику пробежал, пол весь толченым бутылочным стеклом посыпан, – все подошвы как есть ободрал. Видит, в две шеренги грешники стоят, медную помпу качают. Пот по голым спинам бежит, черти сбоку похаживают, кого шомполом поперек лопаток огреют, кому копытом в зад жару поддадут.

Спрашивает штабс-капитан правофлангового:

– Для кого, милый, стараетесь? Куда спирт-то гоните?

Тот копоть с лица шакенбардой вытер, с осторожностью объясняет, пока надсмотрщик рогатый на другом фланге бушевал:

– Для себя, друг, стараемся. Мы все тут офицеры запаса, которые по пьяному делу службу побросали. Раз в неделю спирт себе под котлы накачиваем, – военных чиновников на денатурате, а нас на чистом спирте кипятят... Кабы знать, за версту бы эту белую головку на земле обходил. Качай теперь да кипи, только тебе и удовольствия...

Отошел штабс-капитан по стенке. Головка у него вспухла, коленки подламываются, от винного букета глаза фонарями вздуло.

Вот, стало быть, какая ему позиция предстоит альбо еще градусом крепче.

За локоть его тут ктой-то перехватил, так он квашней и осел. Ужели сейчас мучить начнут, законного срока не дождавшись...

Ан глянул вбок, весь просиял, будто своего полка капельмейстера увидел: бес это его малиновый за руку снизу тянет, подмигивает:

– Ну что ж, все обсмотрел?

– Так точно, – отвечает штабс-капитан, сам руки по швам держит. – Покорнейше благодарим.

– То-то. Ты, поди, думал – финиками-пряниками тут вас, спиртодуюев, кормить будут... А самого главного небось не видал?

Затрясся Овчинников, не знает, об чем речь. И без главного сыт.

– Подполковника интендантского не видал, который живую тварь вином спаивал?

Посерел Овчинников, будто пеплом ему личность натерли...

– Никак нет... А разве за это особо полагается?

– А вот ты полюбуйся.

Видит штабс-капитан – сидит на карусели, на горячей терке хлипкий, припаянный старичок. А в середине, где механику крутят, – скворцы, гуси, собачки, всякая пьяная живность... Как налегли они на железную ось, да как стало старичка встряхивать, да качать, да подбрасывать, да вокруг себя в двойной пропорции вертеть, – хочь и не смотри! Мутит его, корежит, кишки к горлу подступают, а сблевать, между прочим, не может. Ну, а зверье, конечно, радо: верещит, лает, гогочет, – передышку на малый миг сделают, старичку на плешь монопольным сургучом покапают – и еще пуще завертят. Давится прямо подполковник, до того ему тошно, а облегчиться нельзя.

Закрыл тут штабс-капитан личико руками, на пол мешком опустился. Не выдержал, значит... Потер ему малиновый бес шершавым хвостом уши, кое-как в чувство привел, через руку перекинул и потаенной шахтой наверх, в Роменский уезд, Полтавской губернии, верхом на сквознячке так и вознесся.

Сидит штабс-капитан у окна хмурый, как филин, кислое молоко хлебает. На столик с полынной плянет, – так к кадыку и подкатит...

Полночь пробило. Слышит он – шуршит за зеркалом, сухой бессмертник качается, – малиновое мурло на свет выползает.

– Здравствуйте, господин! Молочком закусываете?

– Пшел вон, тухлоглазый. Я сегодня трезвый... Как кокну тебя подстаканником, – слизи от тебя не останется. Зеркала вот только жалко.

Удивился бес. Голос, действительно, натуральный. Будто и другой кто разговаривает. Подбородок чисто побрит. Рубаха свежая... Пуговицы на тужурке, которые удавленниками висели, все крепкой ниткой подтянуты. Чудеса...

– А как же, – говорит, – насчет «штабс-капитанской сласти»? Я свое сполнил, а вы про подстаканник намекаете. Некоторые благородные слово свое держат...

Встал штабс-капитан. Расписки не давал, ан честь в трубу не сунешь... С арбуза печати сбил, глину обломал, на стол поставил. Сам отвернулся.

Прыгнул бес на арбуз, верхом сел, да как припадет – и процеживать не стал.

– Ох, до чего, дяденька, скусно. За-зы-зы... До середки дошел... Пошли вам черт доброго здоровья.

Ушками шевелит, хвостик то в кольцо завьет, то стрелкой выпрямит... Хрюкает, ножками сучит, – дорвался Игнашка до сладкой бражки...

Отвалился, обмяк, из малинового кирпичным стал. Повернулся к штабс-капитану, сам баланс на арбузе еле держит.

– А ты что ж? Вали! Я с твоей сласти добрый стал... Пей в мою голову, считать не буду. Потому я нынче сам в алкоголиках состою. Клюква-бабашка, сбирала Парашка, на базар носила, чертенят кормила...

Снял господин Овчинников, слова не сказавши, со стены вишневый чубук, окно распахнул, подошел сзади к бесу да как дунет в него из чубука, так он, сквозная плесень, во тьму и вылетел, будто и не гостил.

С той поры и сгинул. Мужички только сказывали, будто у пьяных, которые из монополии по хатам расползались, стали сороковки из

карманов пропадать. Да в лесу ктой-то мокрым голосом по ночам песни выл, осенний ветер перекрикивал... Человек не человек, пес не пес, – такой пронзительности отродясь никто и не слыхивал.

А штабс-капитан окончательно на молоко перешел. Даже хромого скворца, который по старой памяти в руку клювом долбил, пьяного хлеба требовал, – от этого занятия отучил. Спасибо малиновому бесу...

Батюшка мимо проезжал, головой покрутил: на окнах у господина Овчинникова заместо наливок бумажные анделы на нитках красовались, – случай в Роменском уезде необнаковенный.

Однако ж, как и допрежь того, гости овчинниковский хутор полным карьером объезжали. Постный чай да кислое молоко... Уж лучше к кадке в дождь подъехать да небесной жидкости в чистом виде напиться.

Кому за махоркой идти *(Солдатские побрехушки)*

Послал в летнее время фельдфебель трех солдатиков учебную команду белить. «Захватите, ребята, хлебца да сала. До вечера, поди, не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуете. А к завтраму в обед и вернетесь».

Ну что ж! Спешить некуда: свистят, да белят, да сигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили. Сенники в уголке разложили – прямо как на даче расположились. Начальства тебе никакого, звезда в окне горит, сало на зубах хрустит, полное удовольствие.

Подзакусили они, подзаправились. Спать не хочется – соловей над гимнастикой со двора так и заливается, прохлада из сеней волной прет. Порылись они в кисетах-карманах, самое время закурить – ан табаку ни крошки...

Вот один солдатик и говорит:

– Что ж, голуби, обмишурились мы, соломки из тюфяка не покуришь... Без хлеба обойдешься, без табаку – душа горит. Придется нам в город в лавку идти, час еще не поздний.

Второй ему свой резон выставляет:

– На кой ляд всем троим две версты туды-сюды драть. Мало ль мы на службе маршируем?.. Давайте на узелки тянуть, – кому выйдет, тот и смотается.

А третий, рябой, свой план предоставляет:

– Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти...

На том и порешили.

Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, – первый солдатик и завел:

– В некотором полку, в некоторой роте служил солдат Пирожков – из себя бравый, глаз лукавый, румянец – малина со сливками. Служил справно, все приемы так и отхватывал, – винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо – аж ротный кряхтел... Однако ж был и у него стручок: чуть в город его уволят, так он к бабьей нации и лип, как шмель к патоке. Даже до чрезвычайности...

Не перебивайте-ка, братцы, спервоначалу будто и правда означается, ан сейчас чистая брехня и пойдет... Встретился Пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей одной завлекательной, – поведения не то чтобы легкого, не то чтобы тяжелого, середка на половинке. Сели они на травке, – цветок сбоку к земле клонится, девушка к цветку, Пирожков к девушке, – под мышку ее зажал, аж в нутре у нее хрустнуло. Однако ж не на ангела напал, – вывернулась рыбкой, да как двинет локтем под жабы, – так Пирожков и екнул.

– Что ж, – говорит солдат, – ужели тебя, девушку, в невинном виде и поцеловать нельзя?

А она, известно, осерчавши, потому блузка у нее от солдатского усердия лопнула, сатин по шесть гривен аршин.

– Тогда, – говорит, – меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет.

Да с тем юбку в зубки, в кусты и улетела...

Вертается солдат в роту, – дюже его заело... То да се, занятия начались, дошло до отдания чести, да как во фронт становиться... Новобранцев отдельно жучат, – кто ногу не доносит, кто к козырьку лапу раскорякой тянет, – одновременности темпа не достигают. А старослужащие ничего: хлоп-хлоп, один за другим так и щелкают.

Дошло до Пирожкова, – экая срамота. Лихой солдат, а тут, как гусь, ногу везет, ладонь вразнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает, хочь брось. А потом и совсем стал, – ни туда, ни сюда, как свинья поперек обоза. Взводный рычит, фельдфебель гремит, полуротный ландышевыми словами поливает. Ротный на шум из канцелярии вышел: что такое? Понять ничего не может: был Пирожков, да скапутился. Хочь под ружье его ставь, хочь шкварки из него топи – ничего не выходит. Прямо как мутный барбос.

Фельдфебель тут к ротному подскочил, на ухо докладывает:

– Образцовый солдат был, ваше высокородие... Чистая беда! Придется его, видно, в комиссию послать, видно, у него мозговая косточка заскочила...

Подумал ротный, в усы подышал:

– Повременить придется. Авось очухается... Ужель такого солдата лишаться? В город его только нипочем не пущать, а то он, во фронт становясь, начальника дивизии с ног собьет, всю роту испохабит.

Время бежит. Пирожков ничего, тянется, – по всем статьям первый, окромя того, чтобы во фронт становиться. Как занятия, – его уж насчет этого и обходили; что ж зря камедь ломать, дурака с ним валять.

Ан тут-то и вышло. Нежданно-негаданно завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил. А потом отдание чести. Стал сбоку монумент монументом, солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются, знай только перстом знак подавай: «проходи который...» Видит полковник, все прошли, один бравый солдат по-за койкой столбом стоит.

– А это что за принц такой? Пятки у него, что ли, стеклянные. А ну-кась, выходи, яхонт!

Подлетает тут ротный, – так и так, – да все насчет солдатской мозговой косточки и выложил. Как загремит командир полка, аж все голуби с каланчи, супротив роты, послетали:

– Какая там косточка! Показывать не умеете!.. Растяпа разине на ухо наступил. Я ему эту косточку в два счета вправлю. Эй, орел, подикась сюда! Стань на мое место! Вот я тебе сейчас сам покажу.

Отошел командир полка подале, да как стал шаг печатать, так по стеклам гулкий рокот и прошел... Ать-два! На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым, каблук к каблуку, руку к козырьку. Красота!

– Понял? – спрашивает.

– Так точно, ваше высокородие.

– А ну-ка, сделай сам!

Ахнул тут и Пирожков: шаг в шаг, плечики в разворот, хлопнул во фронт перед командиром, да так отчетисто, – чище и в гвардии не сделаешь...

– Ну, вот, – говорит командир, – видали? Показать только надо как следует.

Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки чувств в город до вечера отпустить. А тому только того и надо. Пришел скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою кралю...

Дале что ж и говорить... Пришлось ей белый флаг выкинуть, на полную капитуляцию сдаться, потому условие он честно сполнил – бабьей их нации сто батогов в спину! Так-то вот, братцы, а за табачком-то идти не мне...

* * *

Крякнул второй солдат, начал свое плести:

– Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте, – чем ей, братцы, старенькой, пропитаться?.. Была у нее коровка, давала – не отказывалась – по ведру в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко, жила ни узко, ни широко, – пятак да полушка, толокно да ватрушка.

Пошла как-то коровка в господские луга – на тихие берега, нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей, милые мои, и расперло... Завертелась бабка, – без коровки-то зябко, кликнула кузнеца, черного молодца... Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, – лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадрили. Да коровка-то, дура, упрямая была, – взяла да и померла.

Куды тут, братцы, деваться, чем ей, старенькой, пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них пять полных ковшей, стала опять разживаться...

Ан тут, в самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры:

– Нет ли у тебя, бабушка, молочка заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет...

Поскребла бабка загривок, дала им жбан мышинных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать

завалились. Только глаза завели, слышат – мыши в головах заскребли, скулят-пищат, горестно голосят.

– Что ж это за манера, господа офицеры? Бабка нас дочиста выдоила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую полосу лущат... Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно.

Приклонил тут старший офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в золе, посадил на ладонь, да и спрашивает:

– Что ж нам теперь, пискуха, делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло – мышье. Мы тому не повинны...

Старшая мышь и говорит:

– А вы, ваши высокородья, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные – пролетные, люди вы молодые – беззаботные. Соберите в фуражку по рублю с головки, старушке на коровку...

Ну-к что ж... Офицеры – народ веселый, завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек, старушке поднесли, да и прочь пошли.

С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хочь брось... Кто всех сочтет, тот за табачком и пойдет.

* * *

Третий, рябой, принахмурился, соломину из тюфяка перекусил и начал:

– Не с чего, так с бубен... Прикатил, стало быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в тую ж минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает:

– С какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слизал?

Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и вполголоса рапортует:

– Все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первой роты командир под винтовкой стоит – тетка его за разбитый графин поставила; второй роты – бабушку свою в Москву рожать

повез; третий роты – змея на крыше по случаю ясной погоды пускает; четвертой роты – криком кричит, голосом голосит, зубки у него прорезываются; пятой роты – на индюшечьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевши; шестой роты – отца дьякона колоть чучело учит; седьмой роты – грудное дитя кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала...

– Стой! – закричали земляки. – Вот и проштрафился...

– Как так проштрафился?

– А разве ж ты, моржовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как восьмой роты командирова супруга в запой войдет, – их высокородие дите самолично из рожка кормит?.. Дуй скорее за махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали...

Правдивая колбаса

Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу, как следует, произойти, к унтер-офицерскому званию подвинтиться.

Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Болхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, – не портянкой, мол, утираемся, присягу сполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Болхову расплывется: ай да Петрушка, жихарь. Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, – отчим ее по кожевенной части в Болхове же орудовал, – розаном-мальвой расцветет. Вислозадым Петрушку все ребята на гулянках дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «за отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, ан манит его и повыше.

Все бы ладно, да вишь ты... Ждучи лосины, поглотаешь осины. Невзлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи бог. Из себя маленький кобелек, жилистый, да вострый, на Светлый Христов праздник и то вдоль коек гусиным шагом пошагивает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щаж ест, – порцию ему особую выделяли, – уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом, ерыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальными словами обкладывал, – знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал.

А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, резедой-мылом мылит. Часы в три серебряные крышки с картинкой – мужик бабу моет, – у подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а сквозь морду этакое ехидство пробивается: «Лайся, шкура, красная тебе цена до смертного часу четвертной билет

в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай-сахар позову, – придет». С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрить. В полковой церкви всех толще свечу ставил, даром что рядовой.

Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не в очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит, – стой на задворках у помойной ямы идиолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он вместо портянок штатские носочки в воскресный день напялил, – вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу, на корточках с баками над головой – от царского портрета до образа Николая Угодника... «Звание солдата почетно», – кто ж по уставу не долбил, а тут на-кося: прыгай, зад подобравши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с одной амбицией прыгать не стал. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит... Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, – амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка вкусом не сладка.

* * *

Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал, – даже вдовам и то помогало, – от зубной скорби к пяткам пьивки под заговор ставил. Знахарь не знахарь, а пронзительность в нем была такая: за версту индюка скрадуют, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.

Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки свернул к старичку. И точно, – откуль такой в слободу свалился: сидит килька на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода будто мох

конопатый... На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит.

Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно спрашивает:

– Заездил тебя рижский-то, образцовый?

Крякнул Еремеев, языком подавился.

А тот дальше:

– На море, на окияне сидит бес на диване, малых собак грызет, большим честь отдает... Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю. Как звать-то?

– Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.

– Экий ты, братец, вякало... Гильдия твоя мне нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит. Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взводу учебной команды, а прочим как знаешь... Скорое средство тебе дать либо с расстановкой?

Встрепенулся солдат, вскинулся:

– Да уж нельзя ли как-нибудь залпом! За нами не пропадет... Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, говорит, тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в нее да меня же по личности...

– Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елозь, дай крючочек вынуть. Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?

– Так точно... Ах ты ж господи, как это вы в самую точку! Взводные с вольноопределяющимися им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для упрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.

– Вот и расчудесно. Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник ему не подсовывай, – действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет наружу – шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?

Переступил Еремеев подковками, дрогнул.

– А они, то есть фельдфебель, от вашей колбаски не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.

Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого обалдуя еще не бывало. Пососал скоропомощный язык, сплюнул.

– В унтер-офицеры метишь, а сам дурак, в чужой пазухе блох ищешь. Я, сынок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе, халява, не будет.

Взмолился Еремеев, еле упросил, колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.

– Чего ж с этой колбасой ожидать-то?

Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:

– На море, на окияне сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дело себя не окажет... Ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй на хату, выдуй солдата, – баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.

Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон – направление на дом с красной крышей, – замаршировал в свою учебную команду.

Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкафчике оказалась. Должно, вольноопределяющийся Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.

Сгрыз он ее дочиста, до веревочки, скус как скус, чуть-чуть мышинным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть. Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия. Рыгнул, как полагается. То да се, – «подымание на носки и плавное приседание». Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настезь, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль, вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.

Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, плюнул вбок на фельдфебеля и спрашивает:

– Ты чего ж это, Игнатьич, ухмыляешься? Попову кобылу во сне доил, что ли?

Фельдфебель ладонь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как резанет:

– Смешно уж больно, ваше высокоблагородие. В команде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать не можете. Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчерась здорово поднесла...

Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, – вот-вот пояс на брюхе лопнет.

До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскинется:

– Ты что ж, еж тебе в плотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал?! Га!

Рота не дышит, прямо в пол выросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое:

– Да, почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.

Мать честная! Ну тут пошло, действительно...

– С кем разговариваешь?! Перед кем стоишь?! Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?..

– Никак нет. Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего высокоблагородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял, для своего же начальника старался... Занапрасно обижать изволите...

А сам все тянется, аж посинел весь... Хоть язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, – ишь чего колбаса-то делает...

Ну тут у ротного и слов не стало, – случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, фельдфебель, в мозги вода попала. Как прикажете?

Нечего сказать – крутая каша, хоть топором руби. Махнул ротный рукой: «Убрать его, лахудру, пока что», – и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.

А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию,

посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хочь поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не то еще наговорю...» Обвязали, – уж в такой крайности пушай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно: коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.

* * *

Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая двуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание, – достались Терешке черствые лепешки.

Доктор ему чичас трубку в сосок. «Дыши, – говорит, – регулярно. Правый глаз закрой, посвисти ухом... Какой у нас теперича месяц-число?»

– Месяц, – отвечает фельдфебель, а сам трясется, – апрель, число третье. Да вы б и сами, вышескорodie, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.

Затопотал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полуумного возьмешь?

Дежурный офицер из каморки вышел, – поинтересовался.

– А, Игнатыч? Что это, братец, с тобой?.. Меня знаешь?

– Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются... Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то что с шашкой...

Обжегся подпоручик, крякнул, с тем и отъехал.

На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка наскрозь прошла, – лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, ан ротный его придержал:

– Лежи, лежи, Игнатыч. Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка... Под суд тебя отдавать жалко. Да по всему видать, накатило это на тебя с чего-то.

– Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвоьте в команду вернуться.

– Не могу, друг. Послезавтра комиссия, а там что бог даст.

Привстал было штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за китечек с почтением придержал, докладывает:

– Дозвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запомывал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный, лакированный пояс надел, – не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать...

Усмехнулся начальник команды, до чего, мол, фельдфебель старательный – в мозгах вода, а службы не забывает.

Доктор тут подкатился. «Ничего, – говорит, – он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следует. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем...»

Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу – овсянкой, черти, кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика, – доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает... Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается? Небось рады мыши, – кота погребают. «Ладно, – думает. – По картинке-то праздник мышам боком вышел...» Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.

Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть? И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот, в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних занятиях источит?

Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил, – жалостливый был, гадюка.

– Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.

И колбаску ему сует дополнительную.

Поскреб Еремеев в затылке, – один глаз злой, другой – добрый.

– А может, не давать? Вишь, его как с нее разворачивает...

– Эх ты, вякало! На море, на окияне стоит дурак на кургане, – стоит не стоится, а сойти боится... Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах да ох – на том речки не переехать. На половине, брат, одни старые бабы дело застопоривают.

Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вздохнул, колбаску за обшлаг – и на улицу.

А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец, – из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схрюпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.

Поиграл доктор перстами, глянул в окно.

– А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?

– Черная сморода, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки ощипаны, как не узнать. Вы ж всегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.

Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:

– Два да пять сколько, к примеру, будет?

Вопрос, можно сказать, самый безопасный.

– Ничего не будет, ваше благородие.

– Как так, ничего?..

– А очень просто. Потому как вы в приданое две брички да пять коней получили, – ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.

Нахмурился адъютант.

– Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной!

Тут, само собой, младший лекарь вступился:

– Испытуемых ругать по закону не допускается. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?

– У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через банщиков всем известно, – правая-то нога у вас

шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая...

Сгорел прямо лекарь: правда глаза колет.

А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает; видит – опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.

То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен, – сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.

Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от него под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.

Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не плядели, – а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.

По-старому каблучки вместе:

– Здравия желаю, господин фельдфебель!

– Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло?

Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее:

– Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно серчаете. Очень об вас сожалею, такого начальника, можно сказать, и днем в погребе не найдешь... В гвардию б вас, и то б не осрамили...

– Лиса, лиса! Мало я тебя еще причесывал.

– Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должон я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с им приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть... Не желаете ли в Болхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая... Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите – не откажутся... Папаша одряхлел,

после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?

Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, – аж сундучок под им хрястнул... Солнце заходит, месяц всходит.

– Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу... Уж будьте благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить...

Еремеев, само собой, дозволяет.

– Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое... Невеста там у меня, неудобно.

Фельдфебель аж ногами застучал:

– Да помилуйте, Петр Данилыч, – отчество даже, хлюст, вспомнил. – Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены б не было. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться...

– То-то.

Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки натягивать. Хоть и не видно, а все ж деликатность и внутри оказывает...

Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает, – правильно это волшебный старичок насчет письма присоветовал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой... Доволен папаша будет: во всем Болхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет, – не свалишься.

Катись горошком...

Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ, нутренность свою полоскать. Балыку в ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир, в полку один. Человек уж немолодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь, на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, скрозь увальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный наказ послала: «Приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет – либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданных моих чашек лакать будут». Отдохнул, значит.

Высадил он мамашу, грузную старушку. Ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок. «Прошу покорно, жаждались! Эй, Митька, тащи чемодан, дорогая мамаша приехавши, – крыса ей за пазуху...»

И хошь бы одна заявила: пса с собой привезла закадычного. Голландской работы по прозванию мопс Кушка. Личность вроде как у ей самой, только помельче.

Отвели ей с псом самолучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.

Ходит ротмистр вокруг стола, шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Кипит. Денщика кликнул.

– Продышаться пойду... Какие мамашины приказания будут по буфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкоп домашний рыть, выпрашивать, – смотри у меня, Митрий!

– Слушаюсь, ваше высокородие. Промеж дверей пальцев не положу.

Денщик что ж. Человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал,

утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал, дело свое знает.

Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади Кушка хрипит, по сторонам, падаль, озирается, собачью ревизию наводит.

Заварила она чаю, половину топлёных сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молока не трескает.

Денщик Митька стоит у окна, мух на стене подавливает, ждет, что дальше будет. Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит:

– Что ж ты, друг ананасный, барином своим доволен?

– Так точно. Командир натуральный. Дай бог каждому.

– Гости у вас часто бывают?

– Батюшка полковой заворачивает. Странники кое-когда, проходящие... Хозяин дома вечером водопровод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши...

– Так. Выпивает командир с ними, что ли?

– Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.

– Квас, говоришь?.. Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли?

– Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьего дня парились. В парикмахерскую завсегда ходят. Волос у них жесткий, – дома не бреются...

– Так-так. На словах твоих хоть выпишись... Ну, а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?

– Никак нет. Я им кой-чего стряпаю. По средам-пятницам – рыбка. А так – либо каклеты, либо телятина под безшинелью.

Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол, шубу кроишь, да мне не по мерке.

– Вечерами что ж твой барин делает?

– Псалтирь читают. Другие господа на бильярдах, а они все псалтирь... Либо по тюлю крестиками вышивают.

Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, – руки по швам, язык штопором.

– Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гуляние обожает... Через улицу, смотри, на руках переноси – извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь.

– Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего ж не ответить... Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался.

– Патрет я с тебя писать буду, что ли?

– Никак нет. Не извольте беспокоиться... А только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших примерно лет невинной старушке в русской печке пятки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирать – раз плюнуть, а мне и за вас и за Кушку отвечать... Больно много наваливаете.

Испужалась она, завякала:

– Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу... Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!

Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придумала! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили: «С повышеньцем вас, Митрий Иванович! В собачьи мамки изволили заделаться...»

* * *

Заварила барынина мамаша кашу – ложка колом встанет. Куды командир, туда и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденки ли вспрыскивают, все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать... Мантильку свою черного стекляруса вскинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила, – злость кость движет, подол помелом развеивает.

Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется – по графинам пройти, в банчок перекинуться либо дамочку встречную легким словом зарумянить, – а старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у ей в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак да на щи. Способия она ему из пензенского имения высылала – то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Отянешь ее за хвост, – банку мухоморов пришлет, прощай, зятек, постучи о пенек...

И денщику тошно. Известно, барину туго – слуга в затылке скребет. Принесешь – криво, унесешь – косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Небельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется – на него и моль не сядет, собачка привилегированная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок.

Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, неумоготу ему стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплюнуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой губернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается... Командир аж побуреет. «Угу» да «угу», – только и ответов.

Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.

– Ступай, ступай, – говорит, – Митрий, Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водяного ожирения доведешь.

Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хрястнул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?

Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый, с ремешком энтим кобельковым. «Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно!» На сахарок Кушку в переднюю выманил... Однако слышат – рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!

– Не хотят на улицу. Прямо морду им чуть не оторвал. Изволят упираться...

Попробовала старушка: может, денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать. Все как следует. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием – ни с места! Лапы распялил, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.

Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как

приклеенная. Не вырывается...

* * *

Дальше да больше. Дарья-кухарка, через забор жила, кой-когда к денщику забегала – часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы встала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубы, кругом марш... Нечего чужие стены боками засаливать...» И в сахарнице куски с той поры пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин, бывало, придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнет – не считано, не меряно. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут на-кося, сахар!.. Присыпала перцу к солдатскому сердцу.

Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит это вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому, неизвестно.

– Чтой-то, – говорит старушка, – двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспрерывно. Смажь, Митрий, маслом, – мне завтра в гостиные ряды, ужель мокнуть.

Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тоже прояснило.

А она наддает:

– Ты, Митрий, вчера снова каклетки оставшиеся с буфета не убрал?

– Виноват. Тараканов на кухне морил, запомятовал.

– Виноват... А знаешь ты, что это означает? Ежели мыш неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.

Ротмистр под столом шпорами: дзык.

– Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.

Старушка указательной косточкой по столу постучала.

– Скаль зубки. Конечно, есть приметы сырые: нос чешется – в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают... Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут... Скажем, конь ржет – всякий дурак знает – к добру. А вот ежели

вороной жеребец в полночь на конюшне заржет – беда! Пожар в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.

Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.

– Либо поп дорогу перейдет, – отплеваться завсегда можно. А ежели он мимо перешедши остановится, да табачку из табакерки хватит, да, не приведи бог, чертыхнется, – уж тому черной воспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты завсегда обхожу... Опять же, собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллигория. На север – неблагополучные роды; на юг – потолок на тебя завалится; на восток – от грыжи помрешь; а коли на запад – молоко тебе в голову беспрременно бросится. Приметы без промаха.

Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается.

– Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностей. Это ж все равно, что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьянц «Наполеонову могилу» перед сном разложу.

Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марципанович, с судьбой шутить не барьеры брать...

А Митрий – у буфета он все крутился, – этаким сладким кренделем подкатывается:

– Оно точно-с. Которые благородные, сумлеваются. Мужичкий пустобрех. А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются орловские. Выдающие...

– Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять...

– Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели, к примеру, пробка в графине не тем концом воткнута, значит, гость в доме загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.

Глянула она на графин – поперхнулась, аж глаза побелели.

– Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадил за приметы твои дурацкие...

Пробку, как следует, перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с Кушкой на покой – в сонное царство, перинное государство.

* * *

Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прокинулась барынина мамаша, свет вздула да к командировым дверям:

– Вставай, зять, пожар!

– Дед бабу рожал... В чем дело, мамаша?

– Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?

– Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высосет. Беспокойная вы старушка...

Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется – чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужаси-то какие!

– Дом-то у тебя хоть застрахован?

Вздохнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку иссох... И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил...

А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала, – либо в эту ночь, либо в будущую гореть непременно придется. До утра обошлось, ничего.

А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж, – с денщиком нипочем не шел, – трах, у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Остановился, табачку из табакерки хватил, да как чертыхнется: «Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!..»

Вернулась старушка, гайки у нее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.

Что еще такое?!

– Ох, друг... Накликала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся... Кушку моего тебе завещаю. Имение – дочке.

Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать.

Подивился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела, что ли, мамаша?.. Да и впрямь чудно. Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул – «дзык-дзык», на коня сел и в манеж.

Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казенный, ему все это без надобности. Мало ли делов?.. Часы на стене – время на спине.

Не пила она, не ела цельный день. Все пронзительную соль с пробки нюхала да капустные листья к голове прикладывала. Сахар-провизию, однако, пересчитала, что следует выдала – и на ключ.

Вечером сидит командир один: полстакана чаю, пол – рома. Мушки перепархивают. Тишина кругом. Будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивости он пришел, в полсвиста походный марш высвистывает. Таракан через мизинный перстень рысью перебежал, – что оно по пензенским приметам означает: чирий на лопатке вскочит альбо денежное письмо получать? Тьфу, до чего мамаша голову задурила!

И вдруг, братцы мои милые, как взвояет Кушка в старушкиной спальне... Чисто гудок паровозный. Выскочила старушка в чем была, шерсть на ей дыбом, да к командиру:

– Куда окно мое выходит?!

– На север, мамаша...

Так она и присела:

– Да за что же это напасть такая. Неблагополучные роды?! Это у меня-то? У вдовой старухи?!

– Что ж вы ко мне привязались? С Кушки вашего и спрашивайте.

Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке – и за дверь.

Взвыл Кушка еще пуще.

Кинулась она в спальню.

– На юг воет!..

– Это что ж, мамаша, по вашему прискуранту выходит?

– Потолок завалится... Матушки!.. Выноси, Митрий, вещи, у меня уж с утра уложены. Часу здесь не останусь.

– Да что ж вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по ему ходить. Бросили бы...

– Нет, зятек, я-то в своем уме, а вот ты попрыгай. Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще Кушка подбавил... Чичас к ночному поезду коляску подавай. Помирать, так уж на своих пуховиках...

– Я, мамаша, вашему комфорту не препятствую, – а только, может, приметы ваши пензенские в нашей губернии не действуют?

– Шутить вздумал? Молебен дома отслужу, авось рассосется. Эва, сколько на одну женщину наворочено. Митрий!

Денщик тут как тут. Человек казенный. На барина смотрит: как, мол, прикажете?

– Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то одно к другому приторочено.

Митрий за вещи, старушка за Кушку, – ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. Катись горошком!

* * *

Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей, – праздник у ротмистра. За вороного жеребца пили, за ветер, который у скоропроходящего батюшки табак из табакерки выдул, за голландской работы собачку Кушку. Дивятся некоторые, руками разводят. Как все, мол, ладно вышло: сама себя пензенская мамаша легким одуванчиком вышибла. Головы ломают, случаи разные рассказывают один другого мудренее.

У кого петух в усадьбе все головой тряс, пока воры кладовую не взломали. Тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху – недели не прошло, струна на гитаре лопнула, да ее по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на таком месте, что самой не видно, – к добру это... Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж ты...

Командир только головой вертит: бабьи побрехушки... Глянул он невзначай на денщика, – стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, рот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме.

– Поди-ка, Митька, сюда, поди! Ты что ж это в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли, хлюст, тут волшебствами этими жеребьячими занимался?..

Молчит Митрий, глаза пучит.

– Говори, черт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой гулять на улицу не шел? Ась?

– Обидно уж больно, ваше высокоблагородие. Командир полка встренется, во фронт встать надо... А тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнят.

– Ты тут не таранти. Гни так, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло.

– Так точно. Каблуки я нашатырной водкой натер. Чуть энтого Кушку к каблуку на ремешке притянешь, так он на задок и садится, голосом голосит. Ни одна собачка не вытерпит.

– А жеребец почему ржал? Соли ты ему на хвост посыпал?

– Потому, ваше скородие, забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут оне на нас верхом семши, сахарницу стали запирать.

– Ты про сахарницу брось. Говори, да откусывай!

– Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнета Пафнутьева по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел.

– Шпингалет ты, я вижу... А батюшку ты как же ей подсунул?

– Никак нет. Дарья-куфарка отца-дьякона подрясник с веревки сняла, – проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, бороду мы, извините, из вашей заячьей рукавицы приладили. И того... чертыхнулась Дарья действительно. Голос у ее толстый.

Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит.

– А с собачкой чего проще. Я округ барыниной спальни над плинтусом внизу по стенкам балалаечную струнку приспособил, коробок от ваксы к ей подвесил. За веревку дернешь, коробок тихим манером и дзыкает, с которой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под энтую музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородие, прошу прощения – промашку я дал спервоначалу: на север, это точно, выть бы не следовало. Неудобно-с вышло.

Гости аж приседают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднес Митрию.

— Пей, бес. На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень, сна ее надолго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие к ней прикручены...

— Никак нет. Не извольте беспокоиться: потолок и пожар при нас и останутся. А насчет черной воспы я им средство на вокзале дал. Ежели они мозоль с Кушкиной пятки вырежут и в полночь его, в хлебный шарик закатавши, натошак съедят, никакая их воспа не возьмет...

Зареготали гости. Командир в ус ухмыльнулся:

— И что ж, поверила?

— Так точно. Полтинничек на чай дали-с. Ужли нашему орловскому способу ихней пензенской приметы не перешибить?

Черт на свободе

I. Бретонский курорт

Золотые пылинки солнца танцевали на высоких крышах вилл, на купальных будках, на голых детских спинках, на ржавой коробке из-под сардинок, которая валялась на песчаном бугре под тростником. И такое оно крепкое было, это июльское солнце, так сверкало, переливалось, искрилось, что только в темных очках можно было разгуливать по ослепительно светлому пляжу. Одни лишь дети и собаки не боялись солнца, и даже старый бульдог, на которого маленький мальчик примерял валявшиеся на песке теткин очки, упрямо сбрасывал их лапой наземь.

Был час отлива. Океан убрался далеко за маяк. Вдоль извилистых борозд песчаного дна синели лужицы. Взрослые и дети разрывали граблями песок, добывали съедобные, кремовые ракушки и бросали добычу в плетеные корзиночки. И когда какой-нибудь нетерпеливый мальчуган вскрывал зубчатую ракушку ножом, из створок показывался дрожащий оранжевый язычок.

Подальше по ноздреватым рифам, торчащим над травянистым дном, бродили босоногие люди и собирали «мули» – простые, черные устрицы.

Красный маяк торчал вдали гигантским наперстком. Яхты, словно пьянчужки, лежали на боку, уткнувши длинные кили в песок: они без воды не умели стоять прямо.

На берегу, уходившем песчаным лукоморьем вдаль, копошилась детвора – лепила, строила, рыла, весело и звонко пищала. В воздухе трещали на крепких нитках разноцветные змеи: змей – бабочкой, змей – птицей, змей – этажеркой, змей – колбасой.

Собаки мчались от детей к будкам, от будок к детям. Лаяли – сообщали взрослым, что дети на месте, играют, «уж мы за ними присматриваем»... Лаяли – сообщали детям, что взрослые тут, никуда не ушли, играйте, мол, спокойно.

Фотограф снимал группу за группой в картонном пароходе с дымящейся трубой (дым был тоже картонный), и все пассажиры улыбались и смотрели прямо в аппарат, потому что каждый хотел выйти красивым и симпатичным.

Из песка прыгали вбок какие-то жизнерадостные безвредные сороконожки. Над бледно-зеленым морским хреном реяла на одном месте хрустальная стрекоза. А под хреном божьи коровки устроили клуб: сползли на спичечную коробку головами в середину и грелись.

На молу толстый большой человек вытащил из воды сетку с одной креветкой и внимательно смотрел, как она выплясывала по дну сетки морскую мазурку.

Ветер носился сквозь решетку отельного парка к океану и назад, шелестел в лохматой лиственнице, относил вбок змеиную колбасу, рвал из рук синеглазой девочки пестрый платочек, но девочка крепко его держала и улыбалась.

И доброе солнце, словно приветливый курортный хозяин, сияло на всех с высоты.

II. Бухгалтер, который брился

В пансионе «Жемчужная Раковина» окна выходили на широкий океан. Веселый ветер влетал в комнаты, трепал занавески и звал пансионеров на берег. Успеете в городе насидеться в комнатах! Солнце сияет, валяйтесь на песке, бегайте вперегонку с собаками, катайтесь на велосипеде, покупайте в киосках бесполезные пресс-папье и сладкие сосульки, но не сидите, как пауки, по углам, – это вредно и скучно! Здесь вам не контора, здесь вам не школа, здесь вам не салон!

Всех соблазнил ветер, только во втором этаже у открытого окна, перед которым рос старый платан, сидел француз и завязывал вокруг шеи мохнатое полотенце. Он не мог уйти со всеми гулять, он должен был побриться.

Почему он не побрился утром? Видите ли, хотя он и был бухгалтер, приехавший на две недели в гости к океану, однако и бухгалтеру приятно хоть две недели в году не быть аккуратным – попозже вставать, сидеть у окна в кресле, покуривая трубку...

А потом вдруг посмотрел в зеркало: фи! весь подбородок чертополохом оброс... Очень он быстро на свежем воздухе обрастает. И через час обед, а к обеду, кто ж этого не знает, надо выходить гладким-прегладким. Как абрикос, присыпанный пудрой.

Перед бухгалтером была расставлена на столе целая лаборатория: одеколон, мыльница, пудреница, кисточка, безопасная бритва, опасный клинок, прозрачный камень для притирания, щипчики для вырывания из уха волос, английский пластырь и еще разные другие штучки, которых мы и названия не знаем.

С чувством, с толком и с расстановкой развел он мыло, покрыл душистыми мыльными сливками пухлые щеки и подбородок. Подпер языком правую щечку, с элегантностью фокусника пробрил бритвой гладкую дорожку, вскочил, бросил бритву на блюдечко и побежал к камину.

В городе он брился в один прием, но здесь ветер задорно дул в лицо, в небе плыли легкомысленные тучки, внизу на пляже оглушительно кричали дети... Впереди свободный, океанский день...

Нет! Бухгалтер тоже хотел поиграть, и так как в комнате никого не было, он стал выделывать перед каминным зеркалом такие курбеты, такие па, такие гримасы, что мухи в ужасе разлетелись с каминной доски во все стороны. Пояс на животе скрипел, легкий пиджачок, взметнув рукавами, полетел на диван, бухгалтер вошел в азарт, ничего не видел, ничего не слышал.

Уф! Он остановился, грациозно поднял с паркета выскочившую запонку и направился к столу. Нельзя же, чтобы одна щека была как атлас, а другая как терка...

Подошел к столу... и ахнул. Пудреница валялась на полу, лаборатория на столе – вверх дном... И самое плавное, самое-самое ужасное и главное: кисточка и безопасная бритва исчезли!

Ветер? Но стальная бритва и кисточка с тяжелой черепаховой ножкой по воздуху не летают. Ведь письмо от племянника и счет от прачки на столе, а они – бумажные... И увесистую никелевую пудреницу тоже не так просто сдуть на пол...

Он выплянул за окно – в саду никого. Заглянул под стол – никого. Под кроватью – никого. Высунул быстро нос в коридор – никого!

Тогда он стал звонить: один короткий звонок, два коротких, три коротких, один – бесконечный.

Прибежал желтоволосый коридорный мальчик, остроноса горничная, хромой старый лакей и сама хозяйка с салатником в руках, похожая на тыкву на высоких каблучках, завернутую в лиловое кимоно.

Никогда еще ни один постоялец не давал сразу столько условных звонков. Что случилось?!

Бухгалтер как бешеный налетел на весь персонал, вставить слова никому не позволил.

– Безобразие! Спиритические сеансы среди бела дня!.. Одна половина – бритая, другая – силъ ву пле!.. Как я выйду к обеду? Чтоб сейчас же были на месте и бритва и кисточка! Это фамильная кисточка, чистый барсучий волос, на черепаховой ножке серебряный герб! Чтоб нашлись! Сейчас же пропечатаю в курортной газете!

И все ахали, охали, лазили под стол, стукались головами, заглядывали под диван и в камин, чихали, но ничего не нашли...

Мыльная пена на левой щеке бухгалтера тем временем высохла, сквозной ветер сдул ее и, как легкое облачко, закружил по паркету, но

взволнованный бухгалтер даже и не заметил этого.

III. Девочка и неизвестно кто

Рядом с «Жемчужной Раковиной» грелась на солнце синяя вилла «Чайка».

Балкон густо зарос глициниями, так густо, что мохнатый шмель, забравшийся в чашу светло-зеленых веток, сердито гудел и никак не мог выбраться оттуда. Воробей присел на перила и удивленно склонил голову набок: где гудит? Кто гудит?..

Дама в васильковом халатике покачивалась в качалке в своей спаленке и прислушивалась. С кем это разговаривает на балконе ее дочка, маленькая Фло? Должно быть, сын прачки, пятилетний Жорж, пришел к Фло в гости... Он всегда так проскользнет в дверь, что и не заметишь. Как пушинка на сквозном ветру.

Фло, тихая и добрая девочка, должно быть, показывала ему свои игрушки.

– Вот это паяц. Он может сидеть и может лежать. А стоять не может, потому что у него мягкие ножки. Не бери, пожалуйста, стеклянных шариков в рот, это очень опасно. Один мальчик проглотил и потом всю жизнь кашлял. Выплюнь, пожалуйста... Зачем ты держишь картинку кверху ногами?

– С кем ты там разговариваешь, Фло? С Жоржем? Пришли его ко мне, я ему дам орехового печенья...

Но Фло, должно быть, не расслышала и продолжала оживленно болтать:

– Ах, какой ты непослушный! Раскрой ручку, что у тебя там такое? Да раскрой же! Кисточка? О, какая хорошенькая... Дай мне, я тебе плюшевую собачку подарю за это. Спасибо. Да ты мамину туфлю не соси, пожалуйста, что это за манеры такие...

Дама рассмеялась.

– Что ты, Фло, болтаешь такое? Неужели Жорж мою туфлю сосать станет...

Но Фло обиженно ответила с балкона:

– Ну конечно, сосет. Вот я его сейчас приведу, ты увидишь. И вовсе он не Жорж, а другой... Пойдем к маме! Вставай. Что же ты

упираешься, глупый? У меня мама добрая, и раз ты пришел в дом, надо познакомиться с мамой. Фи, какой невоспитанный!

«Вечно эта Фло что-нибудь такое придумает, – подумала дама, закрывая глаза. – Совсем затормошит мальчишку...»

На подоконник присел воробей. О! Дама заснула и уронила ореховое печенье. Боком-боком, осторожно подобрался к бисквиту и только хотел клюнуть – на балконе раздался отчаянный визг. Воробей с разгону налетел на зеркало, оттуда наскочил на умывальник, зачерпнул крылом воды и кубарем за окно.

Дама широко раскрыла глаза... Кто там кричит на балконе? Фло? Уж не Жорж ли ее обидел? Да ведь он каплюшка, перед кошкой и то робеет...

– Отдай мишку, слышишь! Зачем ты ему ручки выворачиваешь? Гадкий! Не хочу с тобой играть... Отдай мишку! Он разорвал мишкину блузку! В мелкие кусочки... Мама! Он похищает, похищает ми... Мама!

Дама побежала на балкон. Господи, целый месяц играли, никогда ссор не было...

Посреди балкона стояла маленькая Фло, топотала ножками в красных туфельках, грозила кулачком разросшейся над балконом глицинии и тоненько визжала, обливаясь слезами. Больше на балконе никого не было.

– Что такое? Кто отнял мишку? Где Жорж?..

Девочка еще сильнее затопотала ножками, но ни одного слова сказать не могла, слезы мешали, и только покрутила во все стороны бантом.

– Не Жорж? Ничего не понимаю! Откуда у тебя эта кисточка?! Кисточка для бритья, с монограммой... Да успокойся же. Фло, скажи мне, кто здесь был, с кем ты разговаривала? Фло?

Но в это мгновение над их головами в глицинии что-то зашумело-зашуршало, и вдруг с крыши пролетела мимо перил черепица и гулко хлопнулась внизу о плиты подъезда. Дама дико вскрикнула, схватила плачущую девочку за руку и втащила ее в комнату.

IV. Скандал в столовой

Пансионская кошка вышла с веранды в столовую «Жемчужной Раковины» и умильно посмотрела на длинный стол. Чистота какая! Вдоль всего стола свежая, накрахмаленная простыня (кошка не знала, что простыня и скатерть не одно и то же)... Салфетки, как сахар, – стоят горками между приборами... Неужели люди решатся такую красоту измять и скомкать? Цветочки в граненых столбиках: розовая гвоздика, лимонного цвета мимоза, и в больших вазах сухие сиреневые цветочки, что растут вдоль тощих полей, откуда морскую соль добывают. Кошке все ведь известно.

А тарелочек сколько! Сегодня, должно быть, парадный обед. Приехали туристы в тяжелом многоместном автомобиле, залопотали между собой на каком-то неизвестном кошке языке и все сразу в пансион ввалились. Поэтому и стол убрали, как невесту к венцу.

Любопытный зверек уже и на кухне успел не раз побывать. Но сегодня с ним обходились не очень приветливо, – даже у всех ног потереться не дали, – туристские деньги, видно, дороже кошачьих реверансов. И что готовили, не успела кошка толком узнать. Судомойка на нее с тарелками налетела, чуть не перевернулась... Повар по лбу хватил ложкой с соусом-провансалем, глаза залепил, полчаса на веранде потом отмывалась.

Между графинами на столе стояли лакированные куколки-негры и держали в вытянутых руках меню. Кошка бесшумно вскочила на стул, уперлась лапками о тарелку и с любопытством потянулась к меню: надо же прочитать, что сегодня на обед. Консومه... какой они в этих консоме вкус находят? Ого! Рыба...

Но вдруг за стеной кто-то сплюнул, чихнул, задвигал каминным экраном. Кошка быстро обернулась – не очень-то ей позволяли перед накрытым столом по стульям разгуливать... Обернулась, взлетела орлом на спинку стула и таким горбатым верблюдом выгнула туловище, точно из камина трехголовый бульдог появился... Каждый волосок на спине встал торчком, глаза выкатились и остолбенели, склоненная морда тихо зашипела, словно бомба, готовая взорваться.

Сидевший на веранде приезжий, старичок в полосатой кофте, сначала было подумал, что кто-то из столовой футбольный мяч ногой выбил. Но потом всмотрелся: кошка. Чего это она так испугалась?

Солнце сквозь плющ светлые пятна по цементу раскинуло. Ветер встряхивал плющ, пятна шевелились. На мачте болтался черный флаг: прилив. Океан такой добрый, такой ленивенький. Поблескивает на солнце, словно рыба в неводе... Старичок глубже вдвинулся в плетеное кресло, скрестил на груди полосатые ручки и прислушался... Океан шипит или это в животе предобеденный органчик бурчит? Или это в столовой хозяйка пульверизатором брызжет?.. Или...

Дзынь! Трах-тарарах-трах!!

Землетрясение в столовой?! Потолок обвалился?! Корова в окно вскочила?!

Полосатый старичок вбежал в одну дверь, хозяйка со щипцами для завивки — в другую, взволнованная прислуга — в третью, взволнованная пансионская собака — в четвертую.

Со дня основания «Жемчужной Раковины» ни одна душа еще не видала в ее столовой такого зрелища. Два стула, легкомысленно задрав ножки, лежали на полу. Осколки разбитого графина купались в луже воды, змейками расплывавшейся по паркету. Стеклянная пробка отлетела к самому порогу — грош ей цена без графина! Из-под стула торчал пучок мимозы, переломанный и взлохмаченный, словно его кто-то драл зубами... А на скатерти, на белой, цвета альпийского снега скатерти грубо чернели темные следы, точно озорной мальчишка-трубочист по скатерти на руках прошелся. И в центре стола перед меню валялась выпачканная в саже розовая подвязка и полосатые детские купальные штанишки.

Все, выпучив глаза, изумленно смотрели друг на друга. Только пансионный пес спохватился и, как опытный собачий Шерлок Холмс, тыкал морду в камин, под стол, лаял на подвязку, на пробку, прыгал на полосатого старичка и вообще вел себя как заправский дурак.

— Кошка?! — хрипло выдавила из себя хозяйка, вцепившись растопыренными пальцами в спинку стула.

Но старичок в полосатой кофте возмутился:

— Нет! Кошка сама еще до этой штуки насмерть перепугалась и вылетела из столовой, точно ее хотели на шомпол насадить. Вон,

взгляните в окно, она сидит под кустом и скромно ест стрекозу. Лапки беленькие... А ведь тут по скатерти угольщик разгуливал!

— Притом же, сударыня, — добавил старший лакей, — насколько мне известно, а мне пятьдесят девятый год, кошки никогда не кладут на стол предметов женского и детского туалета.

— И неграм голов они тоже не отгрызают, — задумчиво сказала горничная, рассматривая валявшуюся на скатерти голову куколки-негра и разорванное в клочки меню.

В портьере показался любопытный нос бухгалтера, того самого, у которого так таинственно исчезла кисточка для бритья и бритва.

Хозяйка пришла в себя и решительно хлопнула себя по атласным бокам. Капитан ведь не должен никогда терять головы! Разве она в пансионе не капитан? Бухгалтер сунул нос, в коридоре захлопали двери, не дай бог все постояльцы сюда прибегут, — прощай парадный обед!

— Ничего, ничего... Ласточка, верно, в окно залетела, опрокинула на пол рюмку... Есть о чем беспокоиться!

Глазами, локтями, коленками продирижировала направо и налево, разослала кого за новой скатертью, кого за метлой. Бухгалтеру сказала, что его давно в саду верхняя жилища ищет.

Минут через пять все было в порядке. Новая скатерть сияла, как новорожденная утренняя тучка, лужу на полу вытерли и матовое пятно загладили мастикой, из буфета достали нового негра и вставили в лапу меню. Подвязку в саже и купальные штанишки сунули за буфет, чтоб потом, когда придет полицейский сержант, было ему что рассматривать.

А у дверей, пока не прогудит обеденный гонг, поставили на страже судомойку. Для наблюдения. Может быть, это хозяйка соседнего пансиона «Лунный Луч», ради конкуренции, наняла какого-нибудь мальчишку, чтобы он факирские гадости устраивал. Не черт же среди бела дня по белой скатерти разгуливает.

Строго приказали судомойке: «Чуть что, бросайся на него, хватай за грудь и кричи... А мы все сбежимся, и...» Хозяйка сжала в мускулистой ручке большие каминные щипцы и свирепо помахала ими в воздухе.

Бедная судомойка осталась одна. Высморкалась в похожий на кухонное полотенце платок и решила твердо: чуть-чуть начнется, —

бог с ним, с местом! – через весь курорт пулей помчится за мост в местечко к своей старой тетке... Если у куколки-негра голову оторвут, ничего, – в буфете еще три запасные фигурки. А если *это* вылезет из камина и на нее бросится?

«Убегу! Честное слово мое, убегу!...»

V. Разговор в «Медном якор»

Вдоль канала выстроились в ряд курортные ларьки. Торговля совсем детская, совсем несерьезная: толстяк кондитер месил на глазах у всех цветную сладкую пасту, растягивал ее, как резиновую колбасу, хлопал о доску, паста блестела, отливала стеклярусом, свисала с прилавка почти до земли; в посудной лавчонке на полках стояли в ряд пестрые фигурки святых, чернильницы капель на пять чернил, перечницы, которые ни за что не хотели стоять прямо, разукрашенные французскими лилиями кошки с светло-зелеными глазами и с кругло раскрытым ртом, куда вставлялись цветочки; лари с океанскими раковинами, по краям оборочки, внутри райский блеск, – ни в одной квартире никуда такую раковину не приткнешь, а гвозди ею заколачивать нельзя, очень хрупка...

Мальчишки и девочки и, стыдно сказать, даже взрослые с трубками и без трубок сновали мимо, останавливались у прилавков и при свете вечерних ламп часами любовались пестрым хламом. Покупали редко, потому что с гигантской раковиной или с фаянсовой кошкой очень неудобно гулять.

Вдали у пляжа сверкала, вся в драконах и фонариках, вывеска китайского тира. Пожалуйста! Каждый опытный стрелок, хлопнув из детского ружья, мог получить в виде приза на выбор любую бесполезную вещь: жестяную пудреницу величиной с кастрюлю, или круглый бумажный фонарик, или пепельницу-русалку с селедочным хвостом и золотым бантиком на животе.

На тихом канале скрипели-покачивались стройные бездельницы яхты и грузные рыбацьи парусные лодки. Луна из-за жемчужно-палево-кудряво-дымчато-пухлых (ох, какое длинное прилагательное!) тучек жеманно посматривала на уснувшую воду, на извивавшуюся вдоль ларьков плотную толпу зевак, на острые кровли рыбацких домишек и вилл, похожих на спичечные коробки, поставленные на ребро... На темном мосту отчаянно ревел заблудившийся автомобиль. В центре набережной из раскрытого окна «Медного Якоря» лежился на панель сноп желтого света, доносилось густое гудение рыбаков, обрывки песен, визг хозяйской собаки, которой в этот вечер уже

седьмой раз наступали на лапы. В углу под пивным плакатом (огромной красной рожей, высасывающей пивную кружку) сидел старик рыбак, постукивал трубкой по столу и, наклоняясь поочередно к ушам недоверчивых приятелей, рассказывал совершенно невероятные вещи:

– Видел... Своими глазами. Вот как хозяйку вижу, с руками, с плечами, с бантиком... У самого перевоза сидел на мачте на лодке моего племянника и, когда я протер глаза и остановился, бросил в меня... биноклем.

– Ой ли?! Уж это вы, папа Жюль, хватили! – перебил старика лохматый рыбак, размазывая по столу картофельные крошки. – Черт с биноклем! Пожалуй, скажете, что он и столовыми часами на вас замахнулся?.. А не вылез ли ваш черт, папа Жюль, из бутылки рома? Бывает ведь, а?

Приятель засмеялся: га-га-га! Пустые стаканы на соседнем столике отозвались и дребезжали.

Папа Жюль хлопнул увесистой ладонью по краю стола, побагровел, запыхтел и полез в широкий карман.

– Вот лангуст это или бинокль, черт вас побери?.. Бинокль! Сам я его в себя с мачты бросил, что ли? Что же ты о роме толкуешь? Рома я выпил на своем веку больше, чем ты молока, однако никогда чертей в глаза не видал... Да и сегодня в рот я капли не брал, только здесь с вами рюмку-другую можжевеловой водки выпил. Что?

Рыбаки изумленно и осторожно передавали из рук в руки бинокль. Маленький, дамский бинокль, сиреневая эмаль, золоченый ободок... Уж совсем для черта неподходящий фасон. Ему бы в старинную подзорную трубку, обтянутую тюленьей кожей, смотреть... И что за черт такой? Никогда их в курорте не водилось, никогда по мачтам не лазали... Не врет ли папа Жюль, не ворону ли на мачте за черта принял? Нет, не врет, не такой человек. И ошибиться не мог: ворона дамскими биноклями не швыряется, да и глаза у старика зоркие, в безлунную ночь муху на мачте увидит.

Папа Жюль самодовольно спрятал бинокль в карман.

– Да. И что же вы думаете?.. Камзол на нем желтый, луна из-за туч выплыла, ясно я разглядел. Хвост под мышку, как шпагу, сунул. На голове картузик жокейский... Покачался он, пес нечистый, на мачте, встал потом во весь рост да как сиганет с мачты на сухое дерево, что у

ограды «Жемчужной Раковины» стоит!.. И исчез. Тьфу! Пойду к племяннику, скажу. Не нравится мне это – лодка опоганена, как бы чего не вышло.

Папа Жюль раскурил трубку, надвинул на глаза синий картуз и встал. Приятели молчали. Что тут скажешь? В окно долетел с ветром гнусавый и переливчатый плясовой мотив – за мостом в танцклассе плясали.

Вдали надрывалась собачонка, подвизгивала, захлебывалась, выбивалась из сил. Почему? Неизвестно. Стояла под сухим деревом у ограды «Жемчужной Раковины», задрав остроносую морду кверху, скребла передними лапами по коре и лаяла, и лаяла, и лаяла...

VI. Черная лапа

Поздно вечером девчонка-судомойка вытерла последнюю тарелку и, козлом приплясывая по кухне, стащила с себя грубый полосатый фартук. Втащили в кухню стоявшую у порога плетушку с сосновыми шишками – очень их повар обожал (лучшие растопки в мире!), заперла на задвижку выходящую в темный парк дверь. Как всегда, щелкнула выключателем сначала не в ту сторону, в которую нужно, потом уж как следует, взяла свои оставшиеся от обеда толстые сэндвичи и медленно стала подниматься по черной лестнице, напевая свою любимую песенку:

Когда я вырасту, я куплю «Жемчужную Раковину»!
Хозяйка будет судомойкой и будет бить тарелки,
А я буду хозяйкой и буду ее бить...

Пела тихонько, потому что однажды хозяйка услышала и так щелкнула ее в нос, что потом в голове целый час будильник звенел.

Подымалась, подымалась, и с каждой ступенькой свет все убывал, тонул под ногами. На верхней площадке перегорела лампочка, хозяйка ради экономии новой не давала. Судомойка дорогу в свою мансардную комнатилку наизусть знала, каждый день ее вытирала боками не один раз.

Ничуть не боялась, вытянула вперед руку и заскользила большим пальцем по замасленной стене: третья дверь справа, на ручке веревочка намотана, чтоб не ошибиться.

Ничуть не боялась, пока невзначай не вспомнила (темнота, должно быть, подсказала и качающаяся черная ветка в чердачном окне), пока не вспомнила про утреннюю диковинную историю в столовой...

Остановилась бедняжка. Перевела дух. И на горе свое, еще вспомнила, как вернувшийся из «Медного Якоря» повар рассказывал, будто тамошняя служанка рассказывала, что старый рыбак при ней рассказывал... Ух! Будто... черт сидел на молу на сигнальной мачте,

курил трубку, играл на контрабасе и ругался по-испански... И будто у него из мешка за спиной выплывала судомойка из «Прибоя»... Ух!

Куда же это дверь с веревочкой пропала? Почему до сих пор наверху никого нет, ни горничной, ни... Ай! Кто в чердачное окно заглядывает?!

Она бросилась в одну сторону: стенка. В другую, в третью: стенка... Никогда столько стенок не было! Села с размаху на пол и пришла в себя – под ней в заднем кармане хрустнул коробок с серными спичками. Судомойка чиркнула о пол, зашипел голубой огонек, вспыхнул веселый желтый язычок, и сердцу сразу легче стало...

Стены как стены. В чердачное окно кошка морду высунула, о раму трется. «Кис-кис, иди сюда, душечка!» А третья дверь с веревочкой перед носом. Все на своем месте...

Девчонка, обжигая догоравшей спичкой пальцы, бросилась в свою комнатилку, быстро достала из-под плоской подушки огарок... Не успела зажечь, ух! Опять страшно стало. Вторая спичка сломалась, третья выскользнула из похолодевших пальцев... Наконец-то зажгла четвертую о дрожащую подметку, огарок засветился, светлые лучики побежали по комнате...

Чепуха какая, в самом деле! Повар это нарочно придумал про судомойку в мешке. Знает она судомойку из «Прибоя», не очень-то такую в мешок сунешь. Большая, тяжелая, храбрая... Крик бы подняла на весь курорт. И потом у сигнальной мачты – электрический фонарь. Светло, как в танцклассе. Народу на молу вечером пропасть. Сейчас бы позвали сержанта, черта бы арестовали и выслали из курорта. А если б он с мачты не захотел слезать, прибежала бы из китайского бара публика и в черта дробинками – бах, бах! – пока бы он с мачты не скувырнулся... Понесли бы его в аптеку, перевязали и...

Глупости. Черти только в сказках бывают. Бритву и кисточку у постояльца обыкновенный жулик украл. Влез по платану, видит – открытое окно. Что бы такое украсть? Да вон кисточка на столе, она франка два стоит. И украл! Удерет на пароходе в Марсель, там продаст. А мишку у соседней девочки чайка могла унести. Пролетала над балконом, видит, неизвестная рыба (почем она знала, что это мишка?)... Цап мишку за подмышку и унесла. Очень просто... Хорошо, а в столовой кто наскандалил? Сажай кто белую скатерть

перепачкал? Должно быть, курица, которая живет у угольщика. Она часто забирается в парк, угольщик ее, пожалуй, только по воскресеньям кормит. Вошла она в столовую, смотрит, на столе в корзиночках хлеб... Ага, хлеб! Вскочила на стол и...

Так судомойка, сидя на краю постели у раскрытого оконца, сама себя успокоила.

Огарок горел ровно и ясно. Ветер весь день по кустам кувыркался, а теперь к ночи устал и утомился. Пароход вдали показался с ленточкой янтарных огоньков вдоль борта. Кошка вскочила на постель и ткнула под локоть судомойку: «Дай кусочек сандвича... О чем размечталась?»

И представьте себе... Сандвичи лежат на окошке. С колбасой, с сыром, с вареньем. И тихонько-тихонько высовывается из-за окна черная лапа, схватывает сандвич (с вареньем!) и исчезает...

Если бы устроить состязание паровозных свистков во всей Европе, судомойка из «Жемчужной Раковины», наверно, получила бы первый приз. Боже мой, как она взвизгнула!

Налетела на огарок, огарок хлопнулся о пол и погас, налетела на кошку, взвизгнули обе сразу так, что у курившегося внизу на веранде шведа пенсне слетело... Чудом, тыча перед собой руками, добралась до лестницы и, крича, визжа, плача и охая, будто за ней целая дюжина чертей с мешками гналась, галопом скатилась с лестницы вниз, переполошила всех жильцов, хозяйку, соседей...

Бухгалтер, в ночном белье, завернувшийся впопыхах в одеяло и поэтому немножко похожий на римского сенатора, выступил вперед, усадил судомойку в углу веранды на кадку с пальмой и, как самый храбрый мужчина в пансионе, решительно приступил к допросу:

– Опять? Что такое? Выпей воды и не бойся. У меня наверху в чемодане браунинг, и я никому, даже черту, не позволю нарушать по ночам наш покой. Рассказывай.

– Сандвич... – сказала девчонка, трясась на кадке. – Сандвич...

Больше от нее ничего не удалось узнать.

VII. Черт в чепчике

Лавочница прислушалась: опять океан зашлепал. Листья на темном каштане перед дверью забормотали спросонья быстро-быстро и опять успокоились. Пора бы спать, давно пора, да надо было дневную выручку подсчитать, мух из стеклянной мухоловки выплеснуть вместе с мыльной водой в палисадник, повесить в мышеловку кусочек колбасы, гири по росту расставить, ставни закрыть... Дела много.

Смахнула лавочница гусиным крылышком пыль и крошки с прилавка и усмехнулась. Глупости какие сегодня в лавке болтали! Пятнадцать лет она в курорте торгует, никогда о таких делах не слыхала...

Горничная из «Жемчужной Раковины» днем прибежала за горчицей, рассказывала, что у них в пансионе бухгалтер-факир поселился. Утром черт его брить явился, одну щеку выбрил, другую не захотел... В цене, видно, не сошлись. И черт будто рассердился, унес у бухгалтера бритву, подтяжки и правую туфлю.

А после прачка приходила, пансионскую скатерть показывала. Пятна такие странные – страус не страус, пес не пес. Не то сажа, не то чернила, не то деготь...

И знакомый почтальон из местечка за мостом прикатил, соскочил с велосипеда у лавки, коробочку спичек купил и шепотом признался, что, когда он за углом из ящика вечернюю почту вынимал, а велосипед, как всегда, к телеграфному столбу прислонил, стряслась с ним такая оказия, что хоть не рассказывай... Однако рассказал. Наклонился он к ящику, слышит, кто-то за велосипедный звонок дернул: дзынь! Обернулся, подумал, что мальчуган какой-нибудь пошалил, и видит... Что на седле сидит... черт не черт, а очень похоже... Темновато было, да и со страху глаза на лоб полезли. Почтальон вскрикнул, черт испугался – и с седла на забор, с забора в сад... Велосипед наземь брякнулся, фонарь разбился, а на правой педали крокетный молоток лежит.

Лавочница отлично помнит: почтальон был трезв, как бутылка из-под «виши». Совсем трезв. Никогда он раньше чертей не видел,

должность у него солидная, обстоятельная, не то что какой-нибудь клоун из цирка или приехавший недавно на гастроли в курорт собачий парикмахер. Что же за история такая? Она зевнула и покачала круглой головой. Черт или не черт, а спать все-таки надо. Заперла ставни, дверь, сунула в рот черносливину и, ковыляя, как кенгуру, – совсем ноги за день отсидела, – отправилась в комнатку за лавкой спать.

Окно, выходящее в глухой и темный переулочек, было раскрыто – сквозь толстую решетку ведь никто не влезет. Вспыхнула в потолке электрическая груша. Мышь пробежала от порога под комод. Лавочница топнула на нее ногой: прочь, прочь, ступай в лавку... там для тебя мышеловка поставлена. Но мышь не послушалась. Лавочница, кряхтя, в три приема опустилась на колени. Долго шарила метлой под комодом, – мышь давным-давно уж вдоль карниза пробежала, забила под угловой шкаф и стала там усы расправлять, умываться, прихорашиваться, для кого и зачем, неизвестно.

А лавочница еще долго, растянувшись на полу, грохотала метлой под комодом, пока не выбилась из сил. В три приема встала, вытерла красное лицо полотенцем, пошла за ширму раздеваться... и...

Бедная мышь, как она испугалась! Ширма рухнула на пол, хозяйка рухнула на пол, стакан с водой, стоявший на ночном столике, полетел на пол... И опять все смолкло. Только стучали-тикали старинные часы на стене да отчаянно колотилось мышинное сердце.

Мышь осторожно высунула из-под шкафика рыльце. На стене закачалась чья-то темная тень, шагнула от спинки кровати на спинку кресла, оттуда к оконной решетке и исчезла. Кот? Совсем не кот... Запах другой, ростом больше, и на голове... шляпа не шляпа. Бог знает что!

А вода из упавшего стакана медленно по чуть покатою половице подплыла к голове лавочницы, смочила затылок. Ночная свежесть подула из окна в лицо. Лавочница открыла глаза, села. Что это с ней такое? Почему она сидит на полу? Почему ширма лежит у нее на ногах?

И вспомнила: когда она ступила за ширму и повернула голову к постели... под одеялом в ее ночном чепчике лежал... черт и грыз ее зубную щетку...

Но ведь на постели никого нет! Почудилось ей после всех этих глупых рассказов. Конечно, почудилось. Она подняла ширму, смела в угол осколки стакана и подошла к изголовью постели.

Ай!.. На подушке лежал полусъеденный сэндвич, край подушки был весь выпачкан вареньем, и на смятой простыне чернели темные пятна.

Лавочница опрометью бросилась к двери, перебежала через улицу и стала отчаянно колотить в ставню к прачке. Слава богу, сквозь щели еще светился огонь!

Отворите, пожалуйста... Умоляю вас, отворите...

VIII. Представление на сосне

Утром на пляже, как всегда, копошились дети, слонялись взрослые, мчались галопом собаки, совали мимоходом носы в чужие купальные будки, взвизгивали и мчались дальше...

Кое-где в будках говорили о странных ночных делах: о лавочнице, которая как была в папильотках, так и прилетела к прачке, выпила два графина воды и до петухов все туалетный уксус нюхала; о девочке-судомойке, которая перед всеми пансионерами поклялась, будто на черной лапе, показавшейся в окне, был надет браслет из собачьих глаз; говорили о почтальоне, который...

Впрочем, о почтальоне ничего не успели сказать, потому что на чей-то пронзительный крик у ограды «Жемчужной Раковины» со всех сторон помчались дети, за ними собаки, зверски разрушая по дороге детские песчаные замки, крепости и торты (где уж там разбирать!)... За собаками взрослые – из будок – сухие и полусухие, из воды – совсем мокрые, – бежали, переваливались, кричали... Те, что поотстали, еще не знали, в чем дело, но волновались не меньше других. Наконец огромным тесным полукругом, в полосатых и гладких купальных костюмах, в мохнатых попугайских халатах, – а один близорукий купальщик примчался в дамском балахоне, – сгрудились перед решеткой «Жемчужной Раковины» и все – дети, собаки, взрослые – задрали головы кверху.

На обглоданной океанским ветром высокой сосне сидела пресимпатичная зверюга, молодой шимпанзе в желтой бархатной жилетке и в презабавном ночном чепчике. На широкой ветке рядом распластался еще какой-то шоколадного цвета зверек, но никто не мог рассмотреть как следует, что это за штука такая...

Обезьяна хладнокровно посматривала вниз. Шумят? Волнуются? А вот пусть поуспокоятся, тогда она и покажет им все свои номера.

И вот, когда охрипшие собаки перестали лаять и захлебываться, когда люди перестали ахать и показывать пальцами на верхушку сосны, шимпанзе встал во весь рост на вытянувшуюся широкую сосновую лапу – и раскланялся. Сдернул с головы ночной чепчик,

помахал им во все стороны и разжал пальцы. Чепчик, кружась и цепляясь за корявые ветки, полетел вниз.

– Мой чепчик! – ахнула прибежавшая на шум лавочница. Подхватила свой чепчик и покачала головой: весь в саже.

Шимпанзе нагнулся, схватил лежавшего на ветке зверька и подбросил его в воздух. Зверек перевернулся несколько раз и – хлопс! – попал обезьяне прямо в лапы.

– Мой мишка! – завизжала внизу под сосной маленькая девочка. Она вытянула смешные пухлые ручки кверху и захлопала в ладоши... Ее мама тоже захлопала, и все столпившиеся перед решеткой купальщики, все выбежавшие из «Жемчужной Раковины» пансионеры и прислуга оглушительно закричали:

– Браво! Бис, бис, бис!

А судомойка подпрыгнула, выскочила из своих сабо, побежала в одних чулках на кухню, прилетела с огромным сэндвичем, наткнула его на метлу и протянула обезьяне...

– Миленькая! Я думала, что ты... черт!..

Но шимпанзе не соблазнился сэндвичем. Он любил честно выполнять всю программу до конца, а потом уже угощаться.

Трапеции на сосне не было. Гимнастических колец тоже. Обезьяна вынула из полосатого мешочка, который висел у нее через плечо (где-нибудь стащила!), несколько картофелин. Прилегла к ветке, нацелилась; хлоп! Картошка попала в переносицу старой собаке, которая, оскалив зубы, рычала под деревом на обезьяну. Вторая картошка угодила в визжавшего у подъезда фокса. Третья попала в примчавшегося с пляжа запоздавшего бульдога...

– Довольно, довольно! – закричали внизу хозяйки собак. – Разбойница! Не позволяйте ей, не позволяйте...

Обезьяна поняла, что этот номер не всем нравится. Раскланялась, надела на голову мешок и, растопырив лапы, осторожно прошлась взад и вперед по толстой ветке.

У перевоза как бешеные запрыгали из лодки пассажиры и вскачь пустились к решетке смотреть на диковинное представление. Рыбаки, разматывавшие вдоль канала коричневые сети, старичок таможенный, коротконогий полицейский сержант, служанки, возвращавшиеся с набережной со свежими сардинами, бойскауты, рассматривавшие английские яхты, – все спешили к старой сосне. Покупатели в далеких

киосках бросали покупки на прилавки и мчались, высоко взбрасывая ноги, к перевозу... Успех был полный, оглушительный: никогда еще ни одна курортная певица, ни один курортный фокусник такого успеха не имели.

Прилетел, волоча по песку раздвинувшийся треножник, курортный фотограф. Щелкнул раз, щелкнул другой, все пластинки перещелкал. Обезьянье представление на сосне... Кто такую штуку не купит?

А шимпанзе разошелся: задом наперед проковылял на руках вдоль ветки, держа в зубах шоколадного цвета плюшевого мишку, дошел до конца ветки и, вальсируя, закружился волчком на одном месте...

Бухгалтер даже подпрыгнул от удовольствия и с гордостью посмотрел на окружающих, точно шимпанзе был его родной сын.

– Чудесно! Изумительно! Я бы хотел только знать, куда этот плут затащил мою кисточку для бритья?..

– С черепаховой ножкой? – лукаво спросила стоявшая рядом дама. Та самая дама, у дочки которой обезьяна похитила мишку.

– О, сударыня! Вы ее нашли?! Неужели?.. Но как...

Он не успел спросить, дама не успела ответить, потому что примчавшийся на велосипеде почтальон еще издали замахал над головой фуражкой:

– Это он! Это он! Ей-богу, это он!

– Кто он?

– Черт! Что вы на меня уставились?

Почтальон знал, о чем он говорил...

– Черт! Конечно же, это он. Сегодня у цирка за мостом объявление наклеено: *«Сбежала дрессированная обезьяна-шимпанзе. Кличка Черт. Нашедшему сто франков награды...»*

Вокруг так и покатались со смеха. Да ее весь курорт нашел!.. Раздели-ка сто франков на всех, попробуй!

А Черт-шимпанзе, утерев лапой мокрый лоб, вежливо раскланивался и посылал сверху во все стороны воздушные поцелуи: антракт.

IX. Черт возвращается в цирк

Из пансиона позвонили по телефону в мясную лавку, которая торговала за мостом рядом с цирком.

– Алло? Кто говорит?

– Повар «Жемчужной Раковины».

– К вашим услугам, сударь. Прикажете прислать на завтра телячьих котлет или молодого барашка?

– Ни молодого, ни пожилого. Передайте хозяину цирка, что Черт нашелся...

– Кто?!

– Черт. Обезьяна его ученая. Только что дала у нас на дереве бесплатное представление, а теперь ловит блох, отдыхает.

Через четверть часа к решетке подкатил старый автомобиль: гуп-гуп!. Собаки и люди раздались и сомкнулись вокруг машины. Хозяин цирка, толстый и короткий малый, с шеей, похожей на рыжий окорок, быстро соскочил наземь. За ним спрыгнул цирковой пудель Блэк, старый друг Черта, задрал голову и тьякнул:

– Черт! Что в самом деле за штуки? Вчера из-за тебя я должен был все свои номера повторять, чтобы растянуть программу. Тяф! Свинство!

Шимпанзе наверху жалобно пискнул:

– Извини, Блэк... Я только на полчаса удрал. А потом увлекся, загулял... Квик!

Люди, конечно, ничего из этого разговора не поняли.

Хозяин цирка постучал рукоятью бича о сосну.

– Эй ты, бродяга! Слезай, что ли. Ничего тебе не будет... Ну? Живо... Свой цирк здесь открыл? погоди ты у меня!

Шимпанзе запрыгал на ветке и недоверчиво покосился вниз. Ничего не будет? А вдруг – будет!

– Слышишь? Сейчас же слезай!.. Блэк, позови его. Кому я говорю, Блэк?

Блэк нерешительно тьякнул раз-другой. Судя по тону хозяйского голоса, Черт свою порцию получит... Зачем же Блэк будет его коварно сманивать вниз...

Черт снова запрыгал, подбрасывал задние лапы. Потерся мордой о ветку. Попадет на орехи! Попадет...

Невзначай задел лапой лежавшего за спиной мишку, мишка полетел вниз... Этого бедняга шимпанзе не мог перенести! Мишку он за эти сутки полюбил, как родного племянника. Пусть уж попадет, а он с ним не разлучится.

Ворча и попискивая, полез он, вертя головой, с сосны. Чем ниже, тем страшнее... Лезет и сам себе жалуется:

– Зачем убегал? Разве плохо тебя, Черта, кормили? Тут тебе, брат, не Конго! Никуда не удерешь... Только зря в камине перемазался. Чепчик уронил, мишку уронил, хозяина рассердил. Плохи, господин Черт, твои делишки!

А бухгалтер из «Жемчужной Раковины» взглянул на все медленнее спускавшегося Черта, на сердитого хозяина, подошел ближе и сказал:

– Вы что же, будете наказывать вашу обезьяну?

– Как же, сударь! Убытки от нее какие: вчера в представлении не участвовала. Да здесь, говорят, графин в пансионе разбила, скатерть перемазала... Платить ведь за все мне придется. Бог ее знает, какие еще проделки за ней обнаружатся...

– Ну, зверь пошалил немного, о чем говорить. Да вы знаете, что вы вашего Черта не наказывать должны, а ящик фиников ему в награду купить! Рекламу какую он вам сделал! А? Вы его только на афишах покрупнее изобразите да по курорту расклейте, – места в вашем цирке не хватит! Ведь все же на него смотреть придут...

– Правда, правда! – запищали и загудели вокруг дети и взрослые. А Блэк весело залаял, посмотрел на ожидавшегося у последней ветки шимпанзе и дружелюбно лизнул бухгалтера в жилет.

– Для начала, – сказал бухгалтер и вынул свою визитную карточку, – запишите за мной ложу на вечернее представление. Сегодня жена с сыном приедут, вот и мы пойдем на вашего Черта смотреть...

За бухгалтером потянулись и другие... В самом деле, великолепная обезьяна!

Хозяин цирка сообразил, что наказывать Черта несправедливо. Он ласково, по-особому свистнул, и Черт быстро-быстро слез,

спрыгнул на землю, влез в автомобиль и плотно уселся с мишкой на руках.

– Чей медведь? – спросил хозяин.

Дама с девочкой посоветовались и позволили Черту оставить у себя мишку, только взяли с хозяина слово, что он наказывать Черта не будет.

А хозяйке «Жемчужной Раковины» и лавочнице цирковой толстяк предложил по почетному даровому билету на три представления. Так все неприятности, как тучки в небе, исчезли с горизонта.

Гуп! Гу-гуп! Автомобиль заревел и рванулся с места. Черт вежливо обернулся и послал всем – мулу на дороге, детям, обалдевшим от всей этой истории, собакам и всей толпе – размашистый, сочный воздушный поцелуй...

– У кого пропал бинокль? У кого вчера пропал бинокль? – сказал вдруг, выйдя из толпы, старый рыбак, постоянный посетитель «Медного Якоря».

– Сиреневый, маленький, с золотым ободком? – спросила, улыбаясь, жившая рядом с «Жемчужной Раковиной» маленькая старушка художница.

– Да, сударыня. Извольте получить...

– Ах, боже мой! Так это шимпанзе, значит, вчера из гамака мою сумочку с биноклем унес... Сердечно вас благодарю!

И подумала: «Непременно надо будет сегодня вечером в цирк пойти, очень уж забавная обезьяна».

Видите, хоть и старушка, а тоже соблазнилась. Про детей же и говорить нечего: не было в курорте ни одного малыша, который не обещал бы хорошо себя вести до вечера, если его вечером в цирк возьмут на бенефис Черта.

Буйабес

Физика Краевича

Начальница Н-ской мариинской гимназии сидела у себя в кабинете и поправляла немецкие тетрадки. Если считать кабинет рамкой, а начальницу гимназии картинкой, то картинка и рамка чрезвычайно подходили друг к другу. Блеклые обои, блеклая обивка мягких уютных пуфов и диванчика – такое же блеклое, полное лицо начальницы, такая же мягкая уютная фигура, заполнившая кресло. Кружевные, цвета слоновой кости салфеточки на стареньких столиках с витыми ножками и такая же наволочка на старенькой голове... А пушистые, взбитые седые волосы так похожи были на лежавший между двойной рамой окна пухлый валик ваты. Правда, вата была пересыпана зеленым и алым гарусом, а серебристый ободок ничем не был пересыпан...

Над письменным столом на окне в овальных либо округленных по углам, черного дерева рамочках висела домашняя летопись-иконостас, бесконечная родня. Мужчины, даже отставные военные с поперечными погончиками и в белых штанах, – все почему-то походили кто на Герцена в молодости, кто на Майкова, кто на Гаршина. Хотя никто из них, кроме приказов по полку, докладных записок и трафаретных старомодных любовных писем, ничего не сочинял. Женщины в длинных юбках пагодой, с лебяжьими шеями в детских воротничках, с мягкими, обращенными в неземное глазами смутно напоминали иллюстрации к ненаписанным тургеневским рассказам. Но, впрочем, все они, и женщины и мужчины, даже плотный и безбородый морской врач с треуголкой под мышкой, даже трехлетний голый философ, сосавший в рамке на подушечке собственный кулачок, – каждый определенно какой-нибудь чертой был похож на поправляющую немецкие тетрадки начальницу гимназии. Мягким спокойствием, добротой, округлостью лица и какой-то общей уютностью, что ли, всей фигуры, которая никуда не торопится, с места зря не сорвется. И очень скупа на всякую жестикуляцию.

В окне сквозь полуспущенную штору еще ясно синел отходящий зимний день, но над столом уже разливала янтарный свет граненая

керосиновая лампа на малахитовой в желобках колонке под светло-синим стеклянным полушарием. Высокая, до потолка, кафельная печь, мерцающая белой эмалью изразцов, ровно излучала тепло. По карнизу, опоясавшему ее, выстроились детским интернатом вазончики с крошечными кактусами и агавами. Мохнатые зеленые бородавки – они любили тепло, а здесь, на груди кафельной печи, температура была почти итальянская... На подоконнике, прижавшись в угол, тянулось кверху излюбленное всеми начальницами «восковое дерево», темные, словно клеенчатые листья в гроздьях мелких беловато-восковых звездочек-цветов.

Недобрая работа – вылавливание ошибок – мало радовала добрую начальницу. Безо всякого злорадства, с огорчением и вздохом она слабой-слабой красной чертой, словно извиняя и оправдывая, подчеркивала искаленные немецкие слова. Полуошибки снисходительно пропускала... Отметки ставила щедро, и, когда перед ее глазами всплывал обиженный профиль нерадивой гимназистки, она прибавляла к баллу плюс. Но потом вспоминала о долге воспитательницы и острым тоненьким почерком приписывала сбоку: «Могло быть и лучше».

За спиной вдруг дрогнула половица. Она повернула голову: старший внук Васенька, стараясь не шуметь, проходил за спиной в гостиную.

– Добрый вечер, бабушка!

– Ты что же, Васенька, все дома да дома?

– Никуда не хочется. Читать буду.

Скрылся за портьерой. Такой же тихий и неторопливый, как бабушка, бабушкины мягкие серые глаза, крепкий и сильный, в плотно сидящей гимназической курточке с острым верхним углом. Острые манжеты, высокий воротничок, велосипедный брелок-колечко с меркурьевыми крылышками, брюки на штрипках... Прифрантиться любит, это у него наследственное. И тихоня, тоже, должно быть, по семейной традиции: семиклассник, молод, здоров, – чем пойти к приятелям, – сидит дома, как монашек в келье... Бабушка вытерла замшевой розеткой перо, окунувшееся по ошибке в черные чернила, и придвинула к себе красный пузырек поближе.

Васенька присел в гостиной на диванчик у дверей, выходящих в рекреационный зал. Пять минут придется для вида высидеть. Сбоку на

стене пейзаж из резной пробки. Знакомо-презнакомо: замок, речка вроде гофрированных волос, лодочка с рыцарем и кудрявая пенка прибрежных кустов. На столике под полуприкрученной лампой все тот же забавный кружок «плато» из лакированной ореховой скорлупы, коричневой фасоли и фисташек. Он откинул тяжелый красно-золотой переплет «Живописной России». Мордва-черемисы, очень приятно! Прочитал добросовестно с полстраницы, будто рыбьего жира наплотался, – бесшумно привстал, бесшумно описал по ковру восьмерку и артистически бесшумно нажал на ручку двери...

В зале не было ни души. Сторожа уже закончили уборку: только сизая дымка пыли сквозной пеленой висела в зале. И хотя форточки были открыты в морозную синюю улицу и хотя брызгали со всех сторон сосновой эссенцией, в воздухе все еще стоял душный запах шерстяных юбок, бутербродов, помады и учебников.

Гимназист быстро-быстро, подражая движениям конькобежца, заскользил по паркету. Размял ноги. И в ритм плавным раскачиваниям запел под сурдинку баркаролу, завезенную в их губернский город заезжим баритоном. Весь город, даже аптекарский мужик с Соборной площади, высвистывал-распевал ее второй месяц.

Что же, дева молодая,
Молви, куда нам плыть!
Ветер, парус взвивая,
Челн мой давно кружит...

В последнем слове гласная «и» так плавно переливалась в двух нотах, точно и впрямь под ногами челн качался и ветер дул в грудь, копной взметая над головой волосы...

И Васенька вспомнил, что внизу сторожа еще убирают учительскую и раздевальную, что через комнату рядом бабушка и... что главное еще не сделано. И стал петь про себя: беззвучная мелодия еще порою горячей гонит румянец к щекам, обдавая семиклассное сердце крутым кипятком. Ни на верхней площадке лестницы, ни в первом коридоре тоже никого не было. Он пересек большой померкший зал с темневшими на полу во весь рост царскими портретами на подставках и скользнул во второй сумрачный,

пустынный коридор. По бокам были распахнуты двери в старшие классы. Где-то тикали стенные часы. А может быть, и сердце? Он оглянулся и нырнул в знакомый класс.

Дубовые парты, как в костеле, четко чернели тремя правильными рядами. Высокая кафедра на платформе, словно строгая классная дама, молча оглядывала класс. У доски висела влажная, издерганная взволнованными пальцами губка. На стене – неясное пятно: не то «Полтавский бой», не то таблица самоцветных камней Урала...

Васенька склонился над предпоследней партой у окна и пощупал пальцами: есть! На исподе парты кнопкой была приколота записка. Не глядя, сунул ее в карман. Остановился у седьмой парты, потом поискал в среднем ряду. Всюду откалывал добычу и, торопясь, скользил бесшумно дальше. Кое-где вынимал из-за пазухи другие письма, подносил к глазам, щупал (не дай бог ошибиться!) и прикалывал их к известным ему партам. Причем в парту клал каштан – условный знак: «вам есть письмо, потрудитесь пошарить снизу»...

Потом он нырнул через коридор в противоположную дверь, в «параллельный» класс. И там так же аккуратно и добросовестно получил и сдал почту, безошибочно ориентируясь, как ковбой в прериях, в одинаковых партах среди быстро сгущающихся сумерек. Надо сразу оговориться – поведение Васеньки было совершенно бескорыстно. Письма были не к нему и не от него, – среди многочисленных его предков-оптовиков донжуанов не водилось, в этом смысле наследственность его была безупречна. Просто по исключительно удобной топографии бабушкиной квартиры и по дружбе он помогал знакомым гимназисткам и гимназистам в той вечно юной игре, которая, как неизбежная корь, повышает в свое время температуру у каждого (у каждой) из нас.

Прижимая вздувшуюся у борта куртки пачку писем и напевая все ту же баркаролу (теперь петь можно было громче), семиклассник у верхней площадки лестницы круто остановился и прикусил язык. Нина! Нина Снесарева, синеглазый серафим в коричневой юбке, единственная из гимназисток, к парте которой так подчас тянуло его приколоть свое собственноручное письмо, – но, увы, не хватало ни слов, ни смелости... Она здесь, в такой час... Что случилось?

И в ответ на немой вопрос, чтоб он, чего доброго, не подумал, что она ради него пришла, она тихо сказала:

– Забыла в парте Краевича. Завтра урок.

– Сейчас! Подождите меня здесь...

Через три минуты, тяжело дыша, он стоял перед ней с физикой, в позе готового склониться к ногам владыки раба (предпоследняя строфа стихотворения «Анчар»).

– Вот.

Физика, впрочем, не перешла сразу в руки Снесаревой: гимназист нерешительно удерживал учебник в своих руках, гимназистка нерешительно тянула его к себе, – очевидно, оба не торопились расстаться.

– Нина Васильевна?

– Да?

– Мне надо с вами объясниться...

– Да...

– Тогда на именинах у Даниловских я вас не пригласил на вальс... не потому, что я скотина... а потому, что вы сами... меня мучили.

– Не понимаю.

– Нам надо объясниться. Но я не могу прийти к вам, потому что у вас тысяча и одна тетка.

– Да...

Не всегда Ева соблазняет Адама. Бывают такие исключительные случаи, когда и Адам соблазняет Еву...

Что ж, раз уж пришла в гимназию за Краевичем, а тут можно заодно распутать, хотя бы и в физическом кабинете, узел старых размолвок и недомолвок, – глупо, вздернув нос, фыркнуть и уйти. Васенькина гордость, очевидно, лопнула. Значит, можно его временно простить, хотя он ничуть не виноват: ведь она же сама на этих именинах обставила себя, как царица Тамара, двумя пехотными юнкерами, драгунами-вольноопределяющимися и киевским студентом. Нарочно! Чтобы доказать ему, что она не очень в капризных семиклассниках нуждается...

Под аккомпанемент этих мыслей она, затаив дыхание, как загипнотизированная, прошуршала за ним неземными шагами по паркету до дверей физического кабинета.

Васенька легче ветра приоткрыл толчком дверь, пропустил вперед Нину и, балансируя на носках, вошел в большую, уставленную шкафами с приборами комнату. Плотнo прикрыл за собою дверь. Тишина... Внизу глухо кашлянул Никита, в зале деловитым баском отозвалось эхо.

Они уселись по-приятельски рядом на широком черном столе – и в то же мгновение, схватив друг друга за руки, как вспугнутые воробьи, соскочили на пол. Из простенка за шкафом шевельнулись и застыли на фоне морозного окна два силуэта.

– Господи помилуй! Классная дама Ниночкиного класса, Анна Ивановна и... учитель пения Добрыш-Збановский... Хризантема с луком!

* * *

Разговор был короткий. Учитель пения крикнул, будто рюмкой перцовки поперхнулся, провел обшлагом вицмундира по толстым усам и, подойдя вокруг стола к Васеньке, обратился к нему с не совсем подходящим по обстоятельствам дела вопросом:

– Как поживаете, выюноша?..

И, не дожидаясь ответа, последовал к дверям. В дверях, чтобы подчеркнуть свою независимость и показать, что в физический кабинет его занесло по совершенно неотложному делу (камертон свой, должно быть, там забыл), он не спеша вынул портсигар, закурил и вразвалку пошел вдоль зала к лестнице, плотно придавливая шашки паркета.

Но Анна Ивановна своей роли не выдержала. В шкафу, к которому она прикоснулась, нервно задребезжало какое-то стеклянное сооружение. Разливающегося зарева на плотных щеках, ушах и шее в полумгле видно не было, но короткое взволнованное дыхание походило на приближающийся самум... Ей бы, конечно, надо было если не закурить, то хоть спросить Ниночку обволакивающим голосом старой подруги:

«Кстати, Ниночка, у кого ваша мама себе ротонду шила?»

В крайнем случае можно было промолчать и разойтись, как облака расходятся в вечернем небе – каждое своей дорогой. Но вместо

того классная дама, словно индюшка на утенка, зашипела, налетела на гимназистку, хотя та и без того в позе умирающего лебеденка беспомощно прислонилась к столу.

– Вам что здесь нужно, госпожа Снесарева?! В такой час?! В стенах гимназии! Не-слы-ханно!! Что?!

Гимназист, как опытный стрелочник, перед самым носом летящего на всех парах не на тот путь поезда, круто перевел стрелку. Быстро наклонился к Ниночке, взял ее за локоть, встряхнул и слегка подтолкнул к дверям...

Трепетные шаги смолкли. Обморок в физическом кабинете со всеми своими бездонными последствиями, – слава богу, прошел над головой, не разрядился. Наедине справиться с Анной Ивановной было совсем уже не трудно.

– Виновата не госпожа Снесарева, виноват я, милая Анна Ивановна. И то только в том, что был вежлив. Нина Васильевна забыла в физическом кабинете Краевича, – и вот он у меня в руках, видите? А я в зале ловил нашего кота, чтобы он в форточку не выпрыгнул... Вы знаете, как бабушка его любит? И так как у меня были спички, я и предложил вашей ученице проводить ее в физический кабинет и посветить ей... Посветить не успел, а остальное вам и *господину Добрыш-Збановскому* (подчеркнул он) известно.

Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном лгут? Да и упоминание рядом с ее именем фамилии учителя пения по многим соображениям не было классной даме приятно.

Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну мимо себя в зал:

– Все это, конечно, останется между нами... У меня, кстати, есть для вас чудесный альбом болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь рукоделием. Да?

Дверь из гостиной скрипнула, и мягкий бабушкин голос спросил:

– С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?

– С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, и я посветил.

Бабушка поздоровалась:

– Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли?

– Добрый вечер... Спасибо... Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не могу...

Васенька не жалел спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе пажа подчеркнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с трудом сохраняли светское выражение лица: она – потому что буквально задыхалась от злости, он – с трудом сдерживая душивший его смех.

* * *

В столовой клокотал самовар, пузатый заварной чайничек, белый с розаном, окруженный облаками пара, нетерпеливо позвякивал над конфорной крышечкой: «Неужели дадут перестояться?» Бабушка щедро наполняла хрустальное голубое блюдечко рябиновым вареньем, – любимым Васенькиным.

Гимназист вернулся и, кусая губы, сел в тени, полузаслонясь от бабушки самоваром.

– Так никуда и не пойдешь?

– Никуда, бабушка. Мне и с вами хорошо...

Начальница гимназии ласково покачала головой. Вот бы хоть иным юлам-гимназисткам, непоседам, вертушкам, пример с него брать.

А он за самоваром раскрыл физику Краевича, – так она сегодня и не попала на книжную полку к своей хозяйке. Стал перелистывать, затаив дыхание, – точно часть души Нины Снесаревой в его руках осталась. И в главе о теплоте нечаянно наткнулся на промокашку, вдоль которой синим карандашом отчетливо были выведены буквы:

с-х-в-В

Вспыхнул до слез! Да и как не вспыхнуть, если в его вдохновенной расшифровке буквы эти совершенно ясно обозначали:

«Смертельно хочу видеть Васю...»

Париж. Декабрь. 1928

Свадьба под каланчой

Последняя четверть сошла благополучно: по русскому – 5, по истории – 5, по остальным без гениальных успехов, но гладко. В итоге – по средней арифметической раскладке Васенька попал, по выражению классного наставника-грека, в число незаслуженно блаженных лодырей и без экзаменов перевелся в 8-й класс. Учебники и тетрадки убрал до осени в шкаф, – «спи, милый прах, до радостного утра», точно никогда и не прикасался к ним. И самое слово «восьмиклассник» еще не укладывалось в голове: последний год, а там... Задумчиво щелкал себя по манжетке и ухмылялся. До отъезда с бабушкой к дяде в именице в Подольскую губернию еще дней десять оставалось, – таких пустых и бездельных, точно его, Васеньку, совсем из жизни выбросили и куда-то на сохранение сдали.

Нина Снесарева, любимое сокровище, укатила со своими на дачу в Коростышево. Даже тоска по ней не заполняла дней, в памяти облаком расплылся нежный, русский, синеглазый одуванчик. Кофейное платье, аромат гимназических духов «Свежее сено»... Только голоса ее, к стыду своему, отчетливо вспомнить не мог... Чувства на сто лет хватит, а вот поди ж ты, никаких особых страданий пока не обнаружилось. Да и переписка какая-то неладная завязалась. Сам он придумал на всякий случай такой громоотвод – писал ей будто от лица подруги. И маскарад этот всех самых теплых и огнедышащих слов его лишил, а уж он ли, пятерочник-словесник, писать не умел...

Бабушку видел редко. В женской гимназии шли последние выпускные экзамены, начальница волновалась едва ли не больше своей паствы. Даже к обеду не всегда приходила. Прошумит тугим синим шелковым платьем, поцелует Васеньку в лоб – и в зал. Щеки малиновые, и в добрых глазах забота и священный ужас.

Восьмиклассник подошел к окну: прогремел пароконный извозчик, повез в присутствие начальника акцизных сборов... Баки как у собаки. Кошка сидит у трубы и зевает... Дурында! Самая свободная тварь в мире, а туда же, мировую скорбь разводит. Пирамидальный тополь над крышей аптекаря весь заструился на

майском ветру молодой, еще рыжеволосой листвой. Куда пойти? Ах, Нина, Ниненок, – кто эти дачи выдумал?..

Взял было гири, вскинул над головой тяжелые ядра и вдруг, услышав за спиной знакомый голос, прокатил их по дорожке в угол и обернулся.

– Ты дома, Васька?

На фоне малиновой портьеры в широченных шароварах и плотной сахарно-белой гимнастерке красовался знакомый вольноопределяющийся Павлуша Минченко. Толстяк, здоровяк, силач – взглянешь, сама рука тянется по спине его похлопать. Приятели за рост и дородство, за добродушный нрав давно его прозвали, хоть он служил в армейском полку, «гвардейской кормилицей».

Сел на стол, – дубовые доски хрястнули, – полюбовался на свои лакированные голенища, а потом одним взглядом окинул Васеньку и коротко поставил диагноз:

– Киснешь?

– Приблизительно.

– Тем лучше. Стало быть, пойдешь?

– Куда?

Минченко покосился на свой алый погон, отороченный шелковым пестрым жгутом, посмотрел на портьеру и понизил голос:

– Ты, Васенька, только в обморок не падай. Против нас, как тебе известно, пожарная команда.

– Десять лет известно. Дальше.

– Так вот сегодня старый конюх свадьбу справляет.

– Передай ему от меня воздушный поцелуй...

– Не перебивай. Столы по всему двору расставлены, брандмайор бочку пива пожертвовал. Танцы будут, двух гармонистов заарендовали. Пойдем, что ли? Ей-богу, весело будет...

Васенька спрыгнул с подоконника, подошел к приятелю, вынул часы и взял его за кисть.

– Пульс в порядке. Странно. Ты что же, полковник, в посаженные матери приглашен?

– Брось, чудака. Денщика нашего звали, он со всей командой в дружбе. Вместе и пойдем. Какие там еще приглашения... С золотым обрезом, что ли?

Гимназист посмотрел на свой книжный шкаф – скучно. На спинку кресла в виде резной дуги с деревянными рукавицами по бокам – скучно. А в самом деле, идея гениальная. Только, только...

– Да ведь мы как неприкаянные там болтаться будем. Посторонний элемент, интеллигентские моллюски. Неуютная, Павел, позиция.

– Я тебя в своем виде и не зову. Очень ты им, без пяти минут Спиноза, нужен. Пойдем к нам, Сережка нам солдатское обмундирование из цейхгауза притащит. С ним и заявимся – земляками из нестроевой роты... Живо, а то без нас и пиво все выдуют и пейзажа плавного не захватим.

Васенька нырнул под стол, достал завалявшийся пояс, затянулся, надвинул на лоб тугую летнюю фуражку и ногой отбросил вбок портьеру.

– Ах да, погоди... Ступай вниз, я тебя сейчас догоню.

Вернулся к столу и набросал красным карандашом на куске картона: «Бабушка, золотая! Иду обедать к Минченко... Целую. Кисель оставь на вечер. *Вася*».

Приколол записку к столовой висячей лампе и через две ступеньки побежал догонять приятеля. Честное слово, гениальная идея!

* * *

Денщик Сережа был очень польщен поручением барчуков. Батальонный командир еще с утра уехал на стрельбище – помехи никакой. Ефрейтор в цейхгаузе был свой человек, земляк, да и для сына батальонного отчего же одолжение не сделать. Вернулся Сережка с целым ворохом сплюснутых фуражек, новых слежавшихся штанов мышисто-махорочного цвета и с гирляндой тяжелых, как утюги, сапог с квадратными срезанными носками. Обрядиться надо было как следует: горничные да кухарки бестии – чуть что не так, сейчас разнюхают.

На Минченко все было коротко и тесно. Кое-как подпорол внизу по швам раструбы штанов, влез в тугое сукно. Сапоги все перешвырял – мука. Один насилу напялил, прихлопнул каблуком –

нога как в колодке. Еле-еле денщик, упираясь головой в валик дивана, стянул, да Васенька, спасибо, помог – сзади под мышками попридержал. Пришлось надеть старенькие, отцовские. Хотя стоптанные, зато по мерке, плясать можно... С Васенькой хлопот было меньше. Забили в носки сапог по клочку газетной бумаги, сойдет. А когда он встал и напялил на лоб плоскую, как тарелка, армейскую фуражку с козырьком зонтиком, денщик прыснул, впрочем, вежливо, отвернувшись в угол.

– Как есть новобранцем заделались. Дозвольте гимнастерку в грудях расправить. В аккурат. Погончик у вас загнувши...

Помог стянуть поясок с лиловой железной бляшкой, оправил своего панича, а уж потом принялся за себя. Ему, бестии, и пофорсить было можно: сапожки кеплями на светлых подковках, лакированный пояс, писарского фасона фуражка, человек свой, – никакого маскарада не надо. И на переодевшихся барчуков сразу стал посматривать свободными глазами, даже чуть-чуть покровительственно.

Сошли с крыльца, обернулись направо-налево: ни одного офицера. Да и пожарная команда была в двух шагах наискосок. Сквозь распахнутые ворота гудела степенная толпа, пестрели студенческие фуражки пожарных, павлиньи глазастые шали на плечах баб, расстегнутые чуйки, ярким цветком мелькнул горбун-гармонист в канареечной рубаше с ремнем через плечо. Вверху над розовой каланчой, перегнувшись над перилами, смотрел вниз дежурный пожарный – с завистью, должно быть, смотрел, бедняк.

Васенька ввинтился в толпу, никто ни его, ни Минченко не заметил. Опасливо осмотрелся: слава богу, из прислуги городских знакомых – никого. Потолкался у длинного стола на козлах – некоторые, постарше, уже слегка посоловели: жесты в одну сторону, слова в другую, у женщин лица переливаются красной медью, блаженные улыбки вспыхивают и гаснут, – а может, не улыбнуться надо, а обидеться. Отец молодой, кургузый слободской мещанин с подсолнечной шелухой на крутой сивой бороде, слонялся среди гостей с бутылкой, все нацеливался – с кем бы выпить. Распахнутые полы толстого кафтана обвисли, как слоновьи уши. Мокрый седой войлок на лбу слипся. Приметил Васеньку, вытянулся и приложил растопыренную пятерню к картузу.

– Господину юнкерю! Выпьешь?

– Я, дедушка, не юнкер. Рядовой нестроевой роты Куроцапов. Честь имею вас поздравить.

– Не юнкер... А лицо у тебя, брат, умственное. Куроцапов, говоришь? Фамилия паршивая... Выпьем?

Вцепился в гимнастерку и потянул к столу. Чокнулись, выпили, поцеловались в обнимку... Теплая водка обожгла плотку. Васенька закусил зверски соленой тараньей икрой и нырнул от старичка за спину трехобхватной бабы. Тот и не заметил, качнулся, надул щеки, вогнал икоту внутрь, взболтнул остатки водки и поплелся искать новую жертву.

Гармонисты – горбун и второй, с восковым скопческим личиком, – растянули мехи – пауза – вскинули локти и грянули польку. И так подмывающе всхрюкивали высокие лады, так лихо хрипели баски, переходя на новое колено, так весело прищелкивали-звенели колокольчики, что ноги сами вскидывались. Иной тугоусый пожарный, степенный дядя, потопчется сам с собой, обхватит первую попавшуюся талию и давай ее вертеть до банного поту. На Васеньку сбоку все посматривала крепкая веселая горняшка в малороссийской плахте шашками и расписных рукавах пузырями. Озорница, должно быть: в кофейных глазах шалая улыбка, рот вишенкой, голову все к правому плечу исподтишка клонила.

Васенька осмелился и щелкнул своими армейскими копытами.

– Угодно?

И хотя сапоги были чертовски тяжелы, и хотя горели пятки и пальцы – крутил он ее четко и круто. Так вокруг себя и завивал.

– Ох, будет! Какие вы пряткие...

Васенька затормозил и, тяжело дыша, взял даму под руку и вывел из круга... О чем с ней говорить? Ишь колобок какой круглолицый!.. В глазах кружились золотые перья облаков, качались далекие липы над сараем...

– Какие у вас цветы в волосах. – Сам, впрочем, видел – желтая акация, – но надо же с чего-нибудь начать.

– А вам на что? Подснежники.

– Ишь вы какая насмешница. Дайте мне веточку.

– Вот еще... Цветок из волос дать – сердце потерять. Будто не знаете?

Впрочем, тут же остановилась, вынула из тугих кудряшек кисточку, перекусила стебель и жеманно подала Васеньке.

– Хотите, пойдем на конюшню лошадей смотреть? – ласково предложил он.

Пошли, взявшись за руки и покачиваясь, точно век были знакомы. Широкозадые вороные жеребцы, пофыркивая, хрустели овсом, гремели цепями, лоснились крупами... Солнечный мутный луч сбоку прорезал полутьму, закрутил в тишине пылинки... Васенька порылся в кармане, вынул горсть мятных пряников, – Сережка его снабдил, – и протянул хохлушке. Та подошла поближе к стойлу, рослый конь повернул голову, покосился опаловым зрачком.

– Чего смотришь?.. Пряничков тебе принесла, дурачок.

Теплые губы потянулись к ладони, наежились и осторожно подобрали лакомство.

А Васенька – бывает же такое непроизвольное движение – наклонился, в горле у него пересохло, глазам стало невмочь жарко, – и вдруг ни с того ни с сего прикоснулся губами к прохладной щеке соседки.

– Скусно? – весело спросил Сережка, точно Петрушка из-за ширмы, вдруг появившись из-за конюшенных ворот.

– Озорники какие! – взвизгнула хохлушка и стремглав бросилась в толпу.

А пристыженный гимназист вышел на свет. Колотилось сердце, горели уши. Черт его знает, что такое! И голос Нины – вдруг он его вспомнил – так отчетливо-надменно зазвенел в ушах:

«С горничными целуетесь? Донжуан пожарный... Вот и уважай себя после этого...» Он ушел в сторону, к калитке, тихо ее распахнул и медленно пошел по дорожке вдоль лохматых шапок крыжовника.

В вишнях свистела иволга. Солнечные пятна, точно мех пантеры, дробились на песке. У беседки за поворотом под отдаленный плеск гармоники отплясывала странная пара: младшие детишки брендмайора, брат и сестра. На свадьбу их не пустили – неприлично, и они здесь, в зеленом закоулке, подражая взрослым, отплясывали какую-то каннибальскую польку. А потом, наплясавшись досыта, свалились в траву и, звонко заливаясь, стали щипать друг дружку...

Васенька осторожно обогнул полянку и расстегнул ворот. На душе легче стало. Умылся в углу у кухни, под краном. Долго пил,

фыркая, как лошадь, беззаботно передернул плечами и пошел на знакомый голос: в калитке стоял Минченко и звал пить пиво.

* * *

У стены на высокой перекладине пожарной трапеции сидели, как ласточки на телеграфной проволоке, какие-то забежавшие с улицы мальчишки и грызли подсолнухи. Бесплатная галерка. Хохотали, подталкивая друг дружку: уж больно смешно там внизу гость-мастеровой валял дурака. Напялил картуз козырьком на затылок и тянул к себе упиравшуюся, багровую, как свекла, веселую стряпуху. Не выдержав толчка, отлетел, вскинув углом руки, в сторону и грузно сажился – в третий раз – на отяжелевший зад. Осторожно, как кот по луже, задирая ноги, подобрался к трапеции, попробовал было вскарабкаться к ребятам по узловатой веревке, обвис и тюфяком скатился вниз. Огрызок яблока шлепнулся о картуз, мастеровой только головой мотнул. Умогнулся, прижался плечом к лестнице и блаженно закрыл глаза: ублаготворился...

Сережка-денщик где-то раздобыл балалайку. Гоголем похаживал по двору, – и откуда у него этакая развинченно-галантерейная походка взялась... Пощипывал струны – сыграть, что ли? Подошел к девицам, отдыхавшим пестрым кольцом вдоль сарая, пробежал глазами, выбрал и отставил каблук. Девыцы ухмылялись и перешептывались.

– «Барыню», Сергей Иванович! – пискливо попросила коротышка в накрахмаленной шафранной юбке.

– Рад стараться. – Сережка стал в позицию и занес ковшиком ладонь. Брызнул легкий, ернический, балалаечный говорок. Второе колено звончей, третье еще круче.

И вдруг, встретившись глазами с высокой задорной кралею, – кисель с молоком! – перекинувшей через плечо темно-русую толстую косу, – отчеканил:

Дуня, яблочко, жар-птица,
Агромадная коса —
Разрешите в вас влюбиться

На коротких полчаса...

Девушки прыснули, выталкивая вперед упиравшуюся Дуню, но та, сконфуженная и польщенная, выскользнула вьюном и скрылась в задних рядах. «Тьфу, окаянный!»

А Сережка небрежно покосился на каблук и наметил вторую – соседскую белошвейку Таню, забежавшую на пожарный двор посмотреть свадьбу, потолкаться.

Как на лавочке у бани
Тайно жал я ножку Тане, —
Я такие тайности
Люблю до чрезвычайности...

Васенька, толкаясь в толпе, поднял голову: чего они там заливаются? Сережка донжуанничает... Соперник. Он все еще не мог себе простить своей глупой вспышки в конюшне. Значит, так со всякой, – ни с того ни с сего. И, как с ним не раз бывало в «честные» минуты, стал сравнивать: а если бы Нина вот так же какого-нибудь смазливового солдата поцеловала? Даже вздрогнул от негодования. Нина! Но почему же, разве это не одно и то же? Гимназическая строгая совесть говорила: «Конечно, какая же разница...» Но веселая, озорная беспечность молодости смеялась: тоже сравнил. Поцеловал, точно в пруд окунулся, больше ничего. Не деготь, не пристанет.

А его хохлушка и думать о нем забыла. Стояла с белобрысом, как желток, безусым пожарным в дверях сарая, у насоса, и, охорашиваясь, примеряла блестящую медную каску. Странно: ее смазливое хохлацкое личико сразу стало строже и выразительнее. Диана не Диана, а, право, за одну из младших богинь бы сошла...

У пыльного забора, под березкой, сидел на земле Минченко, против него сивый, крепкий, как тумба, пожарный. Долго усаживались поплотней. Подошва к подошве пригнали пятки, упершись кулак к кулаку, схватились руками за круглую палку от метлы. Пробуя друг друга, резко рванули – ни с места. И медленно,

вливая всю силу в кисти и в тугие пятки, стали друг друга перетягивать.

Над ними сгрудился народ. Силы вокруг бродило немало, не всю ее и хмель спеленал. Не у одного вот так же, как у сидевших на земле, сжимались, наливаясь кровью, кулаки и пружинили ноги.

– Ужель, Савельич, солдату поддашься? – просипела чья-то ошалевшая, кудлатая голова, просовываясь в круг.

– Зачем, черт, поперек говоришь?

И опять тишина. Затылки у противников потемнели, точно под банками натянулись. Ни с места.

– Врешь... – хрипло крикнул пожарный, наддавая из последних сил. – Врешь...

Вот-вот лопнут. Но палка не выдержала, хрястнула, борцы повалились вправо и влево, толпа зареготала, задвигалась.

Минченко, отдуваясь, встал, поднял с земли бутылку сладкой смородиной. «Ну что ж, Савельич, ничья, пополам разопьем...»

Пожарный, улыбаясь, подтягивал шаровары.

Надвинувшиеся чуйки и пожарные хлопали Минченко по спине, ощупывали мускулы и гоготали: «Здоровый, бугай!»

Васенька вздохнул: ведь вот – как он с ними умеет – совсем свой. Болтает, пьет – забавляется.

– А, Василиса? – обернулся к нему Минченко. – Жарко?

– Ноги все оттопал. Броненосцы эти казенные, орудие пытки какое-то. Дьявол бы их взял!

– А ты Сережины надень. Что ж ты, чудака, молчал? У него вторая пара есть, как раз подойдут... Се-ре-жа!

Васенька пошел с денщиком и через пять минут вернулся бодрый и сияющий: от угрызений совести и следа не осталось. Потому что неразношенные армейские сапоги пуще всякой совести человека замучить могут.

* * *

Гармонисты сидели у края стола. Навалились на еду по-настоящему, по-деловому. Им свадьба – трудовой день, нынче густо, завтра пусто, – наедались впрок. И пили немало, но с выбором:

выморозки – сладкое местное вяленое вино, водку на красных стручках, похожую на сургучную наливку-мADERу. К пиву не прикасались. Немецкий квас дешевка, хвосты им у лошадей подмывать... Но не хмелели ничуть, – ели уж очень густо. Только крикали да обтирали о скатерть мокрые рты. Гармонии, похожие на кубастые шкатулки, стояли сбоку на лавке, блестели медными резными углами, перламутровыми пуговками ладов, шляпками колокольчиков.

Васенька присел рядом. Выждал, пока горбун дожевывал кусок жирной полендвицы, и спросил:

– А что, трудно на гармонии играть?

Гармонист вытер сальные руки о хлеб и небрежно ответил:

– Талант нужен. У кого телячьи уши, не научится...

Но, покосившись на почтительно слушающего молодого солдата, смягчился:

– Такты надо во как держать. Не забегать, не заметывать. А то, брат, клейстер... Опять же механизм в суставах. Чтобы каждый палец сам собой, как ветер дышит, на свой клавиш ложился. Как у вас, скажем, по церемониальному маршу, – один дурак не с той ноги хватит, вся шеренга к чертовой матери... А ты что же, антирисуешься?

– Инструмент приятный, – вежливо польстил Васенька. – Я вот тоже на балалайке немного играю.

– Сравнил тоже козу с лебедью. Что ж ты на ней, на трех струнах сделать можешь? Трень-брень, хрюшки-вьюшки... Шмель пролетающий загудит, ее и не слышно. А гармонь – гром, блеск, одурение...

Он слегка тронул свою кубышку, полукругом растягивая мехи.

– Вальц! – заверещала, подбегая, косолапая рябая красавица в накрахмаленной юбке. – Что ж вы, Терентий Сидорович, целый час все закусываете...

Горбун перемигнулся с подручным, согласно тронулись локти, и звонкий подрагивающий мотив печально заструился над мощеным пыльным двором.

Васенька вслушался. Господи, да этот вальс ведь бабушка часто по вечерам мурлычет, когда она в хорошем настроении:

Я видел березку.
Склонилась она...

Грузно завертелись, перебрасывая тело с ноги на ногу, пары. Танцевали серьезно, будто ответственную работу исполняли. Широкие лапы пожарных лежали на крепких плечах по-воробыиному подскакивающих барышень. Густой дух ситца, помады и пота – неизбежный слободской аккомпанемент – поплыл над головами. Порой из-под каблука кавалера вылетала короткая искра: это подкова чиркала о камень. Минченко добросовестно крутил курносую коротышку-горничную, уткнувшуюся носом в его бляху... Сережка, пес этакий, вертел сразу двоих, перебрасываясь рыбкой от одной к другой...

Пожилая прачка стала рядом с Васенькой, втиснув руки в рыхлые бока. Ясно, что прачка, – пальцы, размытые добела, и жавелевой водой так от нее и разило. Никто ее не пригласил покрутиться, она цокала языком, покачивалась на месте – очень уж пронял пронзительно-роскошный мотив.

– Угодно? – изогнувшись, как пристяжная, поклонился гимназист.

Прачка очнулась, шлепнула белую руку на его плечо, поймала такт и дернулась. «Однако, жернов», – подумал Васенька, с трудом ее поворачивая, словно наматывая бабу вокруг себя. Круг, еще круг, а она не отлипает, щеки как мальва, черт с младенцем связался. Ему казалось, что он в квашню с тестом попал, до того она вся была пухлая и сырая...

– Устал, сынок? – шепнула она, лукаво поблескивая рыбьими глазками. – Поверти, не растаешь...

– Ни-че-го! – отдуваясь, буркнул гимназист. Весело ему было и смешно...

И, вскинув случайно голову, обомлел. Из окна второго этажа брандмайорской квартиры смотрела на него во все глаза племянница брандмайора Наташа Лаптева... Взяла бинокль, зовет подруг...

Как бильярдный шар от борта в угол, отлетел Васенька от оторопелой прачки – и ходу... За ворота. Ветер слизнул фуражку... Пес с ней. Офицер, вынырнувший из-за угла, орет вдогонку, размахивая стеклом:

– Чести почему не отдал? Какой роты? Стой, тах-тах, тарарах.

Какая там к бесу честь! Что теперь будет, что теперь будет? Из всех окрестных окон, из каждого палисадника на него смотрело строгое личико Нины и прямо пылало пламенем презрения и гнева...

Косой мельницей перелетел через забор и скрылся за зашипевшим кустом в саду Минченко.

Московский случай

Рассказ обывателя

Перед самой войной судьба меня с корнями пересадила из волынского чернозема в санкт-петербургский торф. Еще по старому романсу известно – «судьба играет человеком», – ничего не попишешь.

Долго не мог привыкнуть. Очень все парадно: дворцы, проспекты, римские тройки на крышах, Нева в гранитном корсете... Слов нет, красота, но сердце зазябло и съежилось. Природа к тому же на любителя – зимой черные дни, летом белые ночи, осень и весна на один салтык, светлой улыбки на небе не увидишь... Не одобряю.

На эмигрантском расстоянии пейзажец, правда, заголубел, солнцем воспоминания насквозь омыт, однако в те давние времена очень я себя неуютно чувствовал в столице. Все о своем Житомире вздыхал: тополя, бульвары, Тетерев в скалах, маевки за рекой в «Зеленой роще»... Провинциал? Что ж!.. Каждому своя смоковница симпатична.

Служил я в Петербурге на Загородном. В Службе сборов Варшавской дороги по отделу местной таксировки. Переборы и недоборы. С утра сидишь, сжав коленки, над грязными накладными, указательным перстом по графам водишь, заблудшие копейки разыскиваешь. А со мной в комнате двадцать три девицы, один я мужчина, не считая тухлого немца Циммермана. Можете себе представить, до чего я женоненавистником стал!

Немец серьезный был – сам курил и газету читал, а мне запрещал. И болтовни этой сорочьей при нем не было. Счеты кряхтят, перышки шелестят; голову подымешь, на желтый пар в окне уставишься и весь скорчишься, как райская птица в банке из-под маринованной корюшки.

А чуть Циммерман за дверь, – круглая язва желудка у него была, часто он за дверь бегал, – двадцать три девицы в двадцать три языка как начнут щелкать (меня они не стеснялись, словно я евнухом при их счетоводном гареме состоял), как начнут прищелкивать... Господи! И из себя к тому же, как вам сказать, сплошное сухожилие. Цвет лица,

как у лежалого бисквита, уши насквозь светятся. Другая и поосновательнее, да все какая-то простоквашная полнота: пером ткнешь, сыворотка прольется. И на улице – сколько их мимо в тумане промаячит навстречу. Улица, что ли, была такая незадачливая, однако хоть и столица, – далеко им, петербургским килькам, до житомирских лебедей.

* * *

Весной от приятеля письмо из Москвы пришло, от Васеньки Болдырева, – в одном полку, в одной роте вольнооперами были...

Пишет коротко и ясно: «Живу, друг Федор, по-царски. Служу у архитектора Чепцова по чертежной части, сто двадцать пять целковых охватываю. Приезжай, черт, погостить. Стыдно даже – русский человек Москвы не видал. Мать и сестра просят. Заочно тебя в ангелы произвел, смотри – не подведи...»

Это точно – не пью я, не курю, в карты дальше подкидных дураков не разворачивался и к женщинам, как выше указано, хладнокровен... Чем не ангел?

Словом, взмыло меня, жаворонком сорвался с причала. Счеты локтем отодвинул, пошел в Личный состав, доложился: так и так, по домашним обстоятельствам прошу на две недели отпуск, без сохранения содержания, с выпиской мне в Москву и обратно присвоенного мне по должности билета 2-го класса. К концу занятий все было готово. Не успел мне Циммерман палку в колеса вставить, рот раскрыл, а я общий поклон – и к двери.

Вечером к Николаевскому вокзалу подъехал, – мгла, мокрый снежок, навозная каша, под штиблет снизу ветер пробирается... Разыскал свой вагон, залег на верхнюю полку падишахом...

Утром проснулся: пейзаж! В стеклах небесный василек, белая тучка над телеграфными проводами висит, вокруг веселая пестрядь, грузные рекламы на столбах, вокзалы шатрами, вдали горит позолота... лязг телег, ширина, солнце. Скатился я мячиком, визави своего на верхней полке бужу: «Вставайте, что ли, к Москве подъезжаем!»

А он лохматую грузинскую голову свесил, осовелыми глазами по вагону повел и под технологической тужуркой перстами скребет:

– Большинство спит!

Должно быть, социал-демократ был. Я портплед кое-как сваял, продрался сквозь вокзальную гущу, на площадь вышел.

– Господи, твоя воля... Да ведь это я *домой* приехал!

* * *

Вахлак-извозчик меня по дороге насмешил. Я во все глаза смотрю, словно давнюю детскую книжку с картинками нашел, вспоминаю страницу за страницей, а он с разговорами пристаёт. К кому еду? Да кто такой?

– Англичанин я, – говорю. – По-русски не понимаю.

Старик обиделся, шею в ворот втянул, как черепаха, и замолчал. Потом повернулся, из-под своего бурого цилиндра с пряжкой на меня покосился и пробурчал:

– Чего зря врать-то... Англичанин... У англичанина, брат, лицо вумственное.

Подымались в гору, спускались. Никогда б я в этих, одна в другую впадающих, кривоколенных улочках не разобрался... Лабиринт! А дома! То дом как дом, а рядом комод, на комод терем с пузатыми бутылками, на тереме гауптвахта. Точно царь Ирод в пьяном виде заказывал... И влипшие среди толстых солидных стен пестрые домовые церковки, и зацветающая черемуха над уездными палисадниками, и разношерстный люд, неторопливый, румяный, ни кокард, ни петличек, а по обличью сразу узнаешь, кто какого сорта, кто чем занимается...

Это тебе не Загородный проспект... А солнце! А ветерок!

Сивцев Вражек... Я по названью думал – закоулок какой-нибудь, избушки на курьих ножках, а улица – хоть к Невскому пристегни. Болдырев мой жил пресолидно. Дом пятиэтажным слонем, подъезд – хоть баню в нем устраивай. Швейцар вроде генерала Скобелева, с приездом меня поздравил и отправил с портпледом в подъемной шкатулке на пятый этаж, под небеса.

Подъезжаю – дверь настежь. Васька мой – усы, как у брандмайора, отросли, – к чесучовой рубашке меня притиснул, облобызал. За ним в дверях сестра его... Олимпиада Иннокентьевна. Познакомился...

Повели в столовую к мамаше их, сидит за самоваром вся в лиловом, в черной наколочке, щечки добрые, носик добрый, глаза добрые. Короче сказать, как я, в Москву въехавши, сразу ощутил, что *домой* вернулся, хоть никогда и во сне я Москвы не видал, так и мамаша эта сразу мне родной стала.

А об Олимпиаде Иннокентьевне речь особая. Надо паузу сделать...

* * *

Не люблю я женщин, действительно... В Житомире много случаев было: и хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке «шу-шу, шу-шу», сегодня с батальонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него воротник литого серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь (предполагаю, ибо в самой Венеции не довелось быть).

Петербургские, по совокупности климатических условий, может быть, и постояннее. Но игры никакой, одна практичность. На Службе сборов ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают.

Были, правда, у меня кой-какие и приватные питерские знакомства. Четыре сестры со вдовствующей мамашей интендантского происхождения, у Пяти Углов небо коптили. Одна грусть. Мамаша спать уйдет и мне безбоязненно дочек подкинет, – знает, что умный человек зря в капкан головой не полезет. Старшая треска треской, Пшебышевским все козыряла, – по-моему, он и не гений, а просто Заратустра из почтово-телеграфных ницшеанцев...

Вторая пухла и малокровна, вроде диванной подушки: торчит в углу и ждет, кто на нее облокотится. Третья, упаси бог... В итальянского шофера в Генуе влюбилась, какую-то с ним идейную

беспроволочную любовь крутила, а в дневниках такое про него писала, что я и читать отказался. Меньшая... Даром что подлеток, всех знакомых мужчин по рубрикам разнесла, по пятибалльной системе отметки им вывела и качества все прописала. Про меня выражалась двойственно: «Кисляй Кисляевич, глаза и рост ничего, зачислен в резерв, во вторую линию. Тройка с минусом...» Сама-то... Килька в обмороке, укус пятнадцатилетний, туда же.

Как перейти теперь к Олимпиаде Иннокентьевне? Господи, благослови! Простота-то какая, лучезарность, плавность лебединая, сероглазое мое золото, – вишь, чуть стихами не заговорил. Про дурное-то слов много найдешь, а пойдика опиши хрусталь...

Еще в передней я понял, чуть только она на меня глазами повела: вот она, моя Москва, в женском образе и подобии, румяная моя судьба, с которой и бороться не стоит. И пробовать не стал: внутренне руки вверх поднял, хотя наружно и держал себя на строгой уздечке, памятуя, что какой я ей, увалень, партнер?..

Влип сразу. Предрасположение у меня, так сказать, литературное давно было... Ольгу Татьяне всегда предпочитал и Онегина по этой причине большим ротозеем считал. По местожительству пусть Татьяна хоть в С.-Петербурге, хоть где угодно холодное свое гнездо вьет, а уж Ольга в Москве, как жемчуг в футляре, как раз на своем месте. Взглянул на московский золотисто-голубой пейзаж, на уют их ленивый и теплый, на походку ее и на брови и сразу это понял...

И вот с первого часа, как приехал, все свое расписание переменял: Румянцевский музей, подъем на Ивана Великого, Кремль да окрестности, «Синюю птицу» у художественников – все отложил. Куда моя Ольга-Олимпиада, туда и я, как зонтик, на кисти подвешенный. И изучал Москву применительно к тому, куда звонкие каблучки поворачивали.

* * *

А поворачивали они... Разве знает голубь в небе, куда ему запричудится плыть через минуту? Вернется с уроков, узкой перчаткой меня по руке хлопнет (перчатки, ей-богу, словно плечико грудного младенца благоухали) и угонит за собой на буксире... И только на

втором-третьем перекрестке с хохотом начнем разбираться: куда нас, собственно, вольные ноги несут...

То душегрейку себе дымно-малинового бархата с хорьковой оторочкой отправится по верхним пассажам выбирать, а я решать должен: к лицу ли цвет, хороша ли парча на подкладке... Примерит, – Василиса Мелентьевна, – на душегрейку и не глядишь, что ни наденет, все собой украсит... То отправимся на Трубу карликовых попугаев-неразлучников в подарок племяннице покупать, и опять я консультантом по попугайской красоте. Не знал я до того, что взрослый таксировщик местного сообщения подчас счастливей пригодишки может быть... То в Третьяковку забежим, – за реку сквозь уездное Замоскворечье нырнем, – и начерно обойдем плечо к плечу любимые картины, дальше да дальше – словно знаем, что не раз еще к ним вернемся. А оттуда в случайную пивнушку: Олимпиада Иннокентьевна на шутовской плакат удивленно уставится, пьет свою «Фиалку», лимонад был такой (настой жженого сахара с пачулями), а я трехгорное пиво потягиваю, ракам задумчиво клешни обламываю, с голубого окна глаз не спускаю и думаю: «Господи! Ужели до отъезда всего лишь три дня осталось?!»

Мамаша ничего, не вмешивалась. Даже по-своему положение мне мое при дочери объяснила. «Липа у меня такая, и пес к ней, какой ни попадись, лънет, и кошки ее на всей лестнице обожают, а уж про людей не говорю. Кто к нам ни завернет, уж непременно к ней флигель-адъютантом приклеится. Воробьи даже, поверишь ли, по утрам к ней с балкона в комнату залетают. Хоть и моя дочь, а уж скажу по совести: клад-девушка».

А Липа из другой комнаты смеется, чашками звенит:

– Слыхали? Клад-девушка! Вот только открыть некому...

Так у меня язык к небу и прилип... Молчи, Федор, молчи. Нужен ты ей, как муха в чае. На кого, микроб, глаза поднимаешь?..

* * *

В предпоследний вечер, мрачный, как «Остров смерти», шагал я по болдыревской гостиной. Олимпиада Иннокентьевна в столовой чай разливала. Дядя ее пришел, брат мамы, мастодонт в купеческом

сюртуке, на голове седой бобрик, борода веером, потел, чай с блюдечка всасывал и молчал. Перстами поиграет, глаза строгие гвозди, – солиднейшая орясина. Сидел, потел, вздохнет и опять к своему блюдцу припадет.

Человек навек уезжает, а он тут, как насос, хлюпает... Шагал я по гостиной и со злости обстановку критиковал. Само собой, я не профессор домашней эстетики и до этого вечера даже и не покосился, что у них там по углам наворочено, однако в злости человек легко в критиканство впадает.

Кресла, например... от прежнего купеческого великолепия остались... жабы красного дерева, ни тебе пропорции, ни тебе удобства, – сиденье, как у выездного барского кучера, когда на нем 18 армяков для стиля намотано... Спинка у дивана покатым катком, голову прислонишь, как к могильной плите... Портьеры – шаману сибирскому шубу из такой бы портьеры сшить. Доволен бы остался! А на золоченом пупыристом столике уж совсем африканско-московская штучка... Мамашин вкус. Наполеон гипсовый над кремлевской стеной ручки сложил, штепсель ежели в него сзади вставить, глаза красным пламенем, как у вурдалака, нальются, над кремлевской стеной за матовым стеклом пожарчик розовый вспыхивает. И под сие сооружение мамаша еще граммофон обычно заводит: «Шумел-гудел пожар московский, дым расстился над землей...» Тьфу!

Ведь вот сидит, леший. Дядя, подумаешь. Нужен он здесь, как верблюду арфа. Точно у него после моего отъезда времени не будет чаи свои прихлебывать...

Васька Болдырев в пустую гостиную на шаги мои вошел и смеется.

– Ты что, метроном, шагаешь?

– Скучно. Да и дядя твой, извини, подавляет. Экая гора добродетели, замоскворецкий бонза. Пошути-ка при таком...

Васька задержал портьеру и, усмехнувшись, понизил голос:

– Это ты про Савелия Игнатьевича-то? Да ты знаешь ли, что бонза этот раза по три в год новую одалиску себе заводит. Уж дома у него так и знают: не стесняется дядя, – чуть кабинет его сверху тащат и на ломового укладывают, значит, он к новому сюжету перебирается. Без своего кабинета он, чудак, не может, а на что ему там письменный

стол, сам Мартын Задека не разгадает. Месяц-другой пройдет, с одалиской своей разругается, плядишь – кабинет опять во двор въехал, а сам дяденька на коленках покаянно от самых ворот по лестнице вверх ползет. Доползет до тетенькиной спальни и до тех пор не встанет, пока прощение себе не вымолит. Думаешь, вру? Всей Москве известно... Вот тебе и гора добродетели. Идем в столовую? А он, между прочим, старик добрый и очень тебе пригодиться может.

* * *

Последний день неотлучно при Олимпиаде состоял. И в аптеку с ней, и гарус подбирали, и по Тверскому носились – розовый рахат-лукум искали. Час за часом уплывал, живым меня в землю закапывал.

Вечером поднялся домой; подъемная машина, ей-богу, эшафотом показалась... в последний раз поднимаюсь. Щелкнул тихонько американский ключ, вошли, слышим в зеленой гостиной потаенные детские голоса, смешок, писк комариный.

Олимпиада Иннокентьевна палец к губам, на меня обернулась, скользнули мы за портьеру, смотрим, что за спектакль такой?

Племянник болдыревский, кадетик, что раз в неделю в отпуск из корпуса приходил, собрал у балконной двери своих знакомцев: швейцарский Мишка, реалистик Лавр с верхней площадки и еще какие-то микроскопические личности жадно уставились сквозь балконную дверь на ярко освещенное во дворе окно против нашего этажа. Оторваться не могут, хихикают. На что бы, вы думали, уставились? Школа во дворе была пластики и художественных танцев, по Далькрозу... Портьеры, черти, не догадались на окна повесить. Собралось десятка два дебелых московских гагар, в кисейных сквозных воскрылиях распластываются над паркетом, руки лебедями, ноги – розовыми балыками, шеи словно пристяжные. Детвора в восторге...

– Ты б, Лаврик, на которой женился?

– На второй справа. Мускулы у нее какие замечательные!

– Мускулы у меня у самого есть... Важность какая. А я бы на розовой женился. У нее, брат, на Тверском бульваре своя кондитерская... Я б целый день из тортов не вылезал...

Олимпиада за портьерой губы кусает, за руку меня щиплет, чтоб я голоса не подал... Темно, душно, от милых волос лесным ландышем и московским ветром тянет, теплая рука меня за рукав теребит. Света я невзвидел, в темноте да с горя и божья коровка осмелеет. Прильнул я губами к пушистой жаркой щеке... Как на это решился, и до сих пор не пойму! И вот подумайте, вместо того чтобы меня за мою дерзость в балконную дверь выставить либо локотком в глаза, как полагается в таких случаях, двинуть, – Липа моя, подумайте, повернулась ко мне всем лицом и...

Не приходилось мне ни у одного поэта читать, чтобы за портьерой целовались, однако лучше места и на свете нет.

Понеслись мы в столовую, хохочем, совсем ошалели... Мамашу разбудили, на гарусной подушке у окна, как потухающий самовар, похрапывала.

– Что ж, вещи сложил? – спрашивает.

– Сложил! – отвечает за меня Липа. К матери подбежала, на коленки перед ней стала. – А я их, мамочка, опять разложила...

Старушка так шарады этой и не поняла в тот вечер. А потом Васенька подошел, еще из передней кричит:

– Федор! Дяде ты очень понравился. Звезд, говорит, с неба не хватает, но своя, говорит, лампа у него в голове есть... Просил передать, что в Правлении Московско-Курской дороги у него большие связи; если хочешь, в два счета тебя в Москву переведут.

И опять Липа за меня отвечает:

– Зачем же ему в Москву? В Петербурге на Службе сборов с ним в одной комнате двадцать три барышни сидят. Авось он там, женоненавистник, судьбу свою найдет...

Ведь вот какая злоязычница!

Ну, сами понимаете, что в Москву я в скором времени перевелся, т. е., собственно говоря, в Петербург я только за вещами на два дня слетал.

* * *

Вот и весь мой «случай». Сколько я ни живу, сколько чего ни видал, сколько романов ни читал, – а я свой московский роман самым

выдающимся считаю, ей-богу. В два счета свежий ветер всю жизнь мою перевернул, и не раз мне с тех пор кажется, что я точно не на женщине, не на Липе, а на самой Москве женат. А ведь не решишь я тогда за портьерой...

В Марселе который год теперь бьемся, прачешную французскую держали, в гавани я верблюдом по разгрузке нанимался – все ничего. Моя маленькая Москва при мне, а в большую Москву... есть такие заповедные слова, и думаешь-то о них с трепетом... в большую Москву дай господи хоть под старость вернуться. Сынишка у нас растет; не в Житомир, не в С.-Петербург – в Москву его с собой повезем, пусть наш старый неоплатный долг выплачивает...

1926. Париж

Диспут

В ноябрьский слякотный вечер шестнадцатого года пришел в госпиталь лазаретный батюшка о. Василий. Маленькая русая бородка клинушком, глаза как у пятилетней девочки.

Дождевик в парадной повесил, с часовым у денежного ящика поздоровался (что батюшке по уставу как будто и не полагается) и вприпрыжку по широкой лестнице пошел в коридор.

– Ну, воины, добрый вечер, – давайте читать будем.

И книжечку тоненькую из ряски вынул.

Сначала, как всегда, граммофон завели: кекуок, да прочее, что повеселее, сестрица подсунула, чтобы осеннюю госпитальную скуку развеять. Граммофон, признаться, был дрянный – хрипун и удушенник. Но где ж другой возьмешь.

Приползли из палат в коридор раненые из выздоравливающих, больные-гриппозники, дежурный ординатор на шум вышел, – раненые потеснились. Присел и он на край скамьи, тоже ведь человеку невесело по углам шагать.

А потом чтение.

Оглядел батюшка добрыми глазами верблюжьи халаты, знакомым лицам улыбнулся и начал:

– Сочинение Николая Васильевича Гоголя. «Вий». К ночи бы вам, господа воины, этой страшной истории читать не следовало. Да уж знаю, вы, как дети, страшное любите. Или, может, что другое почитать, повеселее, ась?..

– Страшное, батюшка. Просим про страшное. Уж, пожалуйста, почитайте.

– Ну уж конечно...

«Как только ударял в Киеве поутру звонкий семинарский колокол...»

Читал о. Василий внятно и завлекательно. Разговор на разные голоса вел, где нужно басом, а в иных местах до бабьего писка подымал. А как дошел до страницы, как Вия в церковь ведут, так таким пронзительным шепотом чеканить стал, да с остановками, чтобы каждое слово проняло, – так иные в окна с опаской

посматривать стали. Капли стучат, за стеклами мгла, гул и свист, – уж не Вия ли к ним ведут в 17-й полевой запасный госпиталь? Тьфу-тьфу, сохрани и помилуй!

Долго читал батюшка. Забыли солдаты о своей неласковой судьбе: кому в окоп возвращаться, ждать с часу на час шальной пули между глаз, кому домой инвалидом со скрюченной ногой добираться. Притихли. Ушли в страшную повесть, с тревожным участием прослушали о горькой доле Хомы Брута, жуть полевая к мокрым стеклам приникла, теснее придвинулись халаты друг к другу на коридорных скамьях.

Кончил батюшка, ухмыльнулся, усталое лицо платком обмахнул и книжку в рукав сунул.

– Прощайте, воины. Поздно уж... Чего насупились? Говорил, что страшное к ночи бы не читать. Да вот...

Пожал доктору руку, подмигнул ему на солдат и мышинной побежкой исчез в коридорном сумраке.

* * *

В четвертой палате, где тяжело раненных и больных не полагалось, у стены на койках разлеплась тихая компания и, поглядывая на затененную зеленой тафтой электрическую грушу, вполголоса разговаривалась.

Согнув горбом под теплым одеялом коленки, невидимый ефрейтор Костяшкин, по истории болезни мышечный ревматик, по характеру человек спокойный и обстоятельный, в деловитом раздумье покрутил головой:

– История. Ему бы самую малость удержаться, а он, дурень, смяк. Зрак выпучил, все труды пропали даром. Уж конечно, сотник бы ему отвалил по обещанию. Может, и в экономы к нему бы попал, жил бы, лучше не надо. Баран и есть, стойкости, братцы, в человеке не хватило.

– Тебя не спросил, – сипло отозвался сосед раненый и, раскурив потаенно зажатую в кулаке папироску, озарившую на миг щетинку усов и сердитые глаза, тяжело перевел дух. – Ты, елова голова, того и не понял, что бурсак этот русский настоящий характер в себе

обнаружил. Стойкость русскую проявил, а не то чтобы смяк... Нутренний голос ему приказывает: «Не гляди, погибнешь, с... сын»... а он наперекор. Наплевать. Хоть погибну, а взгляну, очень я вашего Вия испужался. А ты про деньги... награждение... Эва, очень он про это думал. Немец чи, скажем, австриец какой, конечно, до конца бы постарался, свою линию бы довел: и жив бы остался, и панским арендатором бы стал. Ему это первый интерес. Да жену бы себе из Германии выписал, страна вольная, дураков много, живи. А наш хлопец настоящий оказался. Раз, и готово. Сам погиб, да и чертям крышка: ишь головами, как летучие мыши, в церкви позастряли. Тоже вещь не сладкая.

– И чего это он не убежал от холуев этих? – задумчиво спросил сидевший в ногах солдатик. – Предчувствие тяжелое имел, чего же тут в самом деле. Как они в корчме перепились, ему бы не пить, а на пол лить. А потом – ходу. С плена бегут, лесами-полями сотни верст отхватывают... Ужели пьяных казаков не обмануть? Постегали бы его в бурсе, конечно, эка важность, а тем временем чертовку бы эту и зарыли. Жалость какая.

– А ты на войну хотел идти? – спросил, гася о подошву туфли папироску, раненый.

– Кто же хочет...

– Так чего ж ты не спрятался? Коли надо, так и в стогу, брат, разыщут. Да и не очень он боялся. Неохота было эту чертовку отпевать, точно, но долг свой сполнил, он же ее и жизни лишил. Ну и думал: свой грех замолю, может, и ей спасение вымолю. Да вон по-иному вышло. А бежал он так... для очистки совести. Разве так бегут, по-настоящему-то?

Писарь управления военных сообщений фронта, человек образованный, лечившийся в госпитале не от какой-нибудь там чесотки или ревматизма, а от болезни, можно сказать, офицерской, – застарелого ишиаса, давно снисходительно прислушивался к солдатской болтовне и не выдержал:

– Косолапость какая! Господин Гоголь для упражнения в стиле хохлацкое поверье обработал. Фольклор называется, специальная наука по совокупности народной брехни, – а вы и уши поразвесили. Бурсак, как человек высшего развития и даже до философии причастный, на женщине верхом ездить не мог, это во-первых. И бить

ее по чем попало, как в вашем сером быту полагается, не стал бы. Это во-вторых. Что касается полета гроба внутри церкви с поднятием до потолка, то это несуразность, ибо как же гроб без пропеллера и бензиномотора летать может? А Вий с прочей чепуховиной чистая, можно сказать, беллетристика. Просто бурсак, под влиянием алкоголизма, принятого внутрь для ободрения чувств, впал в галлюцинацию, по причине которой и скончался, как дурак, от разрыва сердечной аорты... Про умершую тоже понимать надо. Может, она в летаргическом сне вставала, – поскрежещет и опять на место. Науке такие случаи доподлинно знакомы. А вы, обломы, и рты поразевали. Публика.

Вокруг сдержанно покашливали. Ишь, наговорил, черт гладкий. Точно серной кислотой полил. Да и как же так: станет сочинитель мужицкую сказку пересказывать – чай, не баба на печи... Не глупее писаря был.

– А позвольте вас спросить, господин писарь, вы в Господа Бога веруете? – спросил кто-то темный тихим баском из глубины коек.

Солдаты повеселели.

– Вопрос несуразный. Отвечать бы тебе, идолу, не следовало, да уж...

– Соблаговолите...

– Конечно, верую... По долгу службы и присяги и сообразно со Священным Писанием, как на вселенских соборах отцами церкви и святителями установлено.

– Тэк-с. А в дьявола веруете?

– Ты что ж, экзамен мне производишь? Сам слов никаких не знаешь, а произносишь. Да знаешь ли ты, моржова голова, что есть дьявол? Алле-го-ри-я... Только и всего. Понял?

Бас сплюнул, сел на койку и твердо переменял тон.

– Ты, друг, ученых слов не загибай. Кака така аллигория? Я тебе русским языком спрашиваю: в дьявола ты веруешь? Евангелие читал? Кто Христа на горе искушал? Дьявол. Простому бесу такое дело несподручно, рылом не вышел. Так что ж, тебе этого дьявола надо по штабным спискам провести да на казенное довольствие зачислить, – без того не поверишь. Далее. Кто в свиней бешеных вонзился, когда они в море поскакали? Бесы. Стало быть, и дьявол есть, и подручные

его: бесы, лешаки, ведьмы и протчая. Одному дьяволу не управиться, да и по мелким делам ему возжаться не с руки.

– К чему это ты гнешь-то?

– К тому гну, что Вий этот, стало быть, один из его старших чертей.

– Это что же, вроде начальника штаба корпуса? – съязвил писарь.

– Ну уж, если ты иначе понимать не можешь, пусть вроде начальника штаба. Его, вишь, и позвали, когда мелкота с бурсаком не сладила.

– А ты его видал? – пренебрежительно спросил писарь.

– Може, и видал. Что к ночи поминать... Да вы-то сами где до войны проживать изволили? – Бас вежливо перешел на «вы», очевидно, готовясь к новому подкопу.

– Мы-то? В столице, конечно, – с достоинством ответил писарь. – Народ мы непонимающий, у нас этих чертей да ведьм летающих, можно сказать, и с пьяных глаз не увидишь. Не удостоились.

– В том-то и дело. В городе, друг, нечисти этой точно – не водится. Да и что в городе черту делать, когда люди там хуже чертей. Там Вия этого и не узнаешь: манджеты нацепил да орудует себе по коммерческой либо по адвокатской части. А может, и в писарях околачивается, ты, друг, не обижайся... В деревне же, да еще в стародавней жизни, которую сочинитель этот описывал, – им раздолье, полная, можно сказать, жизнь. Леса, буераки, омуты, народ свежий, непорченный, в нечисть верует, она ему себя и оказывает... Так-то...

В дверь, звеня мензуркой и аптечными склянками, вошла сестра, сняла зеленую тафту с лампы, посмотрела по углам: все на местах. Знает она эти штучки.

– Опять шушукались? Другим спать не даете. Вот скажу завтра главному врачу, чтоб разговорщиков этих по другим палатам распределил.

– Да мы, сестрица, ничего... – хрипло шепнул с койки у прохода, блестя веселыми глазами, солдатик, – поговорили точно... Очень уж занятную вещь о. Василий прочитали... А как вы полагаете, сестрица, между прочим: есть ведьмы или это так, темный народ распространяет?

Сестрица усмехнулась.

– Вот не выпишу тебе завтра порции, тогда и узнаешь. Спи, а то лампу потушу!.. Тоже, умник какой...

Солдат нырнул под одеяло и притворно захрапел. Кругом рассмеялись. А бас, отчитывавший писаря, зевнул и, обращаясь к сестре, возившейся у аптечного шкафика, сказал:

– Идиет он, сестрица... Как ведьма женского сословия, то неделикатно даже у женщин про них и спрашивать... Спокойной ночи, сестрица.

– Верно, верно, – рассеянно отозвалась сестра, взбалтывая склянку и глядя на нее на свет усталыми, кроткими глазами.

Экономка

За узорными чугунными воротами – полумрак и прохлада. Липы сплели изогнутые ветки в темно-зеленый туннель, – дождь не пробьет.

Белая, зигзагами выющаяся стена отделила усадьбу от пустынного пыльного шоссе, обрамленного тополями, от неоглядных полей, полого спускающихся к станции. Кто бы сказал, что в часе езды – Париж?..

У входа, против домика консьержа – длинный кирпичный флигель. Площадка перед кухней усеяна темными, лопнувшими каштанами, куриным пометом и мелкой упаковочной стружкой.

За ржавым столиком в затрапезном, пропахшем землей и курятником, сером платье сидит грузная полуседающая женщина в очках и тяжело дышит.

Поговорить бы, отвести душу с русским понимающим человеком... Да не с кем. Уж она бы напела! И, как всегда, присела дух перевести, а мысли бегут, выплескиваются, – словно сама с собой говорит, остановиться не может.

* * *

Десять гектаров... Тоже имение называется. В полчаса все обревизуешь, а потом целые сутки сердце кипит.

На птичнике ворота настежь. Известно, чьи это штуки! В бочке – воды нет. Куры, поздрав носы, в кружок собрались, на втулку смотрят. Все углы грязью-пометом позаросли. Индюки драные, худые, словно нищие на паперти, вдоль сетки стоят. Глаза бы не смотрели!

В прачечной маляр-испанец с хохлушкой птичницей разговор в амурном направлении завел. Скажите пожалуйста, мезальянс какой! А постирушка ждет, цыплята по всем лавкам мокрые носки клюют... Разве ж это порядок? Шуганула его, хахаля, конечно. Жаль только слов настоящих на французском языке нет.

Дров конюх опять не напил. Вот злыдень, прости Господи. Как теперь пироги печь? Носится на велосипеде как скаженный от

усадыбы до станции, от станции до местечка. Русский конюх, а, вишь, тоже к французским романам приспособился! Хозяевам очки втирает: у коровы аппендицит, надо ветеринара вызвать...

С овощами – беда. Садовник с придурью, даром что бельгиец. По четным дням пьет, по нечетным жену бьет. На огород никого не пускает: «Огород – это я!» Контрабандой с хозяйского огорода к хозяйскому же столу овощи таскать надо... Да и такого насажал, что и цыган есть не станет. Тыква – лешему на третье блюдо. Укроп без запаха, хоть бы на смех чем-нибудь пахнул. Ну как такой в огуречный рассол класть? Артишоки никто не ест. Разве это овощ? Повырастали, как олухи, все в цвет пошли. Деньги людям не жалко! Огурцы басурманской породы какой-то: длинные да кривые, словно кинжалы. А на вкус вроде сырой кобылятины. В рот возьмешь да тихонько в руку сплюнешь, чтобы люди не засмеяли.

* * *

Главное, в большом доме никто делом не интересуется. Девушки теннис за оранжереей завели, прыгают весь день как оглашенные, бюсты спускают. Похудеть, видите ли, надо!.. И что за игра такая окаянная: словно малые ребята, мячик с лопатки на лопатку перебрасывают. Чем пойти на птичник поинтересоваться, почему индюшка окривела, какие яйца для еды отобрать, какие на высидку, только и знают свой теннис, либо в гостиной под граммофон полы натирают. Танцы! Изогнут в три погибели животы и хребтом вертят, как кошки наскипидаренные... А то сядут в лодку друг против дружки и гребут: одна вперед, другая назад. Кто кого перегребет. Воспитание!

Отец в Париже комиссионную лавку держит. Человек ничего, киевлянин. Баки как у собаки, глаза шилом. За все лето два пальца дал. Соболаговолит... Полпальца бы ему сдачи к носу поднести! В хозяйстве кобылы от жеребца не отличит, а туда же... имение завел. В город поедешь за покупками, явишься с докладом, выслушает, – только ничего кислого ему не докладывай, огорчаться не любит. А приедет в усадьбу – беда. Почему на капусте гусеница? С какой стати лодка течет? Почему скамейки не подкрашены?.. Почему прачка беременна?

Где же это видано, чтобы экономка и за гусеницу, и за лодку, и за прачку отвечала? Бельгиец-садовник хитрюга, чем свет в огороде роз понарежет, длинноухой травой перевьет, фонарь под глазом пудрой присыпет и тащит букет в столовую... Все воскресенье ходит за хозяином следом, как грач за плугом: очки втирает. Тот доволен, губу на локоть и сейчас же бельгийцу на чай двадцать франков. Я, говорит, вами «тре контан»! Подожди до осени, будешь ты тре контан... Маркиз свинячий!

А конюх еще похлеще. В укромном месте в парке хозяина высмотрит и давай про людей наговаривать... Экономка яйца прикапливает, кофе со сливками пьет. Неужели без сливок?! Покупать, что ли?.. За собой бы, лодырь, смотрел! Кто лошадь в водокачке на всю ночь забыл? Кто хозяйское вино бистровщику продал? Все известно... И про портьеры тоже, будьте покойны... На чердаке собрал охапку, свез в Париж, в канареечный цвет перекрасил и своим кралям по всему округу на платья раздарил. Уток сколько, подлец, съел! Чикнет утку в конюшне об колесо, а потом заявится, глаза, как у лешего, в разные стороны смотрят: «Опять, Варвара Ильинишна, коршун утку склевал!..» Вот уж именно... коршун.

С самой мадам тоже толку не много. Распустит пояс и лежит весь день на веранде, как майская ночь или утопленница. Тоска, видите ли, у нее. У других, может, три тоски, да еще камень в печени. Однако ничего, встают до зари, топчутся. Какая же тоска, если хозяйство? Женщина она, слов нет, кроткая: но как же так своим добром не интересоваться? Бог такое, можно сказать, редкое счастье послал... Другие в эмиграции своим горбом чужую стену подпирают, а тут все свое: дом, оранжерея, корова. Клочок русской земли создать можно. Горлилки стонут, груши наливаются, в пруду свои угри – один другого жирней. Смотреть тошно!

Кто человек понимающий и дело это самое обожает, должен по чужим кухням трепаться, глупым капризам потакать, а другой, как крот в пеньюаре, – сидит на веранде, на зеленый благословенный рай смотрит и, сложа ручки, равнодушно зевает. Скучно им здесь!.. Принцессы свеклосахарные!

Дожила, нечего сказать. Оттого и сердце кипит, когда всю эту безалаберщину видишь. Чужой хлеб давишься-ешь, да еще улыбайся им с утра до вечера. От этих улыбок, может, и годы свои сократишь.

«Варвара Ильинишна, почему кабачки невкусные?» У садовника спросить надо, мать моя... Переросшие к столу подает. Улыбнешься, да руками разводишь, да на европейский климат сваливаешь... Старшая дочка ихняя никогда головой не кивнет. Дождевой воды ей для волос принесешь либо душистого горошка пучок, – сквозь зубы буркнет. Догадайся там – либо «спасибо», либо «пошла к черту»... Ученая! Турецкий синтаксис в гамаке весь день перелистывает. А почему куры во вшах, да как огурцы солить, – этому в Сорбоннах не учат?... Вылупит глазенапы, как сова в очках, и по-английски на мой счет двоюродному брату: «И чего эта кувалда тут околачивается?» Язык чужой, да по выражению все понятно! Будьте покойны... В сорок восемь лет, персик мой, каждая женщина на законном основании расплывается. А вот когда в восемнадцать руки-ноги, как диванные валики, это, можно сказать, не стоило и в Париж приезжать... А кавалер-то, кузен, жимолость в штанах, туда же с усмешечкой. «Вы, – говорит, – Варвара Ильинишна, по руке хорошо гадаете. Погадали бы мне». И лапу свою цыплячью сует. Да у меня, может, на пятке больше линий, чем у тебя на руке! Что ж... Улыбнешься и врешь... Пять минут потом руки дегтярным мылом отмываешь. Богатым услуживаешь, хоть выгода какая, а этот двоюродный... Два воротничка, да подтяжки, да на сберегательной книжке – дырка от бублика. Тьфу!

Конюха столуешь, так он, гад, еще и нос воротит. «Каклеты, – говорит, – пережарены». Да где он, хамло, «каклеты»-то раньше ел?! Рожа – циферблатом, вино пьет до отвалу, еще и выбирай, с маркой ему подавай! И молчишь. Садовнику яичек снесешь – он тут же на манер президент-министра, что поделаешь. Землянику в парке, спину гнешь, собираешь. Принесешь в большой дом, приезжая племянница, кобыла сверхобхватная, и спасибо не скажет: пасть раскроет, всю миску вмиг опростает. Для тебя собирала!.. Смолчишь, улыбнешься ласково, и только за углом – дом обогнешь – плюнешь с досады...

А уж как жилось дома!.. Домик в Житомире за третьим бульваром – игрушка. Над крышей тополя до неба. Огород русский, православный: закудрявится весь, не уйдешь... Никакой Версаль не

сравнится. И не сидела ведь павой, благо что капитал кое-какой был. Осенью вздохнуть некогда. Капусту рубят-шинкуют, огурцы горой, только бы бочек хватило... Соленья, маринады, повидло... Рецепты такие хозяйственные знала, что самой Молоховец и во сне не снились!

Конюх свой был. По струнке ходил. Придет в дом, у притолоки станет, дело свое обскажет, и будьте здоровы. Никаких фиников-пряников – и без «каклет» доволен был. А когда бежала, он же первый, милый человек, лепешек на дорогу принес... А сад какой... Господи! Одних яблонь сортов до шестнадцати: розмарин, антоновка, цыганка, золотое семечко...

* * *

– Варвара Ильинишна!

Экономка очнулась и сердито из-под очков покосилась на дорожку.

– Чего, дуся?

Зашуршали кусты. Из большого дома прибежал, щелкая на ходу по веткам хлыстом, младший хозяйский сын, тонконогий веснушчатый мальчуган.

– Папа звонил только что. К ужину из Парижа к нам гости приедут. Восемь человек... Мама просит, чтобы вы что-нибудь придумали поинтереснее... А когда же вы мне маникюр сделаете? Вы же обещали!

Экономка встает, на лице вспыхивают багровые пятна.

Действительно, только ей и недоставало – слюнявому индюшонку маникюр делать... Ах ты, господи! Дров не напилили, птичница за жавелевой водой ушла, садовник пьян – в огороде сидит, с тыквой разговаривает, жена садовника пластом третий день лежит после очередной потасовки, конюх краденым одеколоном надушился, укатил за ветеринаром... Вот и воюй без войска. Птицы без воды, корова не доена, печень разыгралась, а тут восемь человек на голову свалились... Лодыри парижские!

Она судорожно выдавливает на лице приветливую улыбку и, запахивая на груди капот, треплет мальчугана по плечу.

– Сейчас, дуся... Сейчас, дуся, приду.

И про себя добавляет уже безо всякой улыбки: «Сказались бы вы все, гром вас побей с гостями вместе!»

Провансальские страницы

Фокс-воришка

Каждый раз, когда спускаешься к колодцу мимо радостно-изумрудных косматых лоз за водой, фокс Микки появляется из-за дома и идет за мной по пятам с таким видом, будто он получает за это жалованье.

Трудно понять собачью душу... Что за охота в жару плотать рыжую пыль, поднимающуюся из-под веревочных подошв человека. На тропинке ничего интересного: вялые муравьи и щербатые, надоедливые камни. Стоило ли выползать из-под тенистого дуба, под которым снятся такие сладкие собачьи сны...

Или он так влюблен в своего хозяина, что, заслышав звон ведра, повинуется зову сердца и тянется к моим выгоревшим штанам, как мотыльки к горящей свече? Едва ли. Ведь когда сидишь на краю холма, где со всех сторон обдувает жаркую спину прохлада, его, черта, ты не дозовешься. Сидит в кустах и облизывает, как самый простой собачий сын, коробочку из-под сыра... Какая уж там любовь?

Сегодня я наконец понял, в чем дело. Когда я поравнялся с толстой почтенной смоковницей и обернулся, белая собачья спина исчезла. Я индивидуалист и в чужие дела вмешиваться не люблю. Быть может, собаке захотелось почесаться в тени вырезных виноградных листьев – ведь это гораздо приятнее, чем задирать лапу смычком выше головы на прибитой голой тропинке, с которой блоха опять же на собачью спину не прыгнет...

Но возвращаясь с полным ведром, я остановился: белое пятно застыло в зеленом туннеле под лозой, потом продвинулось дальше. Опять застыло. Густые листья вздрогнули и зашипели. Свиданье? Но второго пятна – ни желтого, ни белого – рядом не было. Странно. Я беззвучно опустил ведро на землю и прокрался ближе. Боже мой! Мой эмигрантский фокс, мой честный интеллигентный пес нагло нарушал добрые провансальские нравы: переходил от лозы к лозе, выбирал самые спелые гроздья и ел чужой виноград...

– Микки! – крикнул я возмущенно. – Что ты делаешь, Микки?! Разве ты хочешь, чтобы я тебя отправил в колонию малолетних

преступников?..

Микки вздрогнул и исчез, будто в преисподнюю провалился. Через минуту он появился с другой стороны дорожки из зарослей сухих колючек. Посмотрел на дикую грушу – зевнул, потом на меня: «Ах, вот ты где»... и, прикинувшись невинным простачком, сбил с морды приставший к бороде сухой виноградный лист. Он нагло лгал всей своей позой, невинными детскими глазами, беспечно играющим обрубок хвоста. «В чем дело, хозяин? Я был в колючках по своим маленьким гигиеническим делам... Почему ты поставил ведро наземь? Тебя наверху давно ждут... Ведь нельзя ставить на огонь пустой чайник. Дай-ка, дай-ка веревку, я потяну, и тебе легче будет нести ведро в гору».

Но я вытаскиваю из зубов Микки веревку, опускаю на камень и со всей строгостью, которую мне удалось из себя выдавить, говорю:

– Какой срам, Микки! Ты когда-нибудь видел, чтобы я срывал у дороги чужой виноград или фиги? Или надевал сохнувший на заборе чужой купальный костюм?.. Как ты смел? Разве во время обеда я не отдаю тебе самые сочные ягоды? Ты не собака, ты свинья, и я до самого ужина не буду с тобой разговаривать...

Увы. Должно быть, строгие ноты моего голоса не были убедительны. Микки нехотя переворачивается на спину, нехотя подымает кверху лапы, – это ему заменяет белый флаг, – и скулит. Но ни тени раскаяния я в его голосе не слышу. За два года совместной жизни мы хорошо научились понимать друг друга, и мне совсем нетрудно перевести его жалобу с собачьего языка на русский.

«Отчего ты такой симпатичный и такой несправедливый? Я ведь один из дому в виноградник не бегаю. Только с тобой. Ты идешь за водой, а я пасусь. Почему сороки клюют виноград? И осы его едят? Почему вчерашняя гостья, от которой пахнет желтыми папиросами, отщипнула самую толстую виноградину, а ты видел и промолчал? И коза сегодня натянула веревку и слопала целую кисть вместе с листьями и букашками?.. У ферм я никогда не трогаю, прохожу мимо, даже стараюсь не смотреть... А здесь на холме виноград общий. Можно мне перевернуться и стать на лапы?»

Что поделаешь?.. Пусть уж переворачивается. Мы мирно подымаемся рядом к дому. Когда я отстаю, чтобы хорошенько обсудить отвратительный собачий поступок, Микки останавливается

на пригорке и снисходительно меня дожидается, иронически вскинув ухо. Он молчит, но его молчание я научился понимать:

«Иди, иди... Тоже строгий... Даже не шлепнул. Вот я полакомился, к самому мускату пробрался. И ничего ты со мной не поделаешь. Не то что виноград, и утенка слопаю, если он сюда на ничейный холм с фермы приковыляет... Потому что я дикий охотничий фокс, и мне скучно всегда тебя, комнатного человека, слушаться... Понял?»

Морская подушка

Море порой приносит нам прекрасные дары. То выбросит доску, из которой можно смастерить за домом для всего населения нашей дачки уютную скамейку; то прочный ящик из-под рома – вон он стоит у кровати, покорно исполняя обязанности ночного столика. На днях утром мы получили совсем необыкновенный подарок: к берегу пригнало большую квадратную подушку... Сначала мы даже не поняли, что это за штука. Вся пестрая, как букет из разноцветных маков, лоснясь всеми вздутыми водой стегаными квадратиками, она была похожа на детскую перинку для маленького моржонка. Или, если вам угодно, плавательный прибор для Гаргантюа... На пляже никого не было... Быть может, кто-нибудь из соседей забыл это сокровище на воде. Но все наши соседи люди нормальные. Кто и для чего притащит огромную пеструю подушку и бросит ее в море? С таким успехом можно учиться плавать и на письменном столе, однако, слава богу, никто еще этой симпатичной мебели на берег не приволакивал.

Мальчики – самое загадочное племя в мире – честно выдумали, что они давно уже видели подушку в волнах. Младший мальчик даже видел ее за мысом, далеко от берега в открытом море, – решил, что это наша толстая итальянская лавочница, поздоровался с ней, но она ему почему-то не ответила. Глаза у него возбужденно блестели, жесты были исполнены пафоса и подкупающе искренни. Когда несовершеннолетний человек так симпатично врет, невольно увлекаешься сам и веришь. Тем более что все мы, не сговариваясь, сразу по беспроволочному телеграфу обменялись одной фразой: «А ведь подушка-то теперь наша».

Втроем вытащили мы грузное сокровище на песок. Подушка была так тяжела, словно ее налили ртутью. Мы долго ее мучили: бросались на нее животом, били пятками, скручивали в бараний рог, пока она немножко не похудела и не стала тихонько шипеть. У подушки тоже, очевидно, были нервы.

Младший мальчик, захлебываясь от радости, вытер мокрыми трусиками ноги и лицо и стал думать вслух:

– Во-первых, случилось несчастье... Аэроплан накренился, сиденье выскользнуло из-под пилота и шлепнулось в море. Он теперь сидит на голой сквозной решетке. Совершенно ясно.

И он плюхнулся на подушку с такой силой, что у меня дрогнуло сердце.

– Совершенно неясно, – поправил я мальчика. – Когда говорят «во-первых», надо что-нибудь сказать и «во-вторых».

Но он сказал все, и смешно было требовать, чтобы вдохновенное слово изливалось себя по пунктам.

Старший мальчик расковырял угол подушки, вытащил оттуда клочок мокрой дряни, понюхал и вдумчиво определил:

– Черная шерсть. Подушка стоит не меньше сорока пяти франков.

Романтический уклон был ему совершенно чужд. Но прейскурант меня интересовал мало, и мои мысли завивались в варьяции, которые младший мальчик недосказал «во-вторых».

Свежий ветер. Моторная красного дерева лодка. На корме, хрупко облокотясь о стеганую пеструю подушку, сидит какая-нибудь мисс Кис, романтическая спаржа со светло-сиреневыми глазами... Пузатый штофик с джином, граненая рюмка столбиком. Девятая рюмка. Темно-фиолетовые глаза... Девятый вал... Толчок! Мисс Кис летит от двух бортов в середину в объятья коренастого механика, подушка – в море... До подушки ли ей и ему, да хранит их Господь на море и на суше...

Мы встаем. Как дотащить бесценный груз до нашего холма? Младший мальчик великодушно снимает со штанов ремень. Перетягивает подушку поперек талии, – фигура у нее все-таки не совсем модная, но что поделаешь. Продеваем сквозь нее весло и, восторженно задирая ноги, тащим. Дачники на пригорке останавливаются. Всматриваются. Кого это там внизу волокут: утопленницу или свежесобранного барана?.. И почему младший мальчик все время левой рукой подтягивает штаны?..

Пятый день сохнет наше сокровище, то на циновке, то на раскладном кресле. Переволакиваем его с места на место по солнцу. Кретон слинял, покрылся ржавыми пятнами и напоминает цвет лица подагрической дамы, которую вы невзначай застали врасплох до утренней реставрации. Ужаснее всего то, что днем подушка высыхает, а к вечеру преет и обливается потом: внутренний сок выступает

наружу и, должно быть, начал бродить. Потому что подушка издает странный запах разложившейся русалки.

Мальчики давно в ней разочаровались, проходят мимо, будто это не чудесная подушка, упавшая с аэроплана, а старый, сморщенный бурдюк. Да и по форме своей на что она пригодна: для кресла велика, для тюфяка мала... Седло для верблюда из нее вышло бы неплохое, но где взять верблюда? Пробовали мы бросать ее, импровизируя Олимпийские игры, друг другу на голову, – тяжело и неудобно.

Утешение только одно: мальчики с соседней дачи купили на каком-то казенном аукционе за три франка огромный пропеллер, привезли его на лодке в наш залив, приволокли, пыхтя, на веранду. И вот третий месяц лежит у них поперек веранды гигантский, несуразный предмет. Родители в отчаянье – пропеллер им нужен, как корове пишущая машинка... Мальчики давно к своей покупке остыли, но выбрасывать ее не позволяют.

А нам что ж... Пусть еще дня два наша подушка повоняет, – снесем вниз и бросим в море. Авось в соседнем заливе кому-нибудь она такое же удовольствие доставит.

Козья ферма

Кривоногий и сморщенный, похожий на обрубок пробкового дуба, он ничего не знает о том, что делается на свете. Как телеграфные столбы вдоль высохшего русла ручья, давно уже одинаковы для него годы, – ливень сменяет жару, луна прибывает и убывает, – какая цифра прибита в каждом году, не все ли равно. Днем сидит он на камне, укрытый от ветра в ложбинке между лесными холмами, и даже не смотрит на хозяйских коз. Черный молчаливый пес, остроухий и крепкий, сам знает свое дело. Если какая-нибудь резвая дура отобьется в сторону, завернет к порослям мимозы, пес зайдет сбоку и отгонит ее на место, но работник не тронется со своего камня.

Вверху стрекочет, оставляя за собой дорожку тонкого дыма, гидроплан, далеко в море прополз черной гусеницей пароход, ветер шуршит брошенной проезжим купцом газетой. Что старику гидроплан, плавучий далекий дом, газета? Он даже не курит, – а это ли не старческая утеха, – и все думает... Пожалуй, и не думает, а просто щурит глаза, быстро, как ящерица, шевелит языком и греется. И если невзначай близко к нему подлетит пчела, примет его сизые парусиновые штаны за куст вереска, – сейчас же и улетит прочь, – так крепко пропах старик чесноком и козьим молоком.

Перед закатом, плетясь позади стада, словно скрюченный ревматизмом гном, он возвращается на ферму. Козы сами знают дорогу: внизу за тропинкой куб, слеplенный из дикого камня и глины, и перед ним две темных метлы – кипарисы.

В загородке перед хлевом толпятся пестрые рогатые твари. Вымя расперто, стеклянные глаза изумленно повернуты к закату. Старик оживает: хватает цепкой рукой ближайшую поперек спины, коза гнется, шатается. Шлепок вбок, пинок под брюхо, и вот – тугое вымя над ведром. Тонкий звон струи зажурчал о дно... Боже мой, как старик ругается! «Стой, потаскушка!.. Паршивая жаба!.. Вонючий мешок!..» Не со зла, конечно, – брань просто аккомпанемент к работе. Покорная тварь, широко растопылив ноги, качается, старается устоять на месте... Уж он выдоит, капли не оставит, – не таковский.

Тихая и бескровная старушка-хозяйка в бессменном черном чехле только поглядывает искоса со своего табурета вылинявшими кроткими плазками: как бы сосков не оторвал, ведь вот характер какой у человека... Но молчит, с ним не поговоришь.

С соседней фермы приходит с бутылкой в сетке загостившаяся на юге русская художница, маленькая, худенькая – светлая душа с орловским платочком на голове. Всему удивляется, все ей ново и радостно: закат, козы, ленты перечного дерева, даже корявые пальцы старика и шершавый его голос. Сквозь жерди загородки к ней тянутся любопытные острые морды. Художница ласково здоровается с хозяйкой, с козами, со скрюченным работником. Но хозяйка и козы отвечают, а работник еще ожесточеннее пинает свежую, переполненную молоком рыжую козу: «Чума бы тебя взяла!» К козе ли это относится, к русской ли художнице – кто знает.

Но маленькая женщина с сеткой улыбается. Она все-таки победу над стариком одержала. И не малую. Он не дает пришлым людям молока... Если даже остается, – когда цинковые кадочки наполнены и готовы к отправке, – не дает, и конец. Не то что хозяйка, сам дьявол не заставит его, если он упрется... А вот художнице, с которой он даже и здороваться не хочет, оставляет каждый день литр.

Она покорно садится рядом с хозяйкой на эвкалиптовый пенёк и ждет. И вдруг видит, в первый раз видит: старик смачивает свои черные, ужасные пальцы в ведре с молоком, – чтобы легче доить было, – и принимается за рыжую козу. О господи! Только что он ожесточенно скреб этими пальцами за пазухой, правда, вытер их о штаны... спасибо. Должно быть, на остреньком милосердном лице так по-детски ясно было написано: «Да как же я теперь буду это молоко пить?» – что хозяйка положила свое красное вязанье на колени и добродушно успокоила:

– Ничего, сударыня, ничего. У нас все молоко пропускается через фильтр. Вон на заборе висит, видите...

Художница посмотрела, раскрыла было рот, закрыла и торопливо отвела глаза. На заборе вяло болтается на ветру грязный, выпачканный по краям навозом мешок... Года два об него, должно быть, ноги вытирали, пока он не стал называться «фильтром».

И вдруг ей стало так неудержимо весело, что она уткнула лисье личико в сетку, чтобы, не дай бог, не фыркнуть хозяйке прямо в нос...

И сквозь подавленную спазму смеха почувствовала, как у нее где-то под ложечкой повернулись утренние баклажаны в томатном соусе и медленно потянулись к горлу, как это бывает во время качки.

Уф... Прошло. Только этого не доставало... А минут через пять она сидела за сосновой рощицей, на краю рва, и поила из своей войлочной шляпы фильтрованным козьим молоком захлебывающегося от жадности бродягу-пса, на которого она наткнулась на перекрестке.

Должно быть, с той поры, как была создана первая коза, никто такой штуки не видал.

Отборные дыни

Кордебалетный подросток, русская коза-дереза Вава Журавлева, несмотря на свои пятнадцать лет, до того любила сладкое, что даже сахар из сахарницы, когда никого нет на веранде, выудит и сгрызет в натуральном виде. У нее осенние каникулы, три летние свободные недели перед поездкой со всем балетным табором не то в Голландию, не то в Гренландию... А уж три свободные недели где и провести, как не в Провансе у дяди, на крошечной ферме... И ногам отдых, и рукам веселая работа: сбор винограда, щенка понянчить можно, шишки в бору собирать.

Но сладкого в Провансе не так уж много. Виноград надоед, даже волосы им пропахли, терпкий винный дух над всей долиной повис. Варенье из ежевики... Бррр! Бумагу для мух им смазывать. Фиги приторны, светлые, темные ли, объешься, и вспомнить противно: будто мармелад из слабительной каши с песком. Лучше уж чистый сахар. И поздние персики какие-то бездарные, щеки толстые, а укусишь – резиновый мячик. Ни соку, ни сладости.

Дыня, конечно, рабский фрукт. Фрукт ли? Ну как же сказать, – не овощ ведь? Хотя провансальские дыни, правда, больше на овощ похожи. По французскому положению едят их перед обедом с солью и перцем. Наружность изумительная, аромат – ваниль с сигарой. Взрежешь, тыква тыквой, прямо зло берет. Приготовишься к полному удовольствию, прикусишь мякоть... и осторожно, чтобы тетка не заметила, в бумажную салфетку сплюнешь. Дыня!

На боярышнике краснели крепкие ягодки. Мимо Вавы проплыл на разбитом грузовике молодой краснощекий мясник... Берет вареником, глаза блестят, усы блестят, нос блестит. Подумаешь, тореадор какой... Нахал! Еще оборачивается. Но ведь и она тоже обернулась. Ерунда... С мясником она, слава богу, не флиртует. Обогнула свежий хоровод сосенок, поднялась на гору, – вот и гранаты. Какие тугие луковицы сидят в мелкой листве, за ними, словно крепость, старые провансальские службы и в глубине такой милушадом: фисташковые ставни, матово-розовые стены, веранда в тени темно-курчавых шелковиц... И на столе неизменная кошка.

Собаки? Но какая же провансальская собака укусит входящего в усадьбу человека... Не то что Ваву, почтальона и то не укусит. Полаяли для порядка и завиляли у маленьких незнакомых ног хвостом: «Нам скучно. Мы очень-очень вам рады...»

Навстречу Ваве поднялся дремавший у колодца в камышовом кресле грузный и крепкий старик и так хорошо улыбнулся, будто он четырнадцать лет назад Ваву на руках носил. Какой толстяк! Совсем как душа Хлеба в «Синей птице». Пожалуй, еще толще. Как только его камышовое кресло выдерживает.

Старик вежливо подтянул свои огромные светло-небесного цвета штаны и, лениво поглаживая толстые ватные усы, ждал. Вава быстро и толково объяснила. Она гостит у дяди, вон там. Тетя ей сказала, что на ферме, где гранатные деревья, можно достать настоящую дыню на десерт. Сладкую, потому что русские едят дыню на десерт. Так вот, пожалуйста, Вава просит выбрать самую-самую сладкую...

Толстяк, все добродушнее ухмыляясь, выслушал балерину, – с таким же видом выслушал бы он залетевшего в усадьбу болтливого попугая. Прикрикнул на пристающих к гостье с телячьими нежностями собак и повел ее в сарай.

В солнечной полумгле золотились груды желтого перца, отсвечивали слоновой костью гирлянды чеснока и вдоль стены, на широких лавках зеленели овальные дыни.

– Нет, нет, не эта. Эта для французов.

Он нагнулся к стоящей у ног корзине, поднял круглую янтарную дыню в продольных дольках с бородавками и сжал ее в мягких руках.

– Сладкая? – недоверчиво спросила Вава.

– Как мускат. А вы еще и эту возьмите. Дыня не утка, можно съесть и две.

Вава подумала, потрогала в бисерном кошельке свои монетки и выбрала сама третью дыню. Самую крупную.

– Сколько вам за все три?

– Ничего. Кланяйтесь, пожалуйста, вашей тетушке. Семена пусть сохранит – сорт первоклассный.

Бедная Вава чуть с дынями на землю не села.

– Как ничего?! Но ведь тетя говорила, что на ферме с гранатовыми деревьями...

– Совершенно верно. Но это мой сосед продает, по ту сторону дороги, чуть подальше. Так вы, барышня, не волнуйтесь. Неужели старый человек не может своей доброй соседке через ее милую племянницу послать несколько дынь. Надеюсь, что вы теперь убедитесь, что у нас в Провансе сладкие дыни растут...

Что ей было делать? Пробормотала что-то такое нелепое старику, даже собак не погладила, и – бегом домой. И глаза у нее были такие растерянные, будто у нее в сумке не дыни, а бомбы лежат.

Куриная слепота. Это она к здешнему богачу Дюбуа влетела, совершенно ясно... «Пожалуйста, самую сладкую, русские едят дыни на десерт...» И еще третью, самую крупную, величиной с арбуз, сама прихватила...

Что теперь тетя скажет? Вава свернула в лесок и, разогревшись от быстрой ходьбы и конфуза, присела на пень, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. Сердце стучало: «Ду-рын-да». Но Вавиным пальцам не до сердца, не до головы дело было. Пальцы торопливо достали из сумочки шпильку, вспороли в одной из дынь треугольник и поднесли ко рту ароматный, сочный ломтик.

Вава даже застонала от удовольствия. Да... Вот это так дыня... Если шербет положить на ананас, и то – никакого сравнения.

Комариные мощи

Иван Петрович проводил глазами сверкнувший в зеркале острый профиль жены, посмотрел на ее стрекозиные ноги и вздохнул.

Дверь в передней хлопнула. Ушла...

Налил в стакан приехавшему из Нарвы земляку пива и ласково взял его за рукав.

Ему давно не хватало терпеливого слушателя, старомодного честного провинциала, который бы его до конца понял и посочувствовал.

Русские парижане, черти, обтрепались, – ты перед ними душу до самой печени обнажишь, а они тебе посоветуют нафталином самого себя пересыпать и в ломбард на хранение сдать...

Подметки последние донашивают, а туда же, перед модой до земли шапки снимают.

Самогипноз бараний...

* * *

– Вот вы мою Наташу по Нарве еще помните... Цветок полевой, кровь с кефиром. Прохожие себе по улицам шеи сворачивали, до того у нее линии натуральные были.

Плечики, щечки и тому подобное. Виолончель.

Хоть садись да пиши с нее плакат для голландского какао.

От первозданной Евы до пушкинской, скажем, Ольги традиция эта крепко держалась: мужчина – Онегин ли, Демон, Печорин – весь в мускулах шел, потому что мужчина повелевать должен. А женщина, благодарение Создателю, – плавный лебедь, воздушный пирог, персик наливной, – не то чтобы кость у нее из всех углов выпирала.

Рубенс, скажем, или наш Кустодиев, либо древнегреческий какой-нибудь нормальный скульптор – все это дело одинаково понимали. Венера так Венера, баба так баба, нечего из нее циркуль вытягивать, шербет на уксус перегонять. Только для одной Дианы исключение и допускалось, потому что ей для охоты одни сухожилия требовались.

* * *

– Или, допустим, как в русской песне: «Круглолица-белолица», «яблочко наливное», «разлапушка». Слова-то какие круглые были.

Народный вкус здоровый: баба жнет, она же и рожает. Кощеев бессмертных в хозяйстве не требовалось.

И плясали тогда не хуже теперешних, вес не мешал.

Не то что медведицей, легче одуванчика иная выходку сделает.

«Перед мальчиками хожу пальчиками, перед старыми людьми хожу белыми грудьми...» Действительный статский советник и тот не выдержит.

* * *

– Или, к примеру, возьмем здоровый старый турецкий вкус.

В старых гаремах я не бывал, однако по открыткам и по Пьеру Лоти понятие себе составил. Усладу туда со всего света собирали. Туркам вина нельзя, поэтому они на пластику и набрасывались. Купола круглые, лунный серп круглый, ну и женщины соответственно тому. Зря им ходить не позволялось, чтобы плавность не теряли. Рахат-лукум внутрь, розовое масло снаружи. Красота...

Разлягутся вокруг фонтана – волна к волне льнет, волной погоняет. Дежурный евнух только нашатырный спирт от волнения нюхает... Аллах тебя задави!

Опять и царь Соломон, человек вкуса отборного, в «Песне Песней» довольно явственно указывает: «Округления бедер твоих, как ожерелье, сделанное руками художника». Стало быть, против пластики и он не ополчался, а уж на что мудрый был...

А теперь... Видали, что моя Наташа, на других плядя, над собой сделала? Начала гурией, кончила фурией...

«Для чего, – спрашиваю я ее, – ты себя так обточила? Смотреть даже неуютно. Трагические глаза в спинной хребет вставила, – думаешь, мир удивишь...»

«А ты, – говорит, – пещерный человек, и не смотри. Поезжай в Лапландию, женись на тюленихе...»

Ах ты господи! Да есть все-таки приятная середина между комариными мощами и тюленихой. Крайность-то зачем?

И отвечать не хочет. Посмотрит мимо носа, будто ты и не муж, а плевательница облупленная – и точка.

Подкатился я как-то к ней в добрую минуту: ну скажи, Ната, ниточка ты моя, для кого это ты себя в гвоздь заостряешь? Не для меня же, надеюсь. Вкусы мои тебе с детства известны. А ежели, не дай бог, для других, – то где же такие козлы противоестественные, чтобы на твое плоскогорье любоваться стали?

Сузила она только глаза, как пантера перед прыжком... Два часа я потом у нее же, дурак, перед закрытой дверью прощенья просил. На Шаляпина сто франков дал – простила.

* * *

– А сколько терпит?

Святой Себастьян не страдал столько. Аппетит у нее старинный, нарвский.

И что же... Утром корочку поджаренную пососет, в обед два лимона выжмет, вечером простоквашей с болгарскими бациллами рот прополощет.

Ночью невзначай проснешься, выключателем щелкнешь: лежит она рядом, в потолок смотрит, губы дрожат, глаза сухие, голодные... Как у вурдалака.

Даже придвинешься к краю – как бы зубами не впилась.

А в чем дело? Хлеб толстит, картофель распирает, мясо разносит, молоко развозит...

Расписание у них на каждый продукт есть.

Да еще раз в неделю полную голодовку объявляет, для легкости походки. Ну, само собой, чуть голодный день – меня же и грызет с утра до ночи от раздражения.

А потом – то солнечное сплетение у нее под ложечку подкатывается, то симпатичный нерв перекрутится, то несварение желудка...

Будет он, дурак, варить, ежели ему, кроме лимонного сока да массажа, никакого удовольствия не доставляют. Опять же малокровие.

Красные шарики с голодухи белые жрут, одна пресная сыворотка остается.

Головокружения пошли. Словом – полный прейскуронт. Паркет, говорит, под ней качается. Вполне логично: ежели женщина себя третий год в Тутанхоамона превращает, не то что паркет, мостовая под тобой закачается.

* * *

– Врачу говорю, который жену пользуется:

«Хоть бы вы, ангел мой, повлияли. Тает ведь женщина без всякой надобности, скоро один фитиль останется».

Пожал плечами, даром что приятель.

Станет он тебе влиять, ежели с этих несварений да головокружений ему в сберегательную кассу капает...

У самого небось жена из немок, кругленькая, смотреть даже досадно. Рыбьим жиром ее, поди, откармливает. Жулик паршивый!

* * *

– Дочка даже, тринадцатилетняя килька, туда же. Линию себе выравнивает... Всей провизии в ней на франк, какая там еще линия!

«Ты, – говорю, – чучело, растешь – тебе питаться во как надо. Я в твоём возрасте даже сырые вареники на кухне крал, до того жадный был».

Фыркнет, скажет что-нибудь французско-лицейское, чего ни в одном словаре нет, и отвернется.

«На кого, комариные мощи, фыркаешь? На отца?»

Мать за нее: не вмешивайтесь, пожалуйста. Я свою дочь не в кормилицы готовлю.

Кулебякой обломовской меня обзовет, маникюрную коробку возьмет и к окну королевой сядет. Нос да ключица – весь силуэт.

* * *

– На что уж тетка, почтенная, сырая женщина, против нас живет, паутинными дамскими принадлежностями в разнос торгует, – и та тоже за ними тянется.

Если уж наследственность располагающая и женщина в закатный возраст входит, само собой бока выпирают. В сейф их не сдашь. Природа.

А она – франков лишних на массажистку нет – сама себя рубцами резиновыми тиранит, в эластичные пояса до самого подбородка засупонилась... Мона-Ванна из Аккермана.

А вместо приличной пищи сырую морковную шелуху ест: хлебчики себе какие-то специальные в подагрической лавке покупает: без муки, без дрожжей, вроде облаток на лунном масле.

Только и слышишь: сантиметра три, слава богу, за неделю спустила... Это трудовые-то сантиметры, которые в поте лица...

Складки-то у нее телесные без начинки вокруг шеи и обвисли: подбородок пустой, как у малороссийского вола, болтается: хоть не смотри... Для кого старается? Инвалид столетний и тот отвернется.

* * *

– И все на весы.

Чуть всей компанией в метро ввалимся, тотчас же в автоматическую дырку тетка монетки бросит и хлоп на весы инвентарь свой проверять. За ней жена, за женой дочка.

На одно колебание стрелка меньше потянет, так от радости и завьются... Живого тела сбавили. Стоило ради этого границу переходить.

Через год, поди, у эписьерки на весах взвешиваться будут: кило в полтора останется на каждую – не больше.

* * *

– А главный вопрос – я-то из-за чего страдаю? Кручусь, кручусь, как козел на ярмарке.

Кулебяку-то я свою насущную заслужил?

Придешь домой, носом потянешь: прежде хоть обедом пахло, а теперь одной голой пудрой...

Ради их эгоизма и я, извольте видеть, в факира превращаться должен. Вредно, мол, мне. В моем, мол, возрасте одной магнизией питаться нужно. Устрица я, что ли? Да и какой мой возраст? В сорок восемь лет человек только в аппетит входит, вкус настоящий получает. Древние римляне во как в моем возрасте ели...

По ночам даже пельмени снятся, гуси с кашей мимо носа летают. Только одного за лапку поймашь, ан тут и проснешься... Сунешься босой к буфету, а там только граммофонные пластинки да банка с магнизией, чтоб она сдохла!..

Конечно, я их голодающую женскую психологию понимаю: начни я в тесной квартире колбасу есть, – от одного запаха проснутся, душа у них захлебнется.

Не тиран я, чтобы близких людей мучить.

Ну, конечно, днем между делом в русской лавочке пирожков холодных захватишь и на мокрой скамейке съешь, как незаконнорожденный. Горько.

Стал я в рестораны ходить. Порции воробьиные, цены страусовые. Вместо домашнего уюта челюсти посторонние вокруг тебя жуют, торопятся, косточки прошлогодние обсасывают... Чокнуться даже не с кем, до того неприятные профили.

И на языке потом до самого вечера налет этакий жирный, будто ты лапландскую бабу вдоль спины лизал.

* * *

– Да-с. Мода. Кто и когда ее распустил, – спроси вдову неизвестного солдата... Я понимаю: ну, сезон, ну, два, но зачем же до бесконечности? На то она и мода, чтобы ее контрмодой перешибить... На длинные платья перешли, почему бы на полновесность не перекинуться?

И слышать не хотят. Никогда, мол, назад к першеронам возврата не будет. У женщин, говорят, только теперь крылья и выросли... Грации, говорят, своей быstroходной мы теперь ни на какой рубенсовский балык не променяем...

А я так полагаю: ежели бы завтра шутники какие пропечатали, что модно щипцы для завивки в ноздре носить, – все дамы так оптом носы бы и продырявили. Уж мои-то первые, будьте покойны-с.

* * *

– И опять: почему портные, дураки, ее не отменяют? Сговорились бы с фабрикантами – модный манифест опубликовали, – и готово.

Ведь на полную даму и материи не в пример больше идет, и за шитье прикинуть можно: обтянуть кресло или диван – цена разная. Да и фермерам и лавочникам, посудите, какая прибыль, ежели полнаселения, вся женская часть после голодухи на натуральные продукты набросится!..

Я уж и то прикидывал: не через женский ли этот недоед и весь мировой кризис колом встал? Как вы полагаете?

* * *

– Вот и подумываю... А не перебраться ли мне со своим домашним табором на Нарву? Парижскую колбасную открою либо эстонский рюстик в Париж экспортировать начну...

Авось хоть там, в глуши, по-человечески живут, по-старому распустия пояса. Дамы так дамы, на сантиметры себя не разменивают.

Ухмыляетесь? И до Нарвы, стало быть, докатилось? Нда-с...

Поди, на Северном полюсе бабы-самоедки теперь сквозь обручальное кольцо туда и обратно пролезают. Мода. Ну, ладно...

Что же пива не пьете? Будьте здоровы! Как говорится – мертвому ямка, а живому мамка. Разбередел я себя только, лучше и не ковырять.

Буйабес

Родители поехали вперед. А дядя Петя отважно взялся везти детскую команду: Гришу, Савву, Надю и Катеньку (восемью, девяти, одиннадцати и двенадцати лет).

Из Парижа до Тулона добрались благополучно. Попутчик по купе третьего класса, толстый негр с седой паклей на голове, так разоспался, что все норовил во сне положить свою ногу Савве на плечо, но Савва не сдался, – пять раз сбрасывал негритянскую ногу и, наконец, победил... Негр спал с широко разинутым ртом; Гриша хотел было заткнуть ему рот алюминиевым яйцом для заварки чая, однако дядя Петя не позволил и заявил, что это «некультурно».

В Тулоне дядя Петя оплошал. Багаж – уйму пакетов и пакетиков с дачной рухлядью – по русскому обычаю везли в вагоне, – и вот не догадался дядя, переправляясь в Тулоне с большого вокзала на узкоколейный, сесть с детьми в трамвай, а багаж на переднюю площадку впихнуть.

Вместо того взял извозчика. Лошади – два прилизанных одра в соломенных шляпах, коляска – загляденье: над головами белый балдахин с висюльками, сиденья вязаными салфеточками покрыты... Сесть даже боязно, как бы такой чистоты пыльными штанами не испачкать.

Зато и содрал извозчик: пятнадцать франков за десятиминутную черепашью рысь! Дядя Петя раньше не сторговался в суматохе и очень был огорчен. Не так ценой, где уж наше не пропадало, сколько свинством. Город такой симпатичный, на Севастополь даже чуть-чуть похож, а извозчик такой неблагодарный попался.

Не выдержал дядя и сказал:

– В Париже, сударь, шофер за такой конец втрое дешевле берет, а у вас в Тулоне простому извозчику столько платить приходится... Надо же и границу знать.

А извозчик, черноусый морж, обернулся, дерзко дяде подмигнул и ответил:

– В Париже? Хо! Зато у нас есть **буйабес**!

Слово приятное, что и говорить... Но что оно значит, даже дядя Петя не знал, даром что когда-то ветеринарный институт окончил и имена всех жуков на свете знал.

Надюша решила, что буйабес – это, вероятно, тулонская наклонная башня... Почему бы и Тулону не иметь такой башни для туристов? За вход по три франка, а упадет – будут развалины осматривать. Старшая, Катенька, самая умная, высказала догадку, что буйабес, должно быть, тулонское матросское ругательство; кучер был нахал – это ясно, а в приморских городах кучера ругаются по-матросски.

Гриша и Савва даже поссорились. Гриша уверял всех, что так называется по-провансальски бой быков, – он сам видел на афише, когда извозчик проезжал мимо, – два быка из лошади внутренности выпускают, а сбоку стоит «быкадор» со шпагой, и на груди у него надпись «Буйабес».

Савва клялся, что никакой афиши не было, и в доказательство щелкнул Гришу «Кодаком» по голове, дядя Петя, конечно, рассердился и заявил, что это «некультурно»...

Словом, только в провансальском рыбацьем поселке, когда приехали на место, – все разъяснилось. У синего залива старик рыбак варил на опушке прибрежной рощицы знаменитую провансальскую похлебку из красной рыбы и прочих морских жителей, заправленную... чем только не заправленную! Дачники похваливали – и называлась эта похлебка «буйабес»...

Такое кухмистерское открытие сперва разочаровало детей. Французская уха, эка невидаль, нашел чем извозчик хвастать! Если бы еще мороженое какое-либо особенное из кактусов или из китовых сливок – это действительно достопримечательность не хуже пирамиды, а суп из рыбы... кушайте сами.

Однако почему же все едят не наедятся? Американцы приезжали на зеленом автомобиле, заказали к воскресенью восемь порций, знакомый инженер говорил, что это не блюдо, а «лунная соната». Может быть, рыбак в этот суп жемчуг кладет для вкуса? Ну нет, разве тогда продашь порцию за четыре франка?

Надо было попробовать... Может быть, действительно не стоит тогда есть ни китайских орешков, ни леденцов-сосуллек, ни фисташкового мороженого, – только один буйабес, чтобы потом было о чем в Париже вспоминать... Это тебе не Па-де-Кале с бульоном из прошлогодних костей!

Но отец сказал: «Ни в каком случае». Во-первых, перец вредно влияет на детский организм, хотя Гриша и божился, что у него организм «мужественный» и что он в доказательство готов проглотить целую чайную ложечку перца даже без облатки. Во-вторых, сказал отец, в буйабес кладут каких-то морских тараканов, ежей и головастика... Дети пошептались и решили, что головастики туда-сюда, из любопытства отчего бы не съесть. Но морской еж... Проглотить его дело не легкое, а что с ним потом делать?

* * *

Внук рыбака, маленький, загорелый, словно его в шоколаде выкупали, Пьер, открыл Наде секрет: никаких головастика, никаких морских ежей... Надя Пьеру очень нравилась, – она вышила его дедушке закладку для Библии с надписью на русском языке: «Рыбак рыбака видит издалека», она остригла по дружбе Пьеру волосы, правда, грядками, «вроде виноградника», как говорил дедушка, – но все-таки остригла... Уши остались целы, а ведь это самое главное.

Пьер открыл Наде секрет, как готовить буйабес, только взял с нее слово, что когда она вырастет и вздумает стряпать это кушанье для американцев-туристов, то чтоб она не делала этого на их берегу, а то дедушка не выдержит конкуренции и прогорит.

Надя поклялась, и Пьер, сидя верхом на старой опрокинутой лодке, все ей рассказал, как умел.

«В буйабесе главное – красная рыба... Колочая морда, выпученные глаза, красно-серая чешуя, красные плавники и хвостик. Для навара, чтобы крепче морем пахло, подбавь маленьких крабов, муйей, белых ракушек, креветок, маленьких осьминогов... Дедушка стар, плохо видит, он иногда и морскую звезду в котел бухнет, а раз мне целлулоидного дельфина знакомая девочка подарила, так он и дельфина сварил. Приправа – лавровый лист, шафран, чеснок, перец,

лук, соль... Ты девочка, что ж тебе объяснять... Всего восемнадцать специй. Вышей дедушке еще одну закладку, он тебе сам все расскажет. А шафран продают в аптеке, в пакетиках – порошком. На каждого американца – по одному пакету. Полчаса кипит, полчаса через край бежит, полчаса дедушка трубку прочищает. Поняла?»

* * *

Надюша поняла. Позвала сестру и братьев, шептались, шептались и дошептались. Родители все говорят – «будьте самостоятельны». Хорошо! Прекрасно! Вот и приготовят буйабес сами и принесут родителям попробовать. Пусть тогда не выдумывают про головастиков и морских ежей и свинок... и не бранят знаменитого блюда, не попробовавши.

Ковшик красной рыбы и всякую морскую мелочь дал сосед-рыбак, – дети ему не раз помогали сети в лодку укладывать и рыбу разбирать. Среди красной попалась и «тигровая» рыбка – зеленая с оранжевой ленточкой вдоль боков... Чем зеленая хуже красной? Сойдет.

Мальчики вырыли под берегом ямку, выложили ее внутри и оградили вокруг от ветра камнями, а поперек вместо плиты приладили два куска ржавого обруча от старой бочки. Очаг всегда строят мальчики, и пока он не был готов, девочки не имели права подходить ближе двадцати шагов, – такое условие поставил Гриша.

В чем варить? Савва принес было найденную им в водорослях жестянку из-под керосина, но девочки рассердились и посоветовали Савве сделать себе из этой жестянки цилиндр и носить по воскресеньям. К счастью, у сарая для лодок стояло старое ведро, и так как на нем не было написано, кому оно принадлежало, то дети решили, что они «нашли» это ведро, а найденное старое ведро, как известно, приятнее всякой кастрюли.

Катя принесла из аптеки пять пакетиков с шафраном: по полпакетика на детскую порцию и по пакету на родителей и дядю Петю. Чеснок, соль и перец выменяли у соседа-рыбака на портрет Лермонтова из хрестоматии, который рыбак немедленно приклеил над койкой между фотографиями своих ближайших родственников.

Чистили рыбу все вместе, – чешуя, впрочем, только вставала под ножом ежиком и шипела, но почти вся оставалась на своем месте. У каждого была своя манера: Гриша срезал у рыб только хвосты. Савва только головы, Надюша – и головы и хвосты, а Катя отдала строгое распоряжение насчет рыбьих внутренностей и сама ушла за пресной водой...

Дети обиделись:

«Принцесса нидерландская! Мы должны кишки чистить, а она на каблучках вертится... Ни за что!»

Так рыба с кишками в ведро и полетела. А у ракушек и кишок, слава богу, нет, сполоснули и в воду...

Пламя лизало ведро, вода забулькала и забурлила по краям буграми. Снимали пену и сторожили ведро все по очереди, и, понятно, каждый по очереди подсыпал то перца, то соли, а Гриша, когда остался один, даже горсть китайских орешков подбросил, – пусть и они свой навар дадут...

Каждую минуту пробовали: на «лунную сонату» все еще не было похоже, но не варить же целые сутки. Это, наконец, скучно! Сняли ведро с огня, продели сквозь ручку корягу и понесли вчетвером свой дымящийся буйабес – угощать родителей и дядю Петю.

* * *

Мама оказалась хитрее, чем можно было ожидать.

– Сами сварили? Настоящий буйабес? Вот и чудесно... Я сегодня, кстати, из-за головной боли и обеда не готовила... Вы ведь еще не ели, а?

– Нет, мы только пробовали...

Дети переглянулись: мать налила каждому по полной тарелке, налила и себе. Попробовала, закашлялась и похвалила:

– Очень, очень вкусно! Что же вы не едите?

Пришлось есть... Савва потом уверял, что у него в животе точно пороховой склад взорвался... Гриша чуть ракушкой не подавился, а Надя только тем от буйабеса и спаслась, что усердно принялась Гришу по спине колотить – это ведь первое средство, когда кто-нибудь поперхнется. А дядя Петя пришел, попробовал и сказал:

— Амброзия! По настоящему рецепту в буйабес для навара еще парочку резиновых каблуков кладут... В следующий раз, когда будете варить, возьмите у меня в ночном столике.

И трудно было понять, серьезно он это говорил или только так... дразнился.

Уютное семейство

В житейской лотерейной серии «маленьких чудес» Пронину выпал счастливый номер. Приятель, взявший у него займы лет десять тому назад в Берлине 70 долларов, – тогда еще у Пронина кое-какие подкожные деньги водились, – прислал ему свой долг.

К деньгам этим Пронин так и отнесся, точно нашел их на улице. Не только не положил их на книжку, даже из полезных вещей ничего себе не купил, деньги легкие, надо было их легко и спустить. И мудро решил пожить месяц барин не барином, а на полной воле. Пусть, черти, в пансионе за ним поухаживают, – будет сидеть на веранде, на осенних бабочек смотреть. Одна нога на камышовом кресле, другая... Впрочем, он так и не мог себе представить, какое роскошное положение будет занимать вторая нога.

Свое маленькое малярное дело оставил в Париже на компаньона и уехал в Сен-Клэр. На обыкновенной географической карте даже и точки такой не разыщешь, – кто-то из знакомых назвал.

Оказалось, что такое место (на прошлой неделе Пронин и имени его не слышал) – не выдумка. Десяток вилл у Средиземного моря, одна другой домовитее и милее: словно в каждой давно-давно еще в детских снах жил. Группа пиний на бугре. Захолустный заливчик, окаймленный дюнами, – так к ним и потянуло, к простым песчаным буграм... И местные людишки, тихие провинциальные французы, копошащиеся около своих пансионных дел.

За домишками крутой стеной пустынные холмы. Занавес... Посмотришь из окна и спокоен: может быть, никакого прошлого и не было. Дьявол выдумал, ветер унес.

Первые дни благодные, небывало спокойная жизнь до того укачала гостя, что он даже растерялся. Можно встать утром и напиться кофе внизу. Можно у себя поваляться: подадут в номер. Можно лечь в дюнах и, превратившись в грудного младенца, сосать былинку... Или уйти в горы и на каждом повороте, через каждые десять шагов безмолвно ахать перед всей этой красотой, которая и без него, приезжего человека, вчера здесь сияла. А уедет Пронин в Париж,

к своим малярным заказам, – горы, небо и пинии даже и не поморщатся. Одним муравьем меньше.

Гость отвык от природы, до природы ли эмигранту? А тут она вдруг навалилась на него во всей своей осенней чистоте и ясности. Безлюдье, – чайка сядет в двух шагах на волну, будто никакого Пронина и на свете нет. И выходит совершенно очевидно, что чайка эта со дня рождения ведет самую настоящую правильную жизнь, а приезжий гость в дураках оказался: учился, воевал, трепался из страны в страну, а теперь чужие комнаты обоями оклеивает.

Городской человек, если очутится лицом к голой природе, два дня поохает, потом задумываться начнет. Все, что дремало в городе под спудом, все главное, что ради «дел» ушло в душевный подвал, – выплывает и требует хоть какого-нибудь куцега ответа. А Пронин никаких ответов не знал. Не он сеял – жать ему... Что поделаешь.

Ночью, распахнувши окно на море и глядя на полный месяц, блаженно сиявший над чужим заливом, приезжий понял, чего ему недостает. Вот сейчас, сию минуту. Русской беседы. Не эмигрантской, от тупика в тупик, от беды к беде, а как в пространство, в неизвестном направлении, как на русских дачах когда-то разговаривали.

Как и у многих за последние годы, все больше крепла у него острая иллюзия, будто прежде, до обвала, даже самый захудалый Новгород-Волынский (из которого он когда-то очертя голову сбежал в Петербург) был преисполнен необыкновенно уютными людьми.

Кипящий самовар и вареники с вишнями перемешивались в памяти с обрывками чудесных дачных разговоров, с теплым сиянием добродушных глаз... И семени не осталось.

«Ах, если бы, – думал он с враждебным недоумением, – хоть кого-нибудь чудом встретить в том прежнем облике...»

Прикрыв тихо ставни, сел на кресло, сжал крепко пальцы, – и показалось ему, что в этот лунный час несчастнее его во всем мире человека не было.

* * *

На следующее утро бог ему это чудо показал. На веранде сидел в допотопном чесучовом пиджаке и панаме плотный человек: борода

табачным венчиком, благодушные ленивые глаза. Пил чай из давно невиданного подстаканника – с собой привез, где же в Сен-Клэре такую штуку достанешь. Рядом с ним вальяжная дама намазывала масло на хлеб – на каждой фотографической русской группе такие дамы в старину на первом плане полтора места занимали. Жесты медлительные, будто на виолончели играет, локти сахарные, вокруг головы толстая коса выборгским кренделем уложена... Дочка, курносенький худыш, крошила в чай бисквит, болтала ложечкой, языком и ногами, да еще умудрялась непрерывно встряхивать челкой, над которой огромной бабочкой торчал гранатовый бант.

– Французский пансион! – недовольно фыркнула дама, словно свою прислугу распекала. – Порядочного кофе подать не могут... Бурда. Надо было в такую дыру забираться. Хоть бы в Париже посидели подольше. Черт с ними, с дождями, на то и зонтик есть...

– Да ведь, Клавдия...

Господин с бородкой вяло развел руками, как он, должно быть, разводил уже сорок тысяч раз.

– Ты же знаешь, дружок, почему мы из Парижа покатались. Еще ведь месяц отпуска, а мы того: на одну овсянку осталось. Здесь вполне сносно перебиться можно... Кофе плохой – пей шоколад. На это хватит.

– Чтоб меня воздушным шаром разнесло? Благодарю покорно. Еще рыбьего бы жиру предложили...

– Ну, чай пей. Надо же как-нибудь перебиться.

– Морская трава у них, а не чай. Не желаю я перебиваться. Не для этого во Францию приехали...

Господин поморщился. Муху из стакана выкинешь, а с женой – что делать...

– Об этом в Париже, матушка, думать надо было. Поменьше бы тряпок накупала...

– Ах, вы по-пре-ка-е-те!

И так чудесно пропела этот глагол, с такой неподражаемо переливающейся в презрение обидой, что на Пронина так Новгород-Волынским и пахнуло.

– При вашем положении чумичкой я, что ли, должна в Ковно возвращаться?

– Зачем же, мать моя, чумичкой. Сундук твой, слава тебе господи, по швам трещит. Чего тебе здесь не хватает? Море, тишина. Виноград дешевый. Ты ж природу любишь...

– Природа... На хлеб я ее буду намазывать, вашу природу. Не пятнадцать мне лет – на голую природу любоваться.

Пронин, прикрывшись газетой, жадно слушал. Господи, какие давно забытые интонации... Кто такие? Что за ковенские ископаемые?

Дама все не могла успокоиться. Съела три бутерброда и опять:

– Общества никакого. Какие-то старосветские французские помещики, – она бесцеремонно кивнула в сторону старенькой четы, тихо сидевшей в стороне за столиком. – Сезон кончен. Прямо курам на смех...

Пронин усмехнулся. Сколько лет он про этих кур не слышал.

– Брось! Дай хоть чай допить. Что за манера с утра пилить человека... Слава богу, что сезон кончен. В сезон у них цены кусаются, душечка. Проживем месяц, и дело с концом. А так у нас не очень-то разбираются, что Сен-Клэр, что Сан-Рафаэль – один бес. Ну, наври что-нибудь. Ведь вон тот в углу, в синем галстухе, – он показал глазами на Пронина, – человек солидный, живет здесь и доволен...

Но барыня даже и «человека в синем галстухе» не оставила в покое.

– Комиссионер какой-нибудь голландский. Может, он лучше Сен-Клэра и курорта не видел. Конечно – будешь доволен.

Пронин улыбнулся во весь рот, привстал и вежливо объяснил:

– Простите, пожалуйста. Я не комиссионер и не голландец, а, как изволите видеть, девяносто шестой пробы русский. И если ничего не имеете против, позвольте представиться – Иван Ильич Пронин. Приехал сюда из Парижа отдохнуть и, как ваш супруг справедливо заметил, – действительно, вполне доволен. Курортов перевидал немало, но лучше места для отдыха и не выдумаешь.

Дама спекла рака, даже ушки, даже великолепная ковенская шея покраснела, хотя надо было просто весело рассмеяться. Муж неуклюже раскланялся и пробормотал, что ему «очень приятно». Но дочка выручила:

– Русский, русский! Вот и чудесно. Я с вами гулять буду. А то они все ссорятся, мало они нассорились дома...

Дама так брандмайором и вскинулась:

– На-та-ша!!! Сейчас ступай в свою комнату... Два дня без третьего блюда. Сколько раз я тебе говорила, когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться. Марш!

И после повелительных слов по адресу дрян-девчонки сразу же, обернувшись к Пронину, растеклась малиновым сиропом:

– Бога ради, простите. Совсем, как в водевиле, такое кви-про-кво вышло. Очень, очень рада. Сахновская. Виктор Иванович! Что же ты, друг мой, язык проглотил. В самом деле очень приятно в такой дыре с соотечественником встретиться.

Дочка стояла у входа на лестницу и, несмотря на предстоящие ей два дня без третьего блюда, улыбаясь, во все глаза смотрела на русского дядю.

– Что же ты торчишь там? Десять раз повторять надо? Ступай!

– А может быть, вы ее простите ради неожиданного нашего знакомства? – мягко вступился за девочку Пронин. – Ведь я был невольной причиной ее наказания... Пожалуйста. Мы больше не будем.

Но дама поджала пухлые губы, кисло улыбнулась и насупилась.

– Нет. Лучше и не просите. Не в моих принципах отменять наказания. Садитесь, пожалуйста.

А муж, взглядевшись в Пронина, откинулся к спинке стула и хлопнул себя по коленке:

– Сказала тоже... Да разве голландцы такие бывают?.. С биографией нашей вы по нашему разговору немного знакомы. А теперь надо и с вами познакомиться. Коньяк пьете? И расчудесно. Стало быть, и ваша биография нам теперь отчасти известна. Вот мы ее сейчас и спрыснем... Гарсон!

И ковенский гражданин, весьма довольный своей остротой, до того оглушительно расхохотался, что французские старички испуганно обернулись и еще тише между собой разговаривать стали.

* * *

На следующий день, во время завтрака, Пронин получил еще большее удовольствие. За два месяца в вагонах да номерах супруги

друг другу достаточно надоели... А тут свежий слушатель нашелся, да еще русский. В глухом Сен-Клэре – прямо дар судьбы.

– Что же это вы, милостивый государь, уединяетесь? – крикнул, потирая руки, Сахновский. – Валите к нашему шалашу. Вместе почавкаем.

– Фи, Виктор, какие у тебя выражения! – поморщилась барыня.

– Ничего, душечка. Не по-испански же разговариваем... Водчонки? Флакон собственного изделия в чемодане завалялся. Слеза! Эй, гарсон, еще одну рюмку! Ишь как поворачивается. Гражданин вселенной. Одолжение мне, подлец, делает. Раз ты лакей, черт тебя задави, пол под тобой гореть должен! Разве так у нас на Литве служат... Собственный у меня служащий при конторе есть, вроде казачка. Чаю! Даже и не скажешь, палец только подымешь. Он тебе, ракалия, в момент сразу все и прет: чай, пончики, сливочки... Да какие, батенька, сливочки. Президент здешний таких не пьет.

– Ну, мы тут от казачков поотвыкали. Каждый сам себе и казачок, и нянька, и мамка, – добродушно заметил Пронин.

– Ужасно! – Ковенская дама трагическим жестом поправила брошку с довоенным портретом мужа. – Я бы и трех дней не выдержала.

– А мы тут тринадцать лет выдерживаем. Экая беда! – сухо ответил Пронин. – И если кто-нибудь из эмигрантов еще казачков держит, это, знаете ли, седьмое чудо света.

– Мы не эмигранты, – гордо пояснила дама.

Пронин осекся. Вот так финик! Не из полпредских ли они ковенских кругов? Серп и молот на буржуазной подкладке?.. Нет, аллюры не те. И у девочки крестик гранатовый на шее, – это у них не в стиле.

– А кто же вы, простите за естественное любопытство?

– Литовские граждане, – с достоинством ответила новая знакомая. – Муж еще в 23-м году подданство принял. У него положение – это необходимо.

Дама так вкусно произнесла «положение», будто бутылку со старой малагой откупорила.

– У меня положение, – солидно подтвердил муж.

И вдруг так весь благодушно и засиял, точно пятки ему гусиным пером пощекотали.

— А это вы насчет седьмого чуда правильно заметили. Действительно, семейство наше за деньги показывать можно... Войны не видали. В Европе по военным заказам с женой мотался, потом так и застряли. Большевизия мимо нас прошла, бог миловал, — до Ковно волна не докатилась. Единственный, сударь, русский город, который не захлестнуло. Здорово?

— Бывший русский, — поправила его жена.

— Ладно, матушка. Без тебя известно... В эмиграции тоже не мыкались, потому что еще с двадцатого года я на свою специальную полку попал.

Загибая похожие на морковку пальцы, он, вспоминая все, что его семью миновало, точно роды оружия перечислял: в артиллерии не служил, в кавалерии не служил, в пехоте не служил...

— А какая же ваша специальная полка? — любопытствовал Пронин.

— Водочным заводом управляю. Да-с. Чистенькое, сударь мой, дело... — Сахновский назвал место, которое он на земном шаре украшал: не то Лодыжки, не то Пропилишки.

— Аркадия у нас форменная. Как в довоенном раю живем. Сад у нас фруктовый в три десятины. Яблоки с мою голову... Горы. Свиньи не едят, хоть в пирамиды складывай. Индюшки свои. Сало свое. А я вот в отпуск сдуру поехал, жене Францию показывать... С жиру люди бесятся. А что здесь видели? Подтяжки да дамские рубашки. Да вот в Сен-Клэре этом паршивеньком отсиживаемся теперь, экономию нагоняем.

Дама иронически передернула плечиками.

— Меньше бы по ресторанам слонялся, вот бы что-нибудь и увидел.

— Что же ты меня ресторанами коришь... На твои комбинезоны не меньше ушло. По ресторанам тоже понятие о стране составляешь. Был, между прочим, и в ваших эмигрантских заведениях. Кормят сносно, хотя куда же им до нас. Да из литовской курицы два ваших индюка выйдет! А закуски! Хо-хо! Мой Мишка вам такой дивертисмент соорудит, что язык проплотите. А вот служить у вас не умеют... Это уж извините.

— Как служить? — переспросил Пронин.

— Да гарсоны эти ваши эмигрантские. Разве так служат?

Водочного управляющего, очевидно, этот вопрос особенно волновал.

– Фамильярность какая-то. Улыбочки. Разговорчики... Каждый должен свое место знать. Принес-унес, раз-два, нечего дурака валять. Расстояние понимать должен. К судомойке пойдешь, ей и улыбайся!

Пронина передернуло, но он сдержался и чрезвычайно вежливо отчеканил:

– Я в наших русских ресторанах не раз бывал. Служащие там образцовые. Большинство из них настолько воспитанны, что могли бы давать уроки вежливости даже иным господам с... «положением». И многие из них в прошлом... Впрочем, вы не эмигрант и многого не изволите знать, или не желаете знать. Что же вам и объяснять. Чепуха.

Сахновский переглянулся с женой и посмотрел сбоку на Пронина: «Черт его знает, что за гусь» – и смолчал.

Уютный разговор подходил к концу. Благополучные ископаемые из Литвы жили, очевидно, на другой планете.

– А вы сами чем занимаетесь? – опасливо спросила дама.

Пронин чуть было не ляпнул: «Банщик – в турецких банях квасом головы туркам мою...» Но удержался и, учтиво склонив пробор, доложил:

– Малярное дело у меня, сударыня.

– Собственное? – с благосклонным удивлением осведомился Сахновский.

– С компаньоном вместе держим. Сами директора, и сами маляры.

– То есть как же это? – Дама нахмурилась, брошка с фотографией мужа так и заходила, словно на рессорах.

– Очень просто. Один раз я директор, а компаньон – маляр. Другой раз – наоборот. Когда спешная работа, третьего приглашаем. Вице-директором.

– Какая же, собственно говоря, разница? – оторопело спросил господин из Пропилишек.

– Разница в положении огромная. Директор обыкновенно обои клеит, это много легче. А маляр потолок белит, – голову задирать приходится, белила на лоб капаят... Потеешь больше. Вот мы и чередуемся.

Супруги опустили глаза. Оба густо побагровели, хотя на веранде совсем не было жарко.

Пронин поднял с пола котенка, посадил его к себе на плечо и встал.

– Что же вы... и на чай получаете? – складывая салфетку и глядя в сторону, ядовито процедила дама.

– Зачем же? Дело не такое... Сами консьержкам даем, когда работу через них получаем. Вот когда я... гарсоном служил, тогда и сам получал. А что? – спросил он в упор. – Почему это вас интересует?

Она промолчала. Но совершенно было ясно, что уже за Пронина, за выходящее из «их круга» знакомство с ним, супруг полную порцию в номере получит...

Но Пронина уютное семейство больше не занимало. Было и нет. Стоит ли из всякой пролетной моли печенку себе расстраивать.

– Рыбу пойдем ловить? – спросил он гарсона, возившегося в углу с посудой.

– О, сударь, конечно! – весело ответил гарсон. – Вот только стаканы вытру...

И с осторожной лукавостью показал глазами на напыжившихся супругов, с грохотом отодвигающих стулья. Русского разговора за обедом Жозеф, конечно, не понял – но зато в интонациях разобрался отлично...

В это время дверь с лестницы на веранду хлопнула, и в столовую влетела запропастившаяся куда-то во время завтрака дочка Сахновских.

– Половина второго, мамочка! Я свою порцию в углу отстояла... Теперь до самого вечера шалить не буду.

– Молчать! – цыкнула на нее, словно прорвав предохранительный клапан, дама. – На кого ты похожа?! Посмотри на себя в зеркало! Судомойка ты, что ли, или моя дочь?

– Да я, мамочка...

– Сейчас же ступай к себе. Полчаса отдохнешь и опять на час в угол.

– Но, мамочка! Дядя Пронин обещал меня с собой на рыбную ловлю взять... Ну, я после постою...

– Сту-пай на-верх!

Голос главнокомандующего звучал так грозно, что девочку словно пылесосом выдуло.

Пронин поморщился. Ведь вот ей, мышонку бедному, два раза из-за него влетело. Что поделаешь...

Супруги выкатились. Он подошел к стеклу: вдали под метелками камыша проплывала парусная шхуна – ленивый летучий голландец... Мимоза в воздухе чертила нежный узор, качалась, уводила глаза бог весть куда. А над головой гудел потолок, перекатывалось кресло: должно быть, двухспальные дураки цапаются... Новоградовольинский аккомпанемент.

– Что же, Жозеф, скоро?

– Сейчас, сударь. А как вы полагаете, – он поднял глаза кверху, – карету «Скорой помощи» вызывать не придется?

Буба

Вот так, в метро, никому не расскажешь. Потому что свое, кровное. В своей семье посторонний третейский судья не требуется.

Но на первой зеленой подстилке, когда в воскресенье с приятелем, с закуской и зубровкой, занесет тебя весенний ветер в Медонский лес, бес откровенности толкнет человека под ребро – и покатишься... Хоть без зубровки, конечно, никакой бес ничего не сделает.

И вообще, г-н Глушков разговаривал как бы сам с собой. В своем случае разбирался и в таких же соседских. А кому он жаловался – приятелю ли, лежавшему рядом, очками кверху, с травинкой во рту, пожилому ли каштану, подымавшему над головой толстые почки, либо пустой бутылке из-под зубровки, блестящей у канавки, – г-н Глушков об этом не думал. Подводил итог, а в паузах морщился, как бы сплевывая с языка душевную полынь.

* * *

– Буба она называется, племянница моя. Хотя мы с женой, оба бесплодные смоковницы, имели все основания, взрастив сей парижско-русский продукт, считать ее своей дочкой... Буба... Почему она себе такую попугайскую кличку пришила, не могу понять. По метрике она Любовь. Люба, Любаша – сочное православное имя. Должно быть, для афиши. Когда она в балетные звезды выйдет, круче в нос ударит... Ну, уж назовись Лианой, Вербеной... Покудрявее. Нет-с, Буба. Игры фантазии на три копейки. Какой-нибудь португальский брандахлыст, что с ней фокстротные вензеля выводит, языком щелкнул: «Буба! Ком сэ жоли», – и кончено. А мнение дяди – коту под стол да ножкой в угол, подальше...

* * *

Лет до четырнадцати был у нее свой рисунок, даже лицей не перемолол. Русская пышка, ласковый зверек. Варенье обожала, дядю с теткой любила, все как по детской простоте полагается. Одевали мы ее чистенько. Перед зеркалом скорым петушком попрыгает, каждому бантику улыбнется. В облизанную стильность ее не бросало, что к личику, то и модно. Щечки в ямках, ноготки в заусенцах, душа – розовый ситчик. Русская девочка, и больше ничего. А с пятнадцати лет пошло...

Проболтался я как-то месяца два по делам в Гренобле. Вернулся, так и присел: разменяло себя мое русское золото на конфетную бумажку. Темные волосы будто корова языком склеила, головка мертвым яичком, ямки черт унес, в глазах такая манекенная стертость. И платьице новое с воображением – внизу тюльпан,верху лысая рюмка. В кутюрных прейскурантах видали? Лицо, так сказать, второстепенная подробность к модному покрою... Мизинчики на отлете, поворот плеча в брезгливую покатость, – то ли горничная, то ли герцогиня Дармштадтская, – все на один лад, как солдатики из картона... Это в пятнадцать-то лет по такому компасу равняться?

Бросился я к жене: как же это ты, слабохарактерная женщина, таким вещам потокаешь?

А что ж, говорит, делать. Девочки – обезьянки. Парижский воздух... Тут иная каплюшка в четыре года в Люксембургском саду таким дамским лилипутом выступает, что и сама не знаешь – ахать или плевать. А Любе в Европе жить, пусть уж мимирию эту безболезненно себе прививает. Ей же потом легче будет.

Нашел я союзника, действительно.

* * *

Вижу я, во внутреннем департаменте червоточина обнаружилась. «Записки охотника» в ванной в углу валяются. Еще слава богу, что в ванной... Журнальчики, смотрю, у нее появились парижские: кинематографические Антинои на всех страницах зрачками вращают, мировых звезд к пиджакам прижимают. Проборы блестят, зубы переливаются, и опять же, как пожарные солдаты, все на один салтык. Только по подписи и узнаешь, кто какого пола. Духовная пища-с!

Развернул я как-то вечером «Соборян», стал ей вслух отрывок читать. Пять минут вытерпела, потом, вижу, стала зевки, как устрицы, плотать, ножкой о ножку бьет.

– Что ж, скучно, тебе, Люба? Ты не стесняйся.

– Вы, – говорит, – дядя, дусик, не сердитесь. Мы сегодня всей своей компанией в синема идем. «Семьсот поцелуев в минуту» смотреть. А археологию эту я, так и быть, на досуге как-нибудь потом перелистаю.

– Спасибо за одолжение. Что ж, и Татьяна пушкинская тоже, по-твоему, археология?

– Нет, – говорит. – Большой диферанс! Татьяна ваша сама мужчинам на шею вешалась и даже в письменной форме. А как у нее с премьером роман не вышел, она за старого богатого маршала замуж и выскочила. И еще неизвестно, как бы она в Париже развернулась, если бы к нам сюда в эмиграцию попала... Татьяну, – говорит, – вы уж лучше из козырей ваших выкиньте.

Так я и крикнул. Ведь этак, если все классические типы к эмиграции примерять, что ж это будет?.. С женой даже посоветоваться хотел. Да эта уж... Не поймет.

* * *

А потом вот и пошло балетное это икроверчение. В студию какую-то раздевально-пластическую записалась. Науки забросила – по физике еле ползает. В котором, говорю, году Расин родился? А она мне еще и дерзит: посмотрите в Ларуссе, если вам приспичило. Сами по-французски дальше молочной ни слова...

Мне, говорю, ни к чему, у меня своих русских мыслей в голове не уложишь. А ты-то как без образования на одних пуантах в свет выпрыгнешь?..

Хохочет... По-французски она, правда, здорово чешет – иной природный француз не поймет, что она с подругами лопочет... Но багаж-то духовный какой-нибудь нужен? Как же в одном голом трико без багажа?

Жена, разумеется, и тут поперек. За что Бубу, мол, мучишь?.. Теперь все девочки через балет в мировую карьеру выходят. Ты что ж,

ее в приходские учительницы готовишь? Опоздал, милый. В Европе жить, по-европейски и выть.

И вот-с еще и у себя в квартире терпеть должен. Мало ей студии. В пачки свои дома вырядится, – совсем стрекоза в папиросных бумажках, – и по всему паркету драже свое под граммофон выводит. Посмотришь из-за газеты, сердце так и закипит... Личико – марципан с вишней, интеллигентности ни на полсантима, одной ножкой над головой вертит, другой себя под мышкой подстегивает. Да еще меня, господи помилуй, подставкой быть заставляет...

* * *

Собираются у нее подружки всякие востроносенькие, кавалеры – полетки из полотеров. Пожалуйста. Милости просим! Пусть уж лучше дома флиртуют, чем по неизвестным ротондам зеленую слизь сквозь соломинку сосать...

Да и флирта-то никакого нет. Тысячелетиями занятие это держалось, а они вот прекратили. Раздеться не успеют, заведут граммофонного козла и трясутся. Оршаду попьют, отдышаться не успеют и опять под гобойный гнус плечиками трясут до упаду... Чистая маслобойка. И выражение у всех, будто воинскую повинность отбывают.

Присядешь к ним, когда уже совсем упарятся. Поговорить хочется, ведь не ихтиозавр же я, не зубр беловежский. Ни черта не выходит. То ли я к ним ключ потерял, то ли и ключа никакого нет. Лупят что-то свое французское, по глазам вижу – не разговор, а семечки. А Буба губы сожмет и все бровью на дверь показывает: ушли бы, мол, дядя, – и без вас мебели много...

Только тогда сердце и отогреешь, когда они, как дети, порой играть начнут: сядут все на пол, друг за дружкой... руками гребут и хохочут... Какие уж тут, думаю, «Соборяне», хоть искры-то детские в них, слава богу, не погасли...

* * *

А время летит. Не успели обои в столовой сменить, как ей шестнадцать стукнуло.

Говорю ей как-то в тихую минуту:

– Что ж, Люба, мечты наши старые? Уставать стал, как самовар несменяемый который год киплю. Мечтал с тобой, помнишь, ферму миниатюрную под Тулузой присмотреть... Переехали бы вдвоем с теткой – райские цветы разводить. Во Франции на цветы спрос, как на картошку. И лирика и польза... Угомонилась бы ты, в зеленую жизнь бы вошла. А там какие-нибудь скорострельные агрономические курсы окончишь, хозяйство бы свое чудесно вела... Что ж, Люба, так уж точку и ставить ради прыжков твоих резиновых? Я ж понимаю, другие ради хлеба завтрашнего ноги себе выламывают, а тебе-то зачем?..

Встала она на носок, вокруг себя трижды спираль обвернула, на пол воздушным шаром осела, – головка, как факирская кобра, покачивается, – и прошипела:

– Коров доить? Мне?! Бубе Птифру?... Комик вы, дядя...

И журнальчик какой-то паршивенький из-за пазушки вынула, мне протягивает. Сняли ее там, видите ли... На пензенском вечере за пластику она почетное звание получила: королевой пензенского землячества избрали. Шутка ли: карьера какая...

Ну, понял я окончательно: кто этого яда хлебнул, какая уж там ферма. Пусть сам баб-эль-мандебский раджа белых слонов пришлет – и то не поедет.

С той поры и не заикаюсь. А то, не дай бог, и жена за ней, в пачки нарядившись, начнет паркет натирать. Ничего. Придет мое время... Вот когда тебя балетная поденщина подшибет, когда из пензенских королев в сто двадцать девятый мюзик-холльный сорт попадешь, тогда о дяде и вспомнишь...

Басня-то «Стрекоза и Муравей» недаром написана. Только дядя-то, пожалуй, помягче муравья окажется, когда к нему взамен Бубы Птифру – родная племянница Люба Глушкова соблаговолит личико свое повернуть...

У моря

На пляже, в залихватски небрежных позах, лежат курортные наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с полосатыми палатками; палатки – с шезлонгами; шезлонги – со штанами наяд...

Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко может сесть вместо кресла на свою жену или, боже сохрани, на чужую... Но как-то все разбираются. Каждая душа находит свое место под своим зонтом. Сидят тесными кружками в тени, как песок струится легкая беседа, глаза обжигают глаза, блестят натертые кокосовым маслом руки и плечи.

Даже неблизорукий человек не разберет: кто тут авантюрист, кто святой, кто мулат, кто белый, кто Антиной, кто Венера... Зачем вдаваться на пляже в такие подробности? Флиртуют, болтают, разрезают волны сильными взмахами рук, – да будет легка им жизнь...

Между взрослыми ползают и барахтаются смуглые человеческие детеныши. Тащат в воду купаться упирающихся мохнатых собачек, – детеныши могут купаться сорок раз подряд, пока уши не станут зелеными, а губы лиловыми...

Мохнатые собачки знают, что это негигиенично, – но как от этого несчастья избавиться, когда маленький человечек тащит тебя за компанию, головой книзу, в море? Кусаться запрещено, лаять под мышкой неудобно, а удрать из воды невозможно, потому что за каждую лапу тебя держат две детских руки.

Но, в общем, хорошо на пляже... Весь божий мир – огромный салон. Васильковый потолок отделан белоснежным карнизом облаков; ветер галантно обвеваает прохладным веером спины; посреди средиземной ванны сонно покачивается эшафот – плот для прыгунов-пловцов; по пляжу цвета чайной розы развозят на двуколке мороженое – райскую пищу для детей до шестидесятилетнего возраста...

Если ты маленький, можешь упросить маму, чтобы позволила тебе покататься на покорном ослике: так чудесно хлопать босыми пятками по гулким бокам, так вкусно скрипит красное кожаное

седло... Если ты большой – иди в казино, роскошную коробку из полусантиметрового бетона, – дуй аперитив, рассматривай, повернувшись спиной к морю, наядам и солнцу, родимое пятно на собственном бедре и воображай себя Оскаром Уайльдом... Хорошо, в общем, на пляже...

А в дюнах за бугром – другой век. Может быть, бронзовый, может быть, железный, может быть, волосато-орангутангский. Перед походными скворешницами на колесах сидят кирпичные тощие люди, обросшие бурым войлоком. Вместо костюмов – пояса стыдливости шириной в почтовую марку. Ветер раздувает на головах выцветшую паклю. Выцветшие глаза, выцветшие ресницы... Сидят и молча преют...

По временам то один, то другой вскакивает, проделывает какие-то эвритмическо-шаманские пассы, – ноги циркулем, руки косыми граблями в воздухе, пальцы как пляшущие фурии... И опять замирает. В котелке на треножнике клоочет какое-то вегетарианское варево: быть может, рагу из сосновых шишек, быть может, суп из водорослей. Ни смеха, ни улыбок, ни веселого слова. Преть надо молча, созерцательно, принципиально и по системе.

Одна из фигур – тощая коза, отдаленно похожая на вымоченную в уксусе старую деву, – подошла к морю. Зачерпнула ладонью воды, полила себе на затылок. Изогнула коричневую кисть вбок, повернула ее египетским жестом вокруг оси и отошла в дюны. Это она купалась. Выцветший дылдообразный блондин, весь состоящий из ключиц, лопаток и сухожилий, торжественно распростер девушку на песке, склонился над нею. Усыплять он ее будет, что ли, или скальпировать? Вытянул ей руку, промассировал мелкими щипками, потом другую руку... Потом стал перебирать ей пальцы на ногах, будто играл на арфе... И деловито отошел в сторону, как лунатик, исполнивший свой долг.

Над косогором сверху проходят люди – двадцатого века. Осторожно косятся сквозь сосновые лапы и с почтительным недоумением шепчут:

– Нудисты...

– Культ тела. Они переутомлены городом и возвращаются к природе...

– О, о! Скажите пожалуйста!

Какой, однако, тусклый «культ тела»... Почему эти коричневые макароны, принципиально высушенные и пересушенные на солнце, называются «культом тела»? Почему тряпочка-перемычка, скрывающая последнюю наготу, объединяет этих скучных чудаков в какую-то нудную, скопческую секту? Что понимают в природе эти эвритмические робинзоны, созерцающие муравьев на большом пальце собственной ноги?.. Почему нужно скопом проводить лето вместе вокруг котелка с кипящей овсянкой, – без смеха, без песен, без вина, без беспечной радости легкого бродяги на легкой земле?..

Ветер насмешливо шуршит в вереске, веселые сороки стрекочут в дремучем можжевельнике, веселое море сквозит сквозь сосны... Белобрысый дылда растягивается на песке, вбирает в себя и без того вогнутый живот и медленно, с лицом пророка Исаии, массирует его грубой шерстяной перчаткой.

Мир праху твоему, волосатый бухгалтер, несущий миру новую двухсантимную бесштанную идею!

«Илья Муромец»

Душок над стойкой стоял густой и сложный: нудно пахли в июльской духоте распластанные на тарелках кильки; рыжие пирожки излучали аромат прогорклого тюленьего жира; кислая капуста вплеталась в копченый колбасный душок; слоеные пирожные, по-русски крупные и густо засыпанные пудрой, приторно благоухали рядом с горкой котлет, щекотавших ноздри выпивающих и закусывающих гостей добротным запахом пережаренных сухарей. Над всеми запахами царило алкогольное амбре, словно чудом перенесенное в Париж из какого-нибудь старого извозничьего петербургского трактира с Коломенской улицы... Лекарственное дыхание зубровки, крепкий с водочной кислинкой аромат белой головки, шершавый запах перцовки, горьковато-терпкий букет померанцевой, – и как фундамент над всеми спиртуозами – теплый и тошнотворный, застоявшийся пивной чад.

Дарья Петровна за свои четыре ресторанные года ко всему притерпелась – к ночной работе, к излипаниям и возлияниям торчащих над стойкой разнокалиберных голов, даже к мигрени своей привыкать стала... А вот к этому сложному, сгущавшемуся к вечеру настою никак привыкнуть не могла, – только прижимала к ноздрям смятый в тряпочку платочек да мученически поводила глазами. Хоть бы форточку по-русски в витрине завели, ироды! В кочегарках только адовой духотой да угольной пылью людей сушат, а тут летом похлеще кочегарки...

Работа только разворачивалась. Через садик – четыре ящика с буро-зеленой замученной паклей на прутьях – входили клиенты. Подкатывали перед ночным рейсом шоферы, чтобы подкрепить душу пирожком с визигой, большой рюмкой водки и двумя-тремя милыми словами: сегодня Дарья Петровна дежурит. Приплелся знакомый конторщик, измолчавшаяся на службе беспокойная душа, – сейчас доест свои голубцы и начнет спорить с любым гостем направо, гостем налево, в любом направлении «туда и обратно». С каждой рюмкой зубровки все крепче будет чеканить каждое слово, все трезвее и категоричнее рассуждать – такая уж у него манера пьянеть.

Рикошетом вкатились трое французских рабочих. С этими возни немного: свежепросольный огурец, перцовка и здравствуйте-прощайте. Двое – постарше, усталые глаза, серые, точно цементом запыленные, лица, беззвучно смотрят на хозяйкин бюст – даже и такая чудовищная штука им не в диковинку, и только после второй рюмки перцовки удивленно взглянули друг на друга: серьезная водка! Третий рабочий, до чего забавно, – совсем как русский пригостишка, – волосы светлым пушком, круглые детские глаза, – хотя лет ему, конечно, тридцать с гаком. Перцовкой чуть не подавился, куда ему такая... И все посматривает на Дарью Петровну; прицелился было заговорить, да не решился или не сумел. А ей наплевать – и своих прилипал достаточно, «досыть», как говорил пан Дробышевский после пятнадцатой рюмки.

Перегнувшись над стойкой, она заткнула чью-то пристававшую к ней пасть пивом и пирожками и вспомнила о своей девочке. Сидит там в последней комнате и ждет. В отеле ни за что не хотела оставаться. Бедная мартышка, чужая она какая-то стала. Сидит в свободные часы на постели и все о своем Гавре рассказывает...

Уже два года, как Дарья Петровна переборола себя, – легче было бы руку отрезать... Отдала дочку знакомым еще по России французам в Гавре; цену берут божескую, учится она там, из сумрачного зверька превратилась в безразлично-вежливую французскую девицу. Теперь, перед отправкой в детский русский лагерь, несколько дней живет у матери... Сегодня, в дежурный день, притащилась сюда. Вот будто и отходит куда-то в сторонку, – теплые детские дни где-то там, в чужом городе, делают свое, – школа, подруги, ласковые к ней бездетные французы. «Дядя и тетя» вчерашнего числа, а ведь скоро и совсем родными ее дочке покажутся... Приехала в Париж, глаза чужие, все всматриваются. Тоже прокурор нашелся. Однако от матери ни на шаг... Вот и сюда, в распаренную обжорку, увязалась...

Дарья Петровна встрепелась, вспомнила о клиентах и во все стороны стала бросать:

– С мясом сейчас будут, с визигой есть и с рисом...

– С вас – три водки, две котлеты, – рыжиками закусывали? Восемь с полтиной. Мерси.

– Иван Поликарпович, оставьте мой локоть в покое. Не для вашего носа.

– Закусывать, Петенька, надо. А то один такой пил, да не закусывал... Спирт в нем и загорелся...

* * *

В последней комнате было уютнее и тише. Обои в лирах с бурыми розанами, точно в русском уездном номере: на стене «Дворец дождей» и часы с гирей. Толстый кот, сонный брюнет Митька, вяло переходил от столика к столику и равнодушно отвертывался от подачек: тоже – еда... Отдельные поздние, мирные клиенты в тишине доедали перестоявшийся на кухне ужин, больше четвертинки ординарного вина не заказывали, – иногда мысленно подсчитав наличность, – была не была! – спрашивали стакан чаю и ягодное пирожное. Не у стойки ели, – на каждый день каждый франк рассчитан.

Подавала душка-ватрушка Тамара, не к имени масть – в пыльно-бурых, оберточной бумаги, кудряшках, по сложению «уютная крошка», губы алым пупочком, глаза – пьяный крыжовник. Томно заводила, подшлепывая себе ножкой, граммофон; потряхивала бюстиком, подтанцовывала от кухонной двери к вешалке и безостановочно, видимо не в силах удержаться, стреляла глазами в кота Митьку, в Кис-Кис – дочку Дарьи Петровны, в каждого попавшегося по прямой линии клиента, даже в седого дикобраза-повара, высовывавшего, чтобы отдышаться, голову в дверное окошечко...

Кис-Кис – по-будничному называлась она просто Катюшей – сидела у стены, лепила из черного хлеба гаврских матросиков и терпеливо скучала. Третий пирожок не лез в горло, даже кот отворачивался. Посетители какие-то вялые, жуют – в тарелку только и смотрят, не то что во французских ресторанах. Тамара, – какое смешное имя, – все к ней пристаёт: тискает, целует, а сама в это время на клиентов русалкой смотрит да меню себя, как веером, обмахивает. Куда ж ей до мамы, – та гордая: стоит за стойкой, как премированная красавица, не то что эта канарейка с бюстиком. Вот только кот понравился девочке – ленивый, толстый, а шалит с нею, подлизывается: на задние лапки стал, передними о колени уперся,

язычок показывает... Да повар-старичок симпатичный. Мама говорила, что он бывший нотариус. Должно быть, поваром выгоднее быть. Только почему он не пострижется, летом даже пуделей стригут, ведь жарко... Подошел к ней, по голове погладил, книжку с полки дал: картинки понятные, а напечатана по-русски... Хоть бы они латинским шрифтом печатали, легче было бы разобрать.

Кис-Кис встала. Ах, как долго ждать, пока мамино дежурство кончится. Она скользнула мимо вешалки в коридор, подобралась к портьерке, загнула в углу краешек и стала смотреть. Будто мама и будто не мама. Сколько у нее лиц, одному полслова, сунет, что надо, и отвернется, будто собаке кость; к другому наклонится, улыбнется – дерзкая такая улыбка. Зачем с чужими секретничать, на ухо шепчет, по плечу его хлопает. И все курит. Четверть папироски высосет, на тарелку положит, забудет, а потом у того толстяка, с которым смеялась, свежую из портсигара тянет. Нехорошо. И зачем столько пьет... Ну, пила бы оранжад или сидр... Разве дамам можно русские кальвадосы пить? С толстяком выпила, с тихим шофером, что в уголке котлету ест. А потом сама себе, будто нечаянно, что-то темное налила, выпила, поморщилась. Глаза злые стали, гордые. На портьеру смотрит, Кис-Кис съежилась: «А может быть, она почувствовала, что я за ней подсматриваю? Грех...»

Толстуха-хозяйка из кассы зевнула, покрестила себе рот, а потом – точно вспомнила, вытащила зеркальце и стала красить губы. Тоже – чайная колбаса. Крась не крась, ничего тебе не поможет... Девочке стало скучно, и, щелкая пальцами по скользкой стене, она опять поплелась в заднюю комнату. Села в сторонке, достала из сумочки свое сокровище – шоколадные картинки и стала их сортировать. Конца этому дежурству не будет!

* * *

На высоких табуретках над стойкой торчал полный комплект. Одни выпивали усидчиво, с разговором, чокались с присловьями и, поигрывая пальцами в воздухе, выбирали: чем бы закусить. Другие, не теряя времени на пустяки, опрокидывали в себя свирепую водку,

пихали в рот что под руку попадется и скрывались за дверью, растворяясь в душной уличной мгле.

Звякнул колокольчик. Дарья Петровна покосилась и безгласно поджала губы. Вошла знакомая, до тошноты неаппетитная личность: бабье, обрюзгшее, цвета сырой говядины личико никогда не просыхавшего милостивого государя; кислые, наглые глазки, поднятый воротник, обвязанные грязным шарфом одутловатые щеки, — и поверх всего этого идиотский соломенный лопух. Сейчас эта моль начнет вязаться...

И точно. Личность придвинула к себе бокал пива, счавкала три пирожка и, вытирая концом шарфа мокрый рот, подчеркнуто громко заскулила:

— Почему ж пиво теплое? Особа! Я вас спрашиваю. И вы, как служащая, не имеете права нос воротить. Не достаиваете? К свиньям собачьим. Почем пирожки?

— Франк.

— А сколько я съел?

— Три. — Дарья Петровна отвечала отрывисто в сторону, с каменным лицом, словно с плевательницей разговаривала.

— А не два?... Насчитываете? Все вы тут сво... Впрочем, извиняюсь: «Илья Муромец» называется, а пиво, как конский пот, теплое... Не нравится вам? В институте воспитывались... Почем бутерброд... с так называемой колбасой?

— Франк.

Личность, обращаясь ко всем, развела грязными лапами:

— Ну вот... Разве ж не сво... А я еще извинялся. Рюмку водки, крупного калибра. Носик изволите пудрить? Клиент ждет, а они — носик... Мопассана, может, еще вам принести?

У Дарьи Петровны задергалась левая бровь. Нельзя, нельзя. Это подобье человека только того и хочет, чтобы она из себя вышла. Лучшая для него закуска.

Хозяйка сидела, как задумчивая тумба, и навивала на палец распутившуюся за ухом висюльку. Клиент паршивый, но все ж таки клиент, надо ж ему на свой франк поломаться. Гости насупились: что за свинья такая неуютная... Следовало бы, собственно говоря, дать ему по морде, — что же он, гнус, к Дарье Петровне пристал. Но никто этой щекотливой миссии на себя брать не хотел.

И вдруг никому не известный, тихонький заморыш, незаметно надравшийся в уголке у окна, приподнял опущенную на локти мутную голову, вслушался в наглый пустобрех личности, обвязанной шарфом, и встал. Твердо и вежливо подошел, не говоря ни слова, взял ломавшегося клиента за ворот, круто повернул, довел до дверей... И, словно в помойку разбитый горшок выбрасывал, молниеносно высадил его за дверь.

Все головы повернулись к витрине: личность за стеклом помахала для вида руками, раскрыла было рот... и уплыла, вихляя, как на роликах, из поля зрения. Кажется, милостивый государь был даже таким финалом доволен: ведь платить за пирожки и пиво будет тот – выкативший его на свежий воздух.

Дарья Петровна удивленно и благодарно улыбнулась было неизвестному, но тот, уронив голову на руки, окаменел над стойкой. Откуда он, рыцарь такой, взялся?

А в другом конце стойки уже другой номер разыгрывался. Насосавшийся парикмахер, неизменный поклонник «Ильи Муромца», жукообразный человек без лба и с некоторым подобием глаз, тыкал пальцем в свою сидевшую рядом жену, – кроткую, как божья коровка, замухрышку, – и хрипло апеллировал ко всей, брезгливо-глухой к его словам, аудитории.

– Ну, скажите же на милость, как я на такой гниде мог жениться? Я! Выбрал, нечего сказать... Ты бы бога должна за меня двадцать шесть часов в сутки молить, а ты морду неинтеллигентную воротить... Ну, скажите ж, господа, как я такую лахудру до себя допустить мог?

Неизвестный очнулся и стал было прислушиваться, но Дарья Петровна, мудрая и опытная укротительница зверей, крепко прихватила его за локоть.

– Нельзя! Пес с ним, бросьте. Постоянный клиент, чума бы его задавила. Сельтерской, может быть, хотите? Вредно вам пить, голубчик.

Но он сельтерской не хотел. Смущенно улыбнулся, провел ладонью по липкому лицу, словно смазал с себя хмель, молча и аккуратно расплатился и вытащил из-под себя распластанную в лепешку шляпу.

Дарья Петровна остановила знаком уходившую домой Тамару.

– Что Кис-Кис? Господи боже мой, – неужели все так одна сидит? Но уходившая подруга – от усталости даже глазами она кое-как повертела – успокоила ее:

– Спит твоя Кис-Кис. На старых газетах в чулане ее уложила. Дивный ребенок! Обожаю.

Загадочно улыбнулась себе в стеклянную дверь и, вертя бюстиком, ушла.

* * *

Настали те блаженные полчаса, которые для хозяйки и для персонала «Ильи Муромца» были единственным подобием ресторанного счастья. Полуприспустили над витриной и входной дверью железную штору. Собрались за столиком у ящика с никому не известным запыленным растением. Повар в пиджачке и мягкой шляпе, сразу ставший похожим на человека, накрошил в стакан горсть сушек и, отдуваясь, пил чай. Хозяйка, Агафья Тимофеевна, усадив на свои слоновьи колена кота, теребила его за ушами и сладко позевывала. Выручка за день была не плохая; в кадочках, в лавке, все те же знакомые с детства грибки и огурцы, народ в ресторане болтался приблизительно такой же, как когда-то в Мценске. А что вокруг все эти там чужие улицы Парижем называются, не все ли равно... Париж ее не съест, поперхнется, пожалуй...

Дарья Петровна пила красное вино, терпкое, стягивающее язык пойло, и отдыхала всем телом, – от ноющих пяток до подставленного ночной прохладе лба. Крепкая она была на вино, любому боцману не уступит. За день напоталась немало, и из любезности и просто потому, чтобы перебить чад и гам... Зачем теперь пила, сама на знала, – просто бутылка рядом стояла.

Обхаживающий ее весь вечер русский мебельщик, похожий на репинского запорожца толстяк, молча курил рядом и досадливо побряхтывал. Что ж она здесь вино это дует, – охота зря валандаться... Обещалась ведь на Монпарнас вместе ехать, к неграм в кабак. Чего ж тут прохлаждаться?

Кис-Кис сидела у ног хозяйки на тумбочке, крутила коту ушко и тоже ждала... Опять пьет. Вот повар чай из блюда сосет, помощник

его – квас, а она, дама, вино.

– Мамик, скоро? – спросила она, нетерпеливо поеживаясь.

– Что, Кис?

– Домой пойдем...

Дарья Петровна нахмурилась. Посмотрела на толстяка, на дочку. Конечно, свинство, конечно, домой надо идти с ней – с Кис, – так долго ее девочка ждала. Лечь рядом, гладить детские пушистые волосы, пока та, прижавшись к ней, не уснет. А потом и самой, рядом с ней, блаженно закрыть глаза. Но на нее еще с утра накатило, как часто бывает в дежурные дни. Недаром она столько сегодня пила... А главный разряд – ночью, с кем-нибудь из знакомых брандахлыстов: быстрый лет такси, ночной ветер в глаза... Чужой кабак, где Ей подают, где она барыня... Идиотская, укачивающая, гнусавая музыка, вихляющие перед глазами в модном танце фигуры, с подчеркнuto-каменными лицами, напирающие друг на друга, солоновато-острый вкус коктейля с зеленой маслиной... Может быть, она бы и отправила толстого мебельщика ко всем чертям, – и не таких свиней сплавляла, – но весь день она чувствовала на себе укоризненные глаза дочки и в сухой истерике накалялась: гувернанткой над матерью хочет быть? Нет, уж это – ах – оставьте.

Она отозвала Кис-Кис в сторону. Через минуту Агафья Тимофеевна услышала у крайнего столика сдержанный детский плач, стряхнула с колен кота и повернула голову:

– Чего это она, Даша?

– Да вот еще штуки какие. Не хочет одна спать идти. Я ж ее провожу. У меня на Монпарнасе деловая встреча, обязательно обещала приехать. Через час вернусь. Перестань плакать, слышишь?

Толстяк недовольно хрюкнул, встал и стал напяливать перчатки.

Агафья Тимофеевна, с трудом оторвав от скамейки грузное тело, подошла к девочке, взяла ее за плечико и повернула к себе.

– Брось, Катюша. Чего ты мамашу зря огорчаешь? А знаешь, что я тебе скажу, – пойдем-ка ко мне спать, я тут в уголке и живу, против мамашиней гостиницы. У меня кровать – взбитые сливки, кота в ногах положим. Канареек своих покажу, чай, давно уже спят. Пойдем, детка, пастилы с собой возьмем, – яблочную любишь или клюквенную?

И теплой мягкой рукой притянула к себе девочку, заслонив от нее отъезжающее такси.

В углу перед темным суровым ликом сиял зеленый язычок лампадки. Кот урчал в ногах, толкал лапками, нежился. Кис-Кис, закинув худые локотки, вытянулась вдоль стенки и, недоверчиво сжав губы, – совсем она на мать стала похожей, – вслушивалась в тихие слова Агафьи Тимофеевны.

– Ты, Катюша, еще несмышлениш. Где ж тебе понять... А осуждать мамашу грех, она тебя вспоила-вскормила. Может, у нее и взаправду на Монпарнасе дело есть. Скажем, к знакомому французскому ресторатору зайдет, спросит, где для «Ильи Муромца» по сходной цене лафит купить можно... Мы ж ему не конкуренты, версты за три торгуем, да не нужно ли ему каких русских продуктов, у нас же окромя ресторации – лавка. Мамаша свой процент получит, тебе ж в лагерь гостинца пришлет.

– Мне не надо.

– А ты не скворчи. Ишь зубастая какая. От матери – и не надо...

– Разве она днем не могла к французскому ресторатору поехать?

– Когда ж днем? Видала, какая у нас карусель. Высморгаться, и то некогда.

Девочка вздохнула. Голос у Агафьи Тимофеевны солидный, убедительный, – зачем она врать будет.

– Могла бы и завтра поехать, со мной вместе.

– Стало быть, не могла. Зачем ей выходной день себе портить? С тобой его и проведет. Может, завтра и ресторатору некогда... Тоже они, французы, как блохи – сегодня здесь, а завтра в своем шате редиску сажает? Дело ведь летнее.

– А этот толстый зачем с ней поехал?

– Толстый ли, худой, тебе-то что? Женщине на Монпарнасе ночью одной раскатывать неудобно. А он человек известный, мебель нам для ресторана делал. Почему ж ему симпатичную русскую дамочку не подвезти? Опять же мамаша туда-сюда зайдет, – она на всех языках строчит... Присмотрится, где какой обиход, может, нам и пригодится...

Кис-Кис прикоснулась к толстому, жаркому телу хозяйки и голой ступней пощекотала коту живот. Нет, не врет. Просто у мамы место

такое скверное, никогда отдыха нет.

– А вы, Агафья Тимофеевна, по-французски говорите?

– Нужен он мне, как игуменье мотоциклетка. Персонал весь говорит, за то и деньги плачу. А я за кассой. Сдачу и французу дам, ежели понадобится. У нас, милая, в Мценске, француз в семействе одном в гувернерах двадцать лет прожил. Окромя «водки» да «бифштекса», ни полслова по-русски не знал. Однако ж жил – не жаловался, дай бог каждому.

Девочка засмотрелась на лампадку: если смотреть не мигая, зеленый язычок все ближе-ближе, – прямо в глаза вонзается.

– А ваш кот пастилу ест?

– Зачем же ему, детка, пастила. Коты более на рыбное налегают. Да у нас его так раскормили, – чистая попадья. От котлеток и то нос воротит... Чего ищешь? Ты за кровать руки-то сунь, там у меня завсегда тряпочка лежит, после пастилы руки вытирать.

Кис один за другим обтерла липкие пальцы, прижалась к горячей, как жаровня с каштанами, спине Агафьи Тимофеевны и прищурила щелочкой глаза, лучик стал тоненький-тоненький. И пропал. Откуда-то с потолка пахнуло гаврским морским ветром. В окно медленно вплыл с протяжным ревом, высоко вздымая нос, океанский, цвета чайной колбасы, пароход и бросил якорь у самой спины Агафьи Тимофеевны. Столб брызг... Девочка пожевала во тьме губами и затихла.

Хозяйка «Ильи Муромца» осторожно выпрямила закинутые за голову руки Катюши, согнала кота с постели и боком покосилась на нежный детский профиль. История... Почти лет сорок с ребенком не спала, с той поры, как Ильюша ее маленьким был. А теперь у Ильюши – из Праги карточку прислал – борода с проседью.

Врать на старости лет дитяти пришлось, мамашу выгораживать. А что ж скажешь? Не в горелки играть на Монпарнас ездят. Успокоила детское сердце, за грех не зачтется.

Подбила под поясницу подушку, прислонилась и стала в уме прикидывать, во что ей засол огурцов в этом году обойдется. Все равно ведь не скоро заснешь сегодня...

Примечания

1

Предлагает купить.